



Е. Словцова-Камская




ЛЮБОВЬ
ИЛИ ДРУЖБА ?



MTS

*Составление
и примечания
Д. А. Красноперова*

A decorative border with intricate floral and scrollwork patterns surrounds the text.

*Литературные
памятники
Трикамья*

Е. Словцова-Камская

ЛЮБОВЬ
ИЛИ ДРУЖБА ?

*Пермское
книжное издательство
1990*

ББК 84Р7—4
С 48

Словцова-Камская Е. А.

С 48 **Любовь или дружба? / Сост. и прим. Д. А. Красноперова. — Пермь: — Кн. изд-во, 1990. — 319 с.**

ISBN 5-7625-0195-7

Очередной том серии «Литературные памятники Прикамья» посвящен творчеству забытой писательницы Екатерины Александровны Словцовой (1838—1866), публиковавшей свои произведения под псевдонимами Е. или М. Камская. Дочь пермского чиновника, рано ушедшую из жизни, в застойной атмосфере русской провинции волновали те же вопросы, что и передовых людей ее времени. В центре внимания и творчества писательницы находилась проблема женской эмансипации. Повести Словцовой представляют собой интересный документ времени, хотя и уступают по художественным достоинствам произведениям ее великих современников.

С $\frac{4702010101-44}{M152(03)-90}$ Без объявл.

ББК 84Р7—4

ISBN 5-7625-0195-7

© Вступительная статья,
составление,
примечания,
оформление,
Пермское книжное
издательство, 1990



ПОВЕСТИ
Е. А. СЛОВЦОВОЙ-КАМСКОЙ
В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ 1860-х ГОДОВ



Екатерина Александровна Словцова (псевдоним — М. Камская) принадлежит к так называемой литературной периферии и по степени одаренности, и по месту жительства¹. Знакомство с ее творчеством позволяет еще раз убедиться в том, что своеобразие любого периода в истории литературы проявляется в произведениях не только великих писателей, но и рядовых беллетристов. В свое время В. Г. Белинский говорил о необходимости беллетристики, которая «сама по себе не может составить богатства литературы», но без которой это богатство невозможно². С. Дудышкин, замечая в творчестве «периферийных» писателей «родовые признаки известного времени», полагал, что принципы реализма, или, как он говорил, «условия школы реальной... школы, создающей типы из жизни действительной, вседневной и обыкновенной», позволяют «и талантам второстепенным делаться замечательными, если у них есть только наблюдательность и житейская опытность»³. Однако рядовые писатели, в том числе и Словцова, редко становятся объектом пристального внимания критики. При жизни Камской была опубликована на страницах «Современника» недоброжелательная статья (Салтыкова) об одной из ее повестей, но речь здесь шла не столько об этой повести, сколько о произведениях русских и английских писательниц, которых критик упрекал в отсутствии «правильного и резонного отношения... к предмету»⁴.

Рецензент открыто выражал пренебрежительное отношение к женскому литературному творчеству.

Но литература, по словам Камской, была в то время единственно доступной русской женщине сферой общественной деятельности⁵. Поэтому журналы 50—60-х годов пестрели такими фамилиями, как А. И. Бибилова (псевдоним — Лунский), Ю. В. Жадовская, А. Я. Марченко (Т. Ч.), А. Я. Панаева (Н. Станицкий), Е. П. Ростопчина, Е. В. Салиас де Турнемир (Евг. Тур), Н. С. Соханская (Кохановская), Н. Д. Хвоцинская (В. Крестовский). Эти и другие женские имена упомянуты в Библиографическом словаре русских писательниц, составленном Н. Н. Голицыным; здесь имеются скудные сведения и о Е. А. Словцовой-Камской, опирающиеся, очевидно, на более ранние источники ее биографии⁶. Так, в 1866 году газета «Голос» посвятила ей некролог, содержащий «несколько характеристических подробностей из ее жизни», психологический портрет «пермского самородка»⁷. Однако автор статьи Ф. Л-нов (Ф. В. Ливанов) не анализировал творчество Камской, а оно представлено у нее прежде всего двумя повестями, опубликованными в «Русском вестнике»: «Любовь или дружба? Отрывок из воспоминаний моей знакомой» (1859), «Моя судьба» (1863)⁸.

Повести Камской появились в печати одновременно с «Семейным счастьем» Л. Толстого (1859) и романом Н. Чернышевского «Что делать?» (1863). Их сближает с названными произведениями ведущих писателей 60-х годов не только дата публикации, но и внимание к одному из актуальных вопросов времени — к «женскому вопросу». Д. А. Красноперов справедливо замечает, что «женскому вопросу» Словцова посвятила несколько статей и художественных произведений⁹. Интерес рядовой провинциальной беллетристики к проблеме женской эмансипации, нашедший отклик и в упомянутых сочинениях ее талантливых современников, свидетельствует об



**Вид Перми с восточной
стороны**

органической «вписанности» уральской словесности в контекст общерусской литературы.

Известно, что актуализация «женского вопроса» в период 60-х годов прошлого века вызвана условиями и потребностями социально-экономической жизни, ростом сознания и участия женщин в общественно-политической борьбе. В это время усиливается тяга женщин к образованию, к практической деятельности: некоторые из них (Н. Сулова, А. Блюмер) возглавляют кружки передовой молодежи, другие (М. Трубникова, Н. Стасова) организуют швейные мастерские, открывают школы, снимают дешевые квартиры для бедняков, многие посещают университетские лекции, стремясь получить профессиональные знания. Так, например, Словцова успешно держит при Казанском университете экзамен на звание преподавательницы. Она увлекается не только литературой, но и социологией, историей: читает Тацита, Тита Ливия, Бокля, Мишле, Прудона, интересуется взглядами славянофилов, не проходит мимо русской демократической публицистики, в частности М. Михайлова, что подтверждается содержанием ее статьи «Женщина в семье и обществе».

Рукопись названной статьи, при жизни писательницы не опубликованной, доставил из Перми в редакцию «Исторического вестника» Д. Д. Смышляев. Редакция уведомляла читателей о времени и поводе написания данной статьи (1860 год, реакция на трактаты Мишле и Прудона о женщине). Действительно, Камская в своей статье полемизирует с Мишле и Прудонем, по мнению которых женщину нельзя допускать к политическому, административному, научному и промышленному «управлению». Но редакция «Исторического вестника» не заметила, что работа Словцовой «Женщина в семье и обществе» представляет собой несколько видоизмененный конспект статьи М. Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе», напечатанной в «Современнике» за 1860 год. Тек-



Торговые ряды

стуальная близость упомянутых работ сразу бросается в глаза: у Михайлова статья начинается словами: «Полная перестройка общества невозможна без переделки основания его, семьи... на этом сознании выросли идеи и о так называемой эмансипации женщины»¹⁰. Словцова дословно повторяет этот тезис в своей работе: «Полная перестройка общества невозможна без переделки основания его — семьи... на этом сознании выросли идеи о так называемой эмансипации женщины»¹¹. Далее Камская вслед за Михайловым критически излагает концепцию Мишле и Прудона, говорит об исторических и национальных формах угнетения и протеста против женщин, о необходимости перемен в женском воспитании, образовании, роде занятий. Но у Михайлова более четко, определенно выражается мысль об уравнении общественных и семейных прав женщины и мужчины, недвусмысленно устанавливается связь между эмансипацией женщины и освобождением народа. «Значительное большинство, — пишет он, — убедилось... что и для личных выгод освобождение рабов полезно. Вопрос о положении женщины есть лишь шаг вперед по тому же пути...»¹². Словцова здесь отступает от текста статьи Михайлова, заменяя вышеприведенную мысль суждениями о благотворной роли христианства в нравственном раскрепощении женщины, о значении реформ в общественной жизни. По мнению Камской, воспитание и образование — первые двигатели всяких реформ, исцеление общества — в его нравственном развитии, основанном на христианской религии¹³.

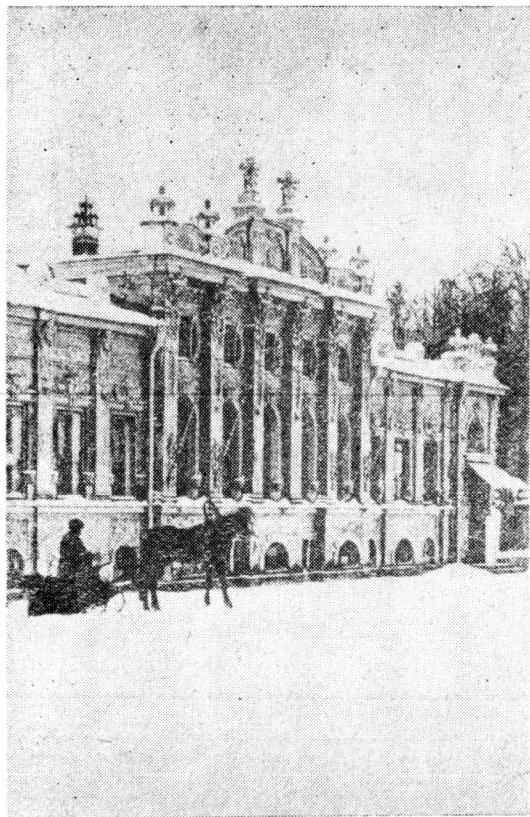
Мировоззренческие позиции писательницы, принадлежащей к либерально-просветительскому течению общественной мысли, определяют характер освещения «женского вопроса» в ее повестях. Идеино-художественное решение темы женской эмансипации имеет в русской литературе XIX века два основных типологических варианта, один из которых представлен произведениями Камской. Этот вариант предполагает изолированное от



Покровская улица

социально-политических проблем рассмотрение «женского вопроса», сводимого к праву женщины самостоятельно, без принуждения выбирать спутника жизни. Подобный узкий взгляд на эмансипацию был присущ не только Словцовой и встречался не только в литературе 60-х годов. Первые осознанные обращения к «женскому вопросу» относятся к 40-м годам. В 1847 году А. Дружинин публикует повесть «Полинька Сакс», в которой упоминается имя Жорж Санд, изображается добропорядочный, честный чиновник, похожий на одного из героев французской писательницы. Подобно жоржсандовскому Жаку, Константин Сакс, узнав о любви своей жены к князю Галицкому, предоставляет ей возможность создать новую семью. Но Полинька Сакс, «миленькая статуэтка», миловидный «ребенок», ошибается в своих чувствах к князю, не находит счастья в новом браке. Незадолго до смерти, больная, она осознает, что ее любовь принадлежит вовсе не Галицкому, а Константину Саксу. Собственно, повесть Дружинина объективно ратует не столько за женскую эмансипацию, сколько за преобразование женского воспитания. Не случайно, с точки зрения В. Г. Белинского, субъективная позиция автора «Полиньки Сакс» отзывалась незрелостью, преувеличением¹⁴. Поэтому в повести большое уважение, сочувствие вызывает не Полинька, а идеализированный Сакс.

Ситуация, при которой пожилой муж деликатно уклоняется от воздействия на ум и сердце юной жены, повторяется в какой-то степени в «Семейном счастье» Л. Толстого, который считает необходимым улучшить воспитание женщины, исходя из ее биологической роли матери, из нравственных обязанностей и прав жены. Героиня романа Толстого упрекает мужа за предоставление ей полной свободы, которой она неразумно воспользовалась, окунувшись в порочную светскую жизнь. «Отчего, — спрашивает она супруга, — ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел,

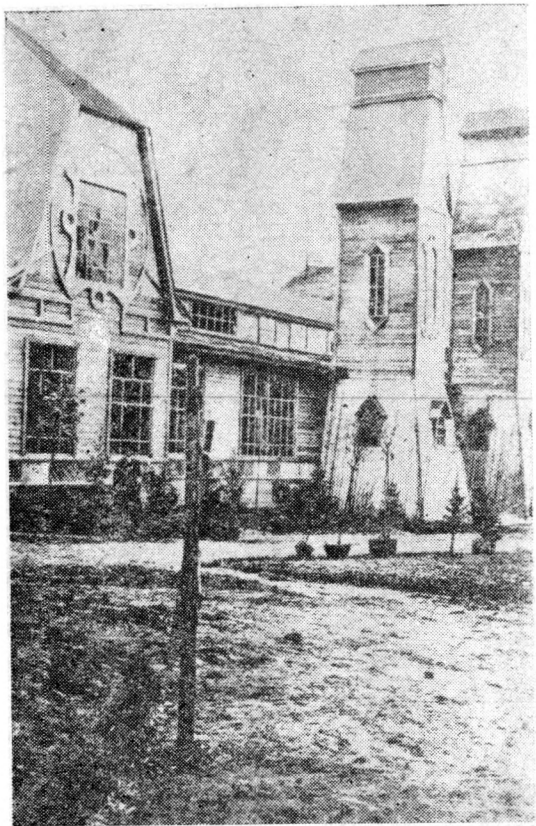


Покровская улица, дом купца
С. М. Грибушина

зачем ты давал мне волю, которую я не умела пользоваться, зачем ты перестал учить меня?»¹⁵. В сущности, многоаспектное содержание романа Толстого включает в себя консервативный отклик на идею женской эмансипации. История отношений героини «Семейного счастья» с ее будущим мужем, опекуном Сергеем Михайловичем, несколько напоминает взаимоотношения Натальи Алексеевны и Александра Сергеевича Зарятина, персонажей повести Камской «Моя судьба».

Зарятин — зрелый, опытный человек, окончивший университет, работавший несколько лет в Англии, объездивший всю Россию. Он служит управляющим в имении Белоградской и опекает свою дальнюю родственницу Наталью Алексеевну после смерти ее матери, давшей ему возможность получить образование. Отношение к нему его подопечной, учительствующей в заводской школе, менялось в зависимости от возраста, жизненного опыта: было здесь и детское обожание, и уважение, и осуждение. Наталью Алексеевну удручала властность Зарятина, чрезмерный рационализм, безразличие к ее мнению. Ей не нравилась его «непреклонная строгость», проявившаяся, например, в осуждении трех мужиков, укравших железо. Однако вначале она безропотно подчиняется воле Зарятина, принявшего единоличное решение жениться на ней, чтобы обеспечить ее будущее; Наталья Алексеевна соглашается стать его невестой, лишь старается отдалить сроки свадьбы. Затем у нее появляется возможность альтернативного выбора спутника жизни: ей делает предложение увлеченный и перевоспитанный ею аристократ Белоградский. После долгих раздумий Наталья Алексеевна выходит замуж за Александра Сергеевича, предпочитая князю человека своего круга, к тому же резко изменившемуся под ее влиянием.

В отличие от героини «Семейного счастья», Наталья Алексеевна тяготится опекой и сама воспитывает полюбивших ее мужчин: и Белоградского, и Зарятина. Процесс их перерождения фак-



Павильон Промышленной
выставки в Перми

тически не показан, поэтому его результаты неожиданны и неубедительны. Повесть Камской лишена той психологической глубины и достоверности, которые присущи роману Толстого, хотя оба произведения написаны от первого лица, что обычно способствует психологизации повествования. Кстати, и в повести «Любовь или дружба?» Камская тоже использует личный способ повествования, который сближает приемы словесно-художественного изображения с реальными формами общественного и индивидуального бытия. При этом Словцова, как и Толстой, исходит из реалистического представления о субъекте творчества: видит в нем обычного человека. Герцен еще на рубеже 50-х годов утверждал: «Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком... достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать»¹⁶. В роли героя-повествователя выступает у Толстого и Камской обычная, рядовая женщина.

Субъективно-экспрессивная форма повествования позволяет Толстому показать душу этой женщины изнутри, заглянуть в ее тайники, передать динамику чувств, семейных отношений. Словцова использует форму первого лица чаще для лиризации повествования, а с характером своей героини она знакомит читателя преимущественно через описания и диалоги. Так, Наталья Алексеевна рисует карандашом автопортрет, судя по нему, ей свойственна в большей степени энергия, нежели мечтательность. В повести «Любовь или дружба?» психологическое состояние героини-повествовательницы Марии (Мери) передается серией вопросов, вызванных известием об отъезде дорогого ей человека (Рощинского): «Что за жизнь моя будет без него, что за ряд страшных однообразных дней... Кого буду я поджидать каждое утро, кого встречать с улыбкой»¹⁷. Мария признается в своем бессилии описать состояние души в особо напряженные моменты жизни. «Трудно выразить, — говорит она, — те чувства,

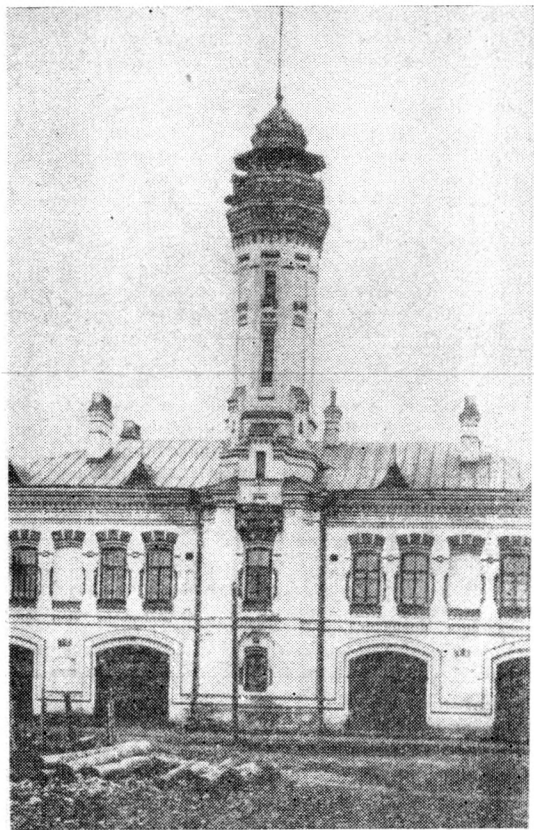


Церковь Воскресения

которые наполнили мое сердце при встрече с братом»¹⁸. Нередко Словцова пытается компенсировать недостаток психологического анализа лирическим пафосом, особенно при описании природы, которая «гармонировала с настроением... души» ее героинь.

Пейзажные зарисовки Камской изобилуют не только красками, но и звуками: ее героини то прислушиваются к шороху и шепоту деревьев, трелям птиц, рокоту волн, свисту и рыданиям ветра («Любовь или дружба?»), то наблюдают будничные картины с криком петухов, лаем собак, скрипом телег («Моя судьба»). И всегда они с благоговением внимают звону церковных колоколов: «с горы, из нашего Георгиевского монастыря, неслись один за другим удары колокола», «...посыпались мерные и звучные удары колокола»¹⁹.

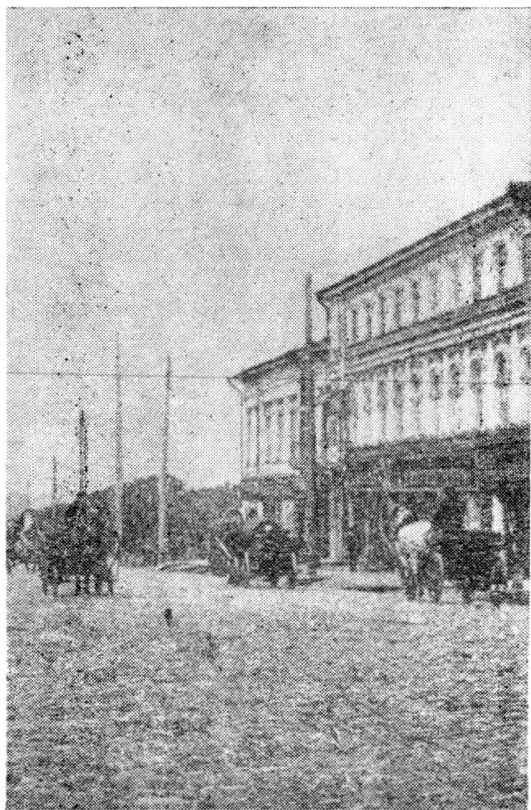
Пейзаж в повестях Словцовой не лишен уральского колорита: не однажды писательница упоминает горы («Моя судьба»: горы в тумане, лачужки у горы, кладбищенская гора), ее героиня Маша (Мери) рассказывает, как было ей трудно взлелеять кедры, лимонные и померанцевые деревья «в суровом уральском климате» («Любовь или дружба?»). Но она любит свой край: «А ты, суровый край моей родины, как цвел некогда в лета моей юности, так цветешь и донныне в своей могучей неизменной красоте»²⁰. Любовь к природе обусловлена романтической натурой героини-повествовательницы, не случайно брат зовет ее «мечтательной феей», хотя сама она считает, что с романтизмом институтского периода рассталась, что теперь видит жизнь такою, какова она есть. «Божий мир, — восклицает Маша, — и без вымысла прекрасен»²¹. Однако при описании внешности не безразличного ей Жака Роцинского она прибегает к романтическим штампам. Менее экзальтирована у Словцовой Наталья Алексеевна, она чаще проявляет интерес к «прозе» жизни, к деталям быта. Из ее записок можно узнать, как обставлена учитель-



Пермская пожарная часть

ская квартира, какой вид открывается из ее окон, где хранятся продукты. Но обеих героинь Камской характеризует склонность к дидактизму, расудительность. Они воспитывают своих избранников, постоянно дают им советы. Например, между Машей и Жаком происходит такой разговор. Она: «В ваши лета вы должны быть давно полезным гражданином, а вы, что вы сделали?» Он: «Я не сделал никому зла, Мери». Она: «Этого мало для того, чтоб иметь право называться человеком и гражданином»²². В духе времени Мария советует Рошинскому жить в деревне и помогать «бедному классу, нашим земледельцам», открыть для их детей школы. В ее воспоминаниях встречаются фразы, по своему стилю напоминающие выдержки из ранее упомянутой статьи о положении женщины в семье и обществе. Так, она пишет: «Я думаю... на непорочности женщины держится семейная жизнь, которая есть основа каждого человеческого общества»²³. Склонность к теоретизированию проявляется у Маши в постановке и решении основного вопроса, который ее интересует: «Что такое любовь... что такое симпатия?»²⁴. Ответу на этот вопрос она придает первостепенное значение, поскольку не признает брака без любви.

Размышления героев Камской над характером чувств, которые их сближают, напоминают один из эпизодов в романе Чернышевского «Что делать?». Этот роман представляет собой тот типологический вариант решения «женского вопроса», при котором освобождение женщины является частью эмансипации всего народа. Одним из родоначальников такой постановки «женского вопроса» был в 40-е годы Герцен, автор «Сороки-воровки». Чернышевский, утверждая в своем романе приближение «перемены декораций», обсуждая актуальные политические и философские проблемы времени, уделяет внимание и вопросам семейной этики, интимных отношений в среде новых людей. Любовь и дружба — вообще сфера моральных ценностей — может, по мысли Черны-



Сибирская улица

шевского, принять из будущего все, что человек захочет перенести в настоящее. И тогда человеческая жизнь «будет светла и добра, богата радостью и наслаждением». Одно из условий этой радости — свободный выбор спутника и спутницы жизни при понимании, признании ответственности за свой выбор. Поэтому Чернышевский разделяет озабоченность Бьюмонта вопросом: любовь или дружба сближает с ним Катю Полозову? Лопухов (Бьюмонт), уже познавший горечь и последствия ошибки Веры Павловны, предлагает Кате Полозовой прежде, чем дать согласие стать его женой, разобраться в своем отношении к нему. Автор-повествователь комментирует беседы Лопухова с Катей о браке: «Может быть, мужчина говорит: «о том, что я с Вами буду счастлив, нечего мне рассуждать; но будьте осторожны, даже выбирая меня. Вы выбрали — но я прошу Вас: думайте, думайте еще. Это дело слишком важное. Даже и мне, хоть я Вас очень люблю, не доверяйтесь без очень строгого и внимательного разбора»²⁵.

Конечно, у Чернышевского и Камской различные исходные позиции, творческие возможности в решении «женского вопроса», но есть еще один аспект в изображении характеров, который их несколько сближает. Этот аспект связан с движением реалистического метода, с подвижностью основной «формулы» реализма, выражающий его типологическую сущность. В основной «формуле» реалистического метода, в соотношении характеров и обстоятельств, на протяжении 40—60-х годов происходит смена акцентов под влиянием динамики социальной жизни. Так, во времена натуральной школы писатели подчеркивали трагическую зависимость человека от обстоятельств; не избежали этой зависимости Полинька Сакс из одноименной повести Дружинина, Любонька Круциферская из романа Герцена «Кто виноват?». В 50-е годы (1849—1856), когда в стране свирепствовала реакция, литература утверждала возможность нравственного противостояния личности



Пермская торговая школа

неблагоприятным условиям жизни. Например, Герцен в «Былом и думах» показывает «противодействие» Натальи Захарьиной, своей будущей жены, решению «благодетелей»-родственников устроить ее судьбу, насильно выдав замуж. Natalie находит в себе решимость бежать из дома княгини и тайно обвенчаться со своим избранником. В это трудное время Евг. Тур, В. Крестовский (Н. Хвоцинская) создают образы сильных женщин, противостоящих влиянию среды. В романе «Три поры жизни» Евг. Тур рисует два противоположных женских характера — Лины Минской и Зенеиды Воротынской. Авторские симпатии отданы Лине, которая говорит о себе: «Я горда, независима... Наша судьба в руках наших»²⁶. В отличие от Лины Зенеида Воротынская лишена силы воли, она сама признается в своей слабости: «Я слаба... Я не могла бороться и покорилась обстоятельствам»²⁷.

В 60-е годы писатели, особенно демократической ориентации, не отказываясь от показа зависимости человека от среды, его противостояния враждебным обстоятельствам, акцентируют характеры, способные бороться с устаревшими устоями жизни. К борцам относятся герои Чернышевского, но и героини Словцовой не являются жертвами обстоятельств. В духе времени писательница изображает активные характеры, определяющие свою судьбу, ограниченную рамками семейной жизни и эпизодическими заботами о «бедном классе». Женщинам Камской не грозит участь Леленьки из «Пансионерки» В. Крестовского (Н. Хвоцинской), которую служение «мысли» и фанатическая преданность свободе привели к оскудению сердца и одиночеству. Вместе с тем и Наталья Алексеевна, и Мария — натуры свободолюбивые, одна из них говорит: «Я не могу быть рабой, не пойду я замуж за такого человека, который разнится со мной во взглядах и убеждениях, если б я даже и любила его»²⁸.

Устами своих героинь Словцова, подобно другим писателям 60-х годов XIX века, осуждает

тип лишнего человека, вызывавшего к себе симпатии, сочувствие представителей натуральной школы. В новых исторических условиях, требующих от человека активности, лишние люди потеряли авторитет (Обломов из одноименного романа Гончарова, Павел Петрович из «Отцов и детей» Тургенева, антигерой «Записок из подполья» Достоевского). Развенчание лишнего человека началось в 50-е годы и продолжалось в 60-е годы. Черты лишнего человека заметны в характере Жака Рощинского, который, по наблюдениям героини-повествовательницы, «очень часто обвинял своих родных и свое богатство в том, что он не сделал ничего полезного в своей жизни»²⁹. Под влиянием Мери он собирается жить для пользы окружающих, но слова эти звучат декларативно, неубедительно. Неясно, что понимает герой под «пользой» и кого имеет в виду, когда говорит об «окружающих». И все-таки повести Слозцовой-Камской, хотя в них нет политической зрелости Чернышевского, психологического мастерства Толстого, вносят дополнительные самобытные краски в картину литературной жизни 60-х годов XIX века.

Ю. М. ПРОСКУРИНА,
доктор филологических наук

ПИСАТЕЛЬНИЦА г-жа КАМСКАЯ¹

Некролог газеты «Голос»

Нынешним летом (25 августа) скончалась в Ревеле одна из русских писательниц Екатерина Александровна Слозцова, известная в литературе под псевдонимом Камской. Из сочинений ее, между прочим, в «Русском вестнике» были напечатаны следующие повести: «Любовь или дружба?» («Русский вестник», 1859, кн. 22) и «Моя судьба» («Русский вестник», 1863, кн. 47, 48),

явно обличавшие женское, но способное к анализам перо. Екатерина Александровна Словцова умерла девицей и в молодых еще годах (28 лет) от чахотки, которую получила вследствие неестественных, лихорадочно-судорожных занятий науками и литературой. Такой знаменательный факт в жизни наших русских женщин последнего времени достоин внимания. Он выясняет нам многое из того периода брожения русской мысли (от 1856—1865 гг.), который многие называют колыбелью нигилизма, женской эмансипации и т. п., но который, в сущности, есть не что иное как период реакции в умственной жизни России вообще...

Жизнь Словцовой повторила, может быть, не одна женщина в России в последнее десятилетие; вот отчего мы позволим себе занести в ее некролог несколько характеристических подробностей из ее жизни, которые, если угодно, более приличны пространным биографиям и воспоминаниям, чем некрологу, но которые, повторяем, мы позволим себе привести здесь во имя того, что они выясняют многое из того периода напряжения русской мысли в последнее десятилетие, о котором толкуют у нас и вкривь, и вкось.

Словцова была дочь чиновника пермской казенной палаты; матери у нее давно уже не было в живых; между сестер своих она была средняя. Пристрастившись с малых лет к чтению, дочь провинциального чиновника самоучкой, не выходя из тесных комнат деревянного отцовского домика, выучилась всему, что другим достается за огромные траты денег. В 1862 году, в бытность мою в Перми, я застал уже девицу Словцову как местную литературную известность, так как первая повесть ее «Любовь или дружба?», напечатанная в «Русском вестнике» в 1859 году, была прочтена уже пермской публикой, толковавшей об авторе повести на разные лады. Одни рассказывали о девушке-писательнице, что она ходит в синих чулках (!), другие — в казакине и жилете, третьи — что у ней собираются отчаян-

ные моветонные мужчины и проводят время в оргиях до утра, четвертые (шепотом) — что в доме чиновника Словцова происходят, под предводительством его дочери, таинственные совещания о таких предметах, о которых и говорить страшно... Все это сильно заинтересовало меня, как новоприезжего из Петербурга, и я решился безотлагательно лично познакомиться с г-жой Словцовой.

Я увидел девушку очень приветливую, с белокурыми кудрявыми волосами и голубыми глазами, в которой не было ничего ни ужасного, ни таинственного и особенность которой заключалась только в серьезности мысли, видимо, обогнавшей возраст... Дамская половина пермской публики того времени, не тая греха, была очень неразвита; все вертелось на нарядах, сплетнях и французском языке, так что после отъезда г-жи Толмачевой (из-за которой в свое время, как известно, был поднят большой шум в печати по поводу фельетона покойной газеты П. Вейнберга «Век»), с которой сошлась было немного молодая писательница, у Словцовой не осталось ни одной женщины, которой бы она могла довериться и с которой могла бы делиться своими симпатиями и стремлениями. А стремления эти были необыкновенны и превышали всякие человеческие силы.

Молодая девушка кидалась во все роды занятий науками и просиживала за книгами целые ночи до зари и до восхода солнца. Прочитав Бокля, она кинулась вдруг в изучение истории и, обложившись всевозможными историками, убила не один год на самую труженническую работу над историей, пока, наконец, не дочиталась до собственного исторического воззрения, вследствие чего и начала писать свои «исторические письма» (оставшиеся неоконченными) и разбирать Бокля как историка. Когда разыгрался вопрос в нашей литературе о женщинах, молодая девушка кинулась со всем жаром в изучение исторического состояния женщин у народов древнего, среднего

и нового мира, для чего целые ночи напролет просиживала она над римскими историками, не исключая Тацита и Тита Ливия. Однажды, в воскресенье, мне случилось навестить Словцову в первом часу дня. Екатерина Александровна спрессонков явилась с заспанными еще глазами, с пером в руке и пальцами, испачканными в чернилах. Она писала всю ночь и легла только в семь часов утра. На замечания мои, что она может уморить себя книгами, эта необыкновенная девушка отвечала, что для нее жизнь — пустяки, что она блаженствует от того, что домыслилась наконец, чем должна быть женщина в обществе и семействе, и начала уже писать трактат «О правах женщин», утраченных ими вследствие их суетности, пустоты и пошлости моральной.

Вопрос женский занимал Словцову, кажется, более всего. Она хотела доказать собой, что женщина может быть умна и развита, не будучи ни нигилисткой, ни глупо (à la Кукшина) эмансипированной женщиной...

Идеал строгой английской и американской женщины наиболее нравился ей. По этому, между прочим, вопросу молодая пермская писательница вела длинную переписку с г-м И. Аксаковым, у которого помещала и некоторые из своих статей и который называл ее в письмах своих «философом пустынных берегов реки Камы» (город Пермь стоит при реке Каме), работающим умственно за всех пермских женщин.

И действительно, Екатерина Александровна работала умственно за всех женщин не только глухого, жалкого городишка Перми, но и всей Пермской губернии. Она первая прочитывала из всех женщин (а может быть, и мужчин) книжки журналов, и в то время, когда другие справлялись только о получении журнала в городе, она кончила уже чтение и томилась в размышлении о читанном. Журналистика последнего десятилетия поднимала столько насущных вопросов, и все эти вопросы будили и тревожили увлеченную девушку до забвения сна и пищи... Среди разгара во-

проса о славянофилах она кинулась, например, в изучение этого вопроса и исчерпала его до того, что сама начала большой трактат «О славянофильстве в России» (неоконченный); когда поднялся в литературе вопрос о народности, мыслящая девушка бросилась в исследование и этого вопроса и билась с ним до того, пока сама не почувствовала себя способной писать об этом вопросе и не начала «Трактата о народностях» (тоже не окончен). Затронут был, наконец, как-то в литературе вопрос о религии, пытливая девушка вдалась в изучение религии и богословия, над чем и трудилась года два с беспримерным терпением, которому позавидовал бы любой западный каноник.

Екатерина Александровна была мученицей науки, не щадившая себя для того, чтобы доказать, что в России начался иной ряд женщин, не кукол... Однажды, во время разговора, она обратилась вдруг ко мне со следующим вопросом: «А что, вчера было собрание?» — «Было», — отвечал я. — «И дам было много?» — «Все, говорю, обстоит по-старому, как быть следует»... «Когда-то это поколение покончит свое время, — заговорила она с горячностью, — в России народилось уже новое поколение женщин, которому эти тряпичницы должны поскорее уступить дорогу...»

Над увлеченной девушкой все почти смеялись, как над чудачкой; ее дом считался чуть не тем же, чем Сухарева башня в Москве во время пребывания в ней Брюса². Молодая девушка однажды лишь, по вступлении на литературное поприще, позволила себе выехать в пермское загородное собрание. «Боже мой! что я только вынесла в этот вечер, — рассказывала она однажды. — Приду в гостиную — все дамы бегут вон из гостиной; войду в залу и подойду к какому-нибудь кружку — все разбегаются в разные стороны, точно от медведя; подойду к разговаривающим — все перестают говорить. С тех пор я решила ни в общество, ни в собрание ни ногой». И это слово молодая девушка сдержала,

как ни трудно было ей в ее пору запереться в четырех стенах отцовского дома.

Такая неблагоприятная среда, видимо, имела влияние на молодую писательницу. С первого шага в свет она запаслась негодованием против умственной косности и нравственной тесноты, так что акт духовного самоосвобождения свершился в ней рано и навсегда. Но тяжело отозвалась в ней эта ранняя, хотя и благодетельная борьба, кончившаяся завоеванием внутренней самобытности: без поддержки извне, без одобрения общества, она положила на нее печать некоторого болезненного раздражения, тайной грусти, которая никогда не затихала в ней совершенно и раскрывалась болезненно каждый раз, когда в большем или меньшем объеме повторялись неприятные явления, испытанные ею на самой себе или повторяющиеся с ее знакомыми. «Из всех неправд, существующих в свете, самая возмутительная состоит в посягательстве на независимость мысли и нравственных начал», — твердила она всегда, так что всякое негодование ее вытекало из крепкой любви к правде. Вследствие этого сердце ее билось сильнее, чем у кого-нибудь, сочувствием к притесняемым и негодованием к притеснителям... Ей рассказали однажды, что значит чиновничья служба вообще и особенно в Перми, как сидят там все чиновники, точно припильенные к стульям, и вскакивают, будто на пожар, когда проходит по залам высокая особа, которая кого захочет, того и повысит, а кого не захочет, тот сгниет на стуле... Как эти чиновники, чтоб не сгнить на стуле, встречают особ на подъезде и глупо ослабляются, когда их распекают. И пылкая девушка вскричала: «И это позволяют себе мужчины! О каких же тут правах толковать еще женщинам?..»

С этого времени она всех чиновников разделяла только на два ранга: притеснителей и притесняемых, и при встрече старалась читать на лбу каждого, к какому рангу он принадлежал. Мало встречая порядочных людей (в строгом смысле

этого слова) в Перми, увлеченная девушка отыскивала их в книгах и благоговела перед ними, создавая для себя из них свой мир, в котором и заключалась подолгу. Прочитает она, например, очень хорошее произведение какое-нибудь, и благоговения ее к автору нет пределов. «Вот если б увидеть этого автора в лицо и поговорить с ним», — твердила она тогда восторженно и неотвязчиво осаждала меня не раз вопросами о многих литераторах в Петербурге и Москве. «Ведь есть же этакие счастливые города, — говорила она с увлечением, — где живет мыслящий мир, где все мыслящие люди, дружно (не всегда-то! — скажем мы) соединившись в одну общую семью, работают и работают — и все это для России, и Россия все это читает и читает, и развивается...» Такое представление о писателях, конечно, идеально и наивно до крайности, но оно понятно в женщине, в которой литература расшевелила ум и сердце и которая в отдалении, за тысячи верст от столицы, в пустынной дикой стране, одиноко терзалась среди всеобщей апатии, пустоты и мелкости интересов... Понятно, что задушевным ее идеалом сделалось наконец ехать в Петербург или Москву, где, между прочим, непременно растолковать всем во всеуслышание, что напрасно думают, что если женщине дать книгу в руки, то она будет или нигилисткой, или эмансипированной (в глупом смысле этого слова) женщиной (это была, между прочим, ее *idée fixe*), точно так же, как из крестьянина с книгой в руке непременно будто бы должен выйти или поддельватель фальшивых паспортов, или сочинитель ябеднических прошений...

Семейные обстоятельства долго, однако, не позволяли ей этого сделать; но в прошедшем году, собравшись с деньгами, вырученными за свои напечатанные сочинения, она, наконец, пустилась в дорогу, но до того уже истощенная, измученная и надорванная, что в дороге же занемогла и приехала в Петербург уже больной; доктора через зиму объявили ей, что она должна или

ехать в Ревель, или ждать себе смерти. Екатерина Александровна поехала в Ревель, но преждевременной смерти не миновала.

Что же выработала в себе эта женщина, пермский самородок? — спросят нас. Какую задачу чувствовала она в жизни? Глубокое чувство истины, ответим мы; сознание человеческого достоинства, самостоятельность мысли и настойчивость воли, не резкой, не блистательной в своих действиях, но разумной и постоянной. Задачу же в жизни выполнила она одну: доказала собою, что женщина развитая и мыслящая может при этом не быть ни нигилисткой, ни глупо-эмансипированной женщиной. За исполнение этого идеала женщины она и сложила преждевременно свою голову...

Бумаги и переписка этой замечательной русской девушки еще не разобраны, и если кто поинтересуется узнать о них, то может обратиться к брату покойной, служившему здесь в Петербурге, в таможне, Михаилу Александровичу Слобцову. Нам известно только, что после покойной остались, между прочим, повести «Наташа Ринева» и «Любовь и право».

Считая Е. А. Слобцову жертвой ученых увлечений женщин последнего десятилетия (с 1856 по 1866 год), мы знаем, однако, что такая жертва науке и литературе принесена в последнее время не одна в России, и желали бы одного, чтоб новое, умное и благородное направление русских женщин улеглось поскорее в лучшие ожидаемые всеми благомыслящими рамки, но ценою как можно меньших смертельных жертв.



Любовь или дружба?

Отрывок из воспоминаний моей знакомой

Проводив отца и матушку, мы с братом недели на две остались полными и единственными хозяевами нашего хорошенького домика, находившегося на самом краю города. Первым моим движением после их отъезда было обежать все комнаты, отворить окна, подышать упоительным воздухом раннего летнего утра, полюбоваться светлыми кружками солнца, игравшего на полу, на стенах и на белых занавесках окон, и наконец отправиться в свою комнату. В первый раз в жизни оставалась я хозяйничать, и потому, несмотря на мою привязанность к отцу и матушке, их отъезд, за которым следовала блестящая перспектива моей двухнедельной самостоятельности, казался мне событием гораздо более радостным, чем грустным; к тому же брат мой, мой милый Александр, находился подле меня. После четырехлетней разлуки мы встретились с ним, как... но нет, трудно выразить те чувства, которые наполняли мое сердце при встрече с братом.

Не помню, кто-то говорил, что горесть разлуки с избытком вознаграждается радостью свидания. Эта глубокая истина была прочувствована мною: целые годы разлуки и нетерпеливого ожидания были забыты в одно мгновение. И теперь мой первый кандидат, блистательно окончивший курс в Московском университете, готовился к магистерскому экзамену и решил целый год провести в своем семействе, конечно, для того, чтобы после проститься с нами на неопределенное время, — да, это правда, — но отрадней год его пребывания у нас ведь только начинается, а там бог знает, что еще будет. Одним словом, проводив отца и матушку, я считала себя счастливой и... может быть, еще более потому, что светлая мысль о нашем друге Жаке, который в продолжение двух предстоящих недель будет нашим постоянным собеседником, озаряла чудным блеском все, что меня окружало. При мысли о Жаке все начинало улыбаться мне: и темные кедровые, позлащенные лучами солнца, при малейшем дыхании ветра шумевшие у моего окна, и лучи солнца, разноцветными огнями игравшие в хрустале и флаконах, расставленных на моем туалете; даже самое благоуханное жасминовое, волкомерий, олеандров, лимонных и померанцевых дерев, взлелеянных мною с непостижимыми трудами в нашем суровом уральском климате, казалось мне привлекательнее обыкновенного. Небольшой стеклянный шкаф с книгами, письменный стол с разными кабинетными вещами, белые занавески окон, зеленые ширмы, все это пряталось в густой зелени и выглядывало оттуда, как будто смеялось и сочувствовало настроению моего духа. Я попросила нашу нянюшку готовить утренний самовар, а сама, отворив окно и усевшись в кресла, стала смотреть сквозь темноту старых кедров и лиственниц на прозрачную лазурь неба и на серебристо-махровые облачка, исчеза-

шие как призрак в глубине ее, и вместе с тем я невольно прислушивалась то к шороху и шепоту деревьев, как они, будто полусонные, с ленивой негой и сладострастием передавали друг другу свои дивные сны и, вновь очарованные, поддавались обаянию летнего воздуха, то к звонким переливным трелям птиц, оглашавших сад своим нежным пением, то, наконец, к немолчному дребезгу и ропоту волн, которые, дробясь о горные камни, с шумом пробегали около нагорной стороны нашего сада и терялись за сосновой рощей. Между тем из залы неслись мелодические звуки рояля, звуки дивной оратории Бетховена, и сливались в общей гармонии.

Долго ли сидела я, очарованная музыкальными фантазиями, погруженная в немой восторг, для описания которого нет пера, нет слов для его выражения, — не помню. Но вот душистый гаванский дым, смешиваясь с запахом цветов, донесся до меня и, тонкими синими струями, полетел в окно. Я не слыхала, когда умолк рояль и как мой брат Александр вошел в мою комнату и стал за мною. Сердце у меня весело забилося, я не успела еще наговориться с братом, не успела еще привыкнуть к его обществу, несмотря на то, что в продолжение двух недель, со времени его приезда, мы были почти неразлучны. Не умею дать себе отчет, как это случилось, что, обрадованная его приходом, уверенная в его присутствии, я не обернула головы и продолжала безмолвно смотреть на небо, прислушиваясь к говору волны да к шепоту дремавших кедров. Наконец это молчание было прервано братом:

— Какой жаркий день! А что за небо, что за воздух! Конечно, я не узнаю нашего края.

Слушая Александра, я положила руки и голову на окно и думала о том, как я счастлива...

— Но, — продолжал брат, — действительно ли от

реки и от цветов эта свежесть и аромат в комнате моей мечтательной феи? Я же склоняюсь более к мысли, что все это происходит от ее золотистых волос и ее присутствия здесь.

При последних словах Александр наклонился и поцеловал мои локоны.

Ласки брата, постоянно серьезного и задумчивого, были для меня приятной неожиданностью и чрезвычайно растрогали меня; но, сдержавши свой сердечный порыв, я не сделала ни малейшего движения в ответ на его ласки.

— А вот уже почти девять часов, — снова начал он. — Жак должен скоро прийти, я звал его сегодня пить чай с нами.

При имени Жака я подняла голову и взглянула на брата. Он засмеялся и сказал, что может сообщить мне приятное известие.

— Какое?

— Процесс Жака окончен, и он получит право распоряжаться своим именем.

— Слава богу! — воскликнула я с радостью.

Мне и на мысль не пришло, что за окончанием процесса должен следовать отъезд Жака. В продолжение года я до того свыклась с присутствием своего друга, что оно сделалось для меня такой же естественной необходимостью, как язык для выражения мыслей, как воздух для поддержания жизни, и потому я никаким образом не могла себе представить его отъезд. А между тем я должна была знать, что Жак Рощинский не может навсегда остаться в нашем городке; я знала, что он здесь только так, на временной станции, и что его ожидает другая деятельность. Наше знакомство завязалось не с первого раза; сначала я была недовольна Жаком и находила его далеко не привлекатель-

ным. Пока длился процесс, Жак не имел права выехать отсюда и принужден был поступить здесь на службу. Но провинциальная скука и неумение обознаться в окружающей среде сгубили сначала моего друга. Его очень любезно принимали в семействе губернатора Засельского, дочь которого, молодая девушка, оказывала ему большое внимание: однако Жак чувствовал себя неприятно в этом доме и бросился в другого рода удовольствия. От безделья и провинциального застоя в жизни ему пришла в голову фантазия испытать, как далеко пойдет жалкая измельченность и подобострастие нашего общества к нему, аристократу и богачу. Дерзко волочась за хорошенькими чиновницами, он стал нагло поступать с несчастными мужьями. Будучи предупрежден рекомендациями брата в пользу нашего семейства, он не скрывал от нас своих ловеласовских походов и зло смеялся, рассказывая свои столкновения с чиновниками. От этих рассказов негодование накалило у меня на душе; он своевольничал безнаказанно, под покровительством своих воображаемых прав, опираясь на свое положение, по крайней мере в то время мне так казалось. Однажды, рассказавши нам один факт, подтверждавший рабское подобострастие к нему общества, он обратился ко мне с вопросом, как я нахожу этот поступок мужа одной из наших самых важных дам, считавшейся до Жака неприступной добродетелью; я не могла удержаться, чтобы не назвать своего собеседника боярином и пустым фатом. После этого он перестал к нам ходить, но также прекратил все свои сношения с обществом. Вот в это время он начал пить вино, проводить в оргиях целые ночи, целые дни бродить за городом по большой дороге. Одним словом, провинциальная жизнь подействовала на него разрушительно. К счастью, письмо брата, в котором он описал нам характер и образ мыс-

лей своего друга, спасло его, потому что возобновило наше знакомство, перешедшее в скором времени в тесную дружбу, которая прогнала скуку и хандру Жака.

С Александром сблизили Жака университетские годы; во имя этой дружбы с братом я считала своей обязанностью вывести Жака из омота, в который он попал; я не отдавала себе отчета, насколько здесь участвовали красота Жака, увлекательность его речей и его молодость. Ему было около тридцати лет... Я очень сблизилась с ним, и мы считали себя друзьями.

Пока я радовалась счастливой развязке в судьбе нашего друга, Аннушка накрыла белой салфеткой стол и принесла шипящий утренний самовар. Я начала расставлять чайный прибор, думая о Жакке и улыбаясь своим мыслям. Птицы весело щебетали в ясной лазури, упоительный воздух лился в комнату. Кедрь дремали у моего окна; с горы, из нашего Георгиевского монастыря, неслись один за другим удары колокола, и с каждым ударом время летело и приближало минуту прихода нашего друга; но, чу! нетерпеливый колокольчик загремел по всему дому, и вслед за ним ровные шаги приблизились к моей двери.

— *Etes vous visible, Marie?* * — послышался ласковый голос, сопровождаемый легким стуком в дверь.

При звуках знакомого голоса я бессознательно спрягалась за померанцевое дерево и сквозь густую зелень его смотрела, как дверь отворилась, и стройная фигура Жака явилась на пороге.

Взглянув на Жака, я поняла, что он находится в прекрасном расположении духа. Его черные глаза блестяли весельем из-под бархатных бровей, волосы цвета воронова крыла, откиннутые назад, совершенно открывали его чистый, гладкий лоб, и неуловимая улыбка

* Вы дома, Мери? (фр.).

скользила по смуглому лицу нашего друга. Только в одежде его замечалась странность его характера: в жаркий летний день ему вздумалось одеться в черный бархатный сюртук и сверх того застегнуться наглухо. Но черный бархат так удивительно шел к блиставшим белизной воротничкам и рукавчикам его рубашки, к светло-серому галстуку, панталонам и ботинкам одинакового цвета, что невольно пришло бы на ум тому, кто не знал небрежности и рассеянности Жака: неужели он из кокетства оделся в черный сюртук? В одной руке у него была шляпа, в другой газеты, которые, по обыкновению, каждую почту он приносил к нам и читал вместе со мной.

Брат встретил хохотом своего друга.

— А, догадываюсь, у тебя верно новый камердинер.

— Да? — спросил Жак, останавливаясь и оглядывая себя с изумлением. — А, этим нарядом я точно обязан моему человеку, — отвечал он.

— Если бы ты этого и не сказал, так я знаю и могу даже рассказать весь процесс твоего туалета. Ты, по своему обыкновению, одевался, не выпуская из зубов сигары и не отводя глаз от книги, а на неотвязчивые настояния твоего человека отвечал, как всегда: одевай во что хочешь; твой камердинер в нерешимости начинает пересчитывать перед тобой весь запас твоего гардероба, ты, не слушая его, выходишь из терпения и кричишь, чтоб он надевал на тебя хоть этот сюртук, — угадал я?

— Не совсем, — отвечал Жак, подходя ко мне и раскидывая ветви померанца, — я не читал сегодня, но думал, а думал я о Мери. Да что же она прячется от меня за цветы? *Bonjour, mon amie!* *

Я засмеялась и протянула ему руку.

* Здравствуйте, друг мой! (фр.).

— Только из зелени и может показаться такая античная ручка, — сказал он, пожимая мне руку. — Но, Мери, я смотрю на вас и объявляю, что очень доволен вашим нарядом; посмотри, Александр, как белое платье идет к ее воздушному стану, к ее задумчивому личику.

В ответ на слова Жака я поклонилась ему.

— Какой глубокий, серьезный поклон! Нравятся мне эти поклоны, Мери.

— Дайте мне, Рощинский, сюда газеты, — тихо сказала я.

— Нет, — возразил он, бросая их на стол, — ваш сегодняшний день принадлежит мне. В продолжение двух недель Александр совершенно овладел вами. Я не требователен, Мери; вспомните только, по целым часам, бывало, сижу здесь безмолвно и жду терпеливо ласкового взгляда синих очей, «ясных, приветливых милой моей».

Жак, напевая эту песню, отошел от меня, подвинул кресло к столу и зажег сигару.

— Я вовсе не милая ваша, Жак, — отвечала я, выходя из своего зеленого убежища. — С чего вы это взяли?

— Александр, поручись за меня, — воскликнул он, обращаясь к брату, — и уверь свою фею, что она точно мила; но, Мери, — прибавил он, тихо наклоняясь с улыбкой ко мне, — давайте скорее, скорее чаю; ваш друг умирает от жажды.

Мы все сидели вокруг чайного стола. Александр по моей просьбе резал лимон, Жак, полулежа в креслах, курил, внимательно следя за синими струйками гаванского дыма. Я начала разливать чай; солнце, заглянув в стаканы, рассыпалось в комнате и шаловливо забегало по зелени цветов.

— Что ты сегодня делал, давно ты встал? — обра-

тился брат к своему другу, закурив сигару и принимаясь за чай.

— Я встал довольно рано, — лениво отвечал Жак, смотря на меня с улыбкой, — чтоб иметь время для получения двух бестолковых писем.

— От кого? — спросил брат.

— Одно из Москвы, мой друг, от дяди Рощинского, зовет меня служить, *bête qu'il est* *, а другое из Петербурга от брата моей матери.

— Мне жалко вас, Жак, — сказала я, задумавшись, — вы потеряли много времени; в ваши лета вы должны быть давно полезным гражданином, а вы, что вы сделали?

— Я не сделал никому зла, Мери, — отвечал он грустно, — и мне это было так легко, стоило только отдаться без сопротивления течению жизни.

— Этого мало для того, чтоб иметь право называться человеком и гражданином.

— Что же делать, Мери, мой бесценный друг? С первого же раза меня втолкнули на ту дорогу, по которой я не мог идти, не презирая себя.

— И ты бросился в крайность, в разгульную жизнь студента, — договорил брат, смеясь.

Жак пристально, дружеским взглядом посмотрел на Александра и, замысловато улыбаясь, сказал ему:

— Ты наговариваешь на меня, мой строгий пуританин: в товариществе с тобой я жил настоящим мономом.

— *Pardon de vous interrompre* **, — обратилась я к брату, который приготовлялся что-то возражать своему другу. — Скажите мне, Жак, нравится вам студенческая жизнь?

— С какой стороны рассматривать ее, Мери? Разу-

* Глупое, как и он (фр.).

** Прости, что перебиваю тебя (фр.).

меется, в ней больше хорошего, чем дурного; в девятнадцать лет она нравилась мне, но потом, когда мне привелось взглянуть на нее со стороны разгуля, тогда, правда, я увидел, что в ней есть много тягостного. Впрочем, я всем обязан университету, его здоровое влияние принесло мне ту пользу, что я не успел измелчать и обратиться в сухого и жесткого эгоиста.

— Разве вы чувствовали себя способным к такому обращению? — спросила я с живостью.

— Нет, Мери, клянусь богом! — воскликнул он с гордым и злым хохотом, быстро поднимаясь с места и смотря на синее небо, — нет, не чувствовал я себя способным ни к какому застою, моральному разрушению, но окружавшая меня сфера душила, давила.

Я вспомнила, что Жак очень часто обвинял своих родных и свое богатство в том, что он не сделал ничего полезного в своей жизни.

— Хорошо, а если бы Жак был бедным человеком, — заметила я вслух, но как бы про себя, — какую деятельность отыскал бы он себе?

— Тогда, Мери, мне было бы гораздо удобнее, тогда я стал бы свободно выбирать себе деятельность. А теперь из меня сделали блуждающую комету.

— Но что-нибудь намерены же вы делать, Жак?

— Конечно, мой друг, — был мне успокоительный ответ. — Тот, которого вы называете своим другом, не может остаться праздным, не краснея от вашего взгляда.

— И?..

Я наклонилась к нему, смотря в его блестящие глаза.

— Договаривайте, Мери, — воскликнул он улыбаясь.

— Вы будете, Жак, впоследствии жить в вашей деревне и много услуг, пользы можете оказать бедному

классу, нашим земледельцам; вы, Жак, богатый человек, можете завести там школы и поддержать их. Ваши крестьяне будут свободны, и образование не послужит во вред их детям; вы обладаете огромными материальными средствами и можете прекрасно ими распорядиться, как человек добрый, умный, честный. О, Жак, как я люблю вас!

Он быстро схватил меня за руки и взглянул мне в глаза.

— Не смотрите на меня таким взором, — проговорила я серьезно и с невольной грустью.

— Каким?

Жак улыбнулся.

— *C'est le ton qui fait la chanson* *, я не могу объяснить вам.

Мой друг задумался и потупил глаза в землю.

— Посмотрите на меня теперь, — сказал он после минутного молчания, не выпуская моих рук.

Я посмотрела и засмеялась; в его искристом взоре выражалась только нежность и необыкновенная теплота.

— Вы вполне порядочный человек, Жак, и в вознаграждение за то, что вы умеете управлять вашими глазами, я сыграю вам после обеда вашу любимую каватину *Casta Diva* **, из «Нормы».

Жак не отвечал на мои слова, выпустил мои руки и, выбросив за окно свою недокуренную, потухшую сигару, стал безмолвно смотреть в синюю глубь неба.

А с горы снова посыпались мерные и звучные удары колокола, темные кедры по-прежнему сладко шумели у моего окна, и говор волн так же немолчно вторил пению птиц и нагорным звукам, призывавшим к молитве.

* Музыку создает тон (фр.).

** Пресвятая Дева (лат.).

— Достоинно, — сказала я, вставая и благоговейно крестясь.

— Этот звон отзывается чем-то радостным в моей душе, — проговорил Жак, стоя у окна.

Александр улыбнулся.

— Жак — скептик, — заметила я.

Он быстро обернулся ко мне.

— Ваша улыбка, Мери, противоречит вашим словам.

— Но вспомните, сколько раз вы повторяли за Гейне: «О, объясните мне загадку жизни, скорбную и древнюю загадку, мучившую столько голов. О, скажите мне, что такое человек, откуда и куда он идет, кто обитает там далеко, над золотыми звездами».

— Ваши синие глаза, Мери, давно объяснили мне все это, — отвечал он с тихой улыбкой и легким вздохом.

— Так вы, Жак... — проговорила я, краснея от удовольствия.

— Да, Мери, с вами невольно учишься верить и делаешься счастливым.

— Однако ж как мне ни приятно сидеть с вами, — сказал брат, вставая, — я должен исполнить поручение отца и сходить к Поликарпу Федоровичу.

Поликарп Федорович — это один из бедных сослуживцев нашего отца, или, как называл его Жак, один из моих приятелей. Человек, обремененный огромным семейством, он был уволен от службы за пятирублевую взятку начальником, которому понадобилось место для своего protégé*, и снова был принят отцом, уже на свою ответственность. Личность Поликарпа Федоровича представлялась мне типом угнетенного чиновника; к нему я чувствовала особенное сострадание. Сердце

* Протеже (фр.).

мое разрывалось в каждый его приход к нам, и это заставляло меня часто и много говорить с ним, расспрашивать о его житье, о его жене, детях. Вот к этому чиновнику отец, уезжая, дал брату поручение, относившееся до службы. А Александр, точный, как немец, воспользовался первым свободным случаем, чтобы поскорее исполнить эту обязанность.

Я вышла вместе с братом из своей комнаты, чтобы взять шитье, которое лежало в гостиной. Возвратившись через несколько минут, я застала Жака, уже преспокойно сидевшего в моих креслах у окна, и, разумеется, не отважилась беспокоить его, потому что в подобных случаях он был весьма не обязателен, да и вообще не отличался, по крайней мере в отношении ко мне, светской услужливостью. «Разве мало вам места в этой комнате? — бывал его обыкновенный ответ на мои замечания. — Мне нравится сидеть здесь у окна, и я не расположен уходить отсюда». Поэтому, войдя в свою комнату, я, ни слова не говоря, принялась за шитье, уселась на стул подле своего друга, у окна, выходящего на двор. Жак не обратил ни малейшего внимания на мой приход; облокотившись на окно, он сидел, как будто вовсе не замечая меня. Я также не сочла нужным заводить разговор. Наше молчание продолжалось несколько минут.

— Мери, — сказал он наконец, не оборачиваясь, — подойдите сюда и посмотрите, хорошо ли я сделал выбор книг для вас; завтра отсылаю его в Петербург.

Я подошла, он вынул из кармана каталог и, не смотря на меня, передал его мне.

— Выбор сочинений действительно превосходен, — отвечала я, пересмотрев означенные в его каталоге издания, — но многие из них невозможно достать в России.

— Это ничего не значит, — возразил он, лениво взглянув на меня сбоку, — у меня есть в Петербурге отличнейший корреспондент, который, если нужно, достанет книги со дна моря.

«Прекрасно», — подумала я и попросила Рошинского сказать мне цену каждого издания.

— Зачем вам? — спросил он с неудовольствием, быстро взглянув на меня.

— Для соображений.

— Для каких?

— Вот вы увидите; говорите же.

— Я сам не знаю, Мери, — отвечал он равнодушно, снова отворачиваясь от меня.

— Так вот, Жак, — сказала я, подходя к письменному столу и вынимая из ящика деньги, — вот все мои фонды, оставленные мне матушкой; у меня не остается у самой ни копейки. Возьмите эти деньги и выпишите на них книги, а если чего неостанет, так можно будет выкинуть вот, например, это, это, это...

И я, быстро подчеркнув карандашом несколько сочинений, означенных Жаком, положила каталог и деньги около него на окно.

— Мери, — воскликнул он, вскакивая с негодованием с кресла, — вы поступаете бессовестно!

— Какой вы дерзкий, Жак, — заметила я улыбаясь.

— А вы? Как назвать ваш поступок?

Глаза его блестели, он быстро подошел ко мне.

— У вас есть замашка, Жак, ставить себя всегда на равную ногу с женщиной.

— Не с женщиной, а с вами, — был мне неожиданный ответ.

— Положим, так, — возразила я после некоторого раздумья, — разве я не женщина?

— Вы исключение из общего правила, вы можете понимать вещи, как они есть.

С этими словами он снова занял свое место.

— То есть, Жак, вы предполагаете, что я могу выслушивать, не оскорбляясь, ваши дерзости? — сказала я, подойдя к нему и облокотившись на спинку его кресла.

— Разумеется, — продолжал он, не отводя глаз от кедров, — вы можете выслушать, не оскорбляясь, всякую истину.

— А вы сами можете гордиться этим достоинством и выслушаете от каждого человека колкую истину?

— Без сомнения.

— Так позвольте мне заметить вам, что вы не правы.

— Как так?

Он быстро обернулся ко мне.

— Вы не можете смотреть на вещи с настоящей точки зрения.

— Я не понимаю вас.

— Вы близоруки, Жак.

— Что это такое?

Нетерпение уже начало выражаться на его лице.

— Вы лишены такта и той прозорливой деликатности, которая может вникнуть в каждое состояние, войти в каждую сферу общества и стать в уровень с каждым человеком. Вы слишком аристократ для этого.

— Мери, — закричал он, вскакивая с места, — вы оскорбляете меня!

— Вы оскорбились? — спросила я с удивлением. — Странно!

— Тут решительно нет ничего странного, — отвечал он, нахмутив свои брови.

— Но ведь вы уважаете меня, Жак.

— Без всякого сомнения. Дальше?

— Следовательно, истина, высказанная мною, не может колоть ваши глаза.

— Если б это была истина, так я не сошелся бы с вами.

— Так вы думаете, что я могу лгать?

— Конечно, нет, но вы сами заблуждаетесь.

Жак неловко выразился, я улыбнулась и воспользовалась его ошибкой.

— Точно так же, мой друг, — сказала я, подходя к нему ласково и положив свою руку на его плечо, — и вы можете заблуждаться, высказывая мне истины: кто ручается, что в настоящую минуту, осуждая мой поступок в отношении книг, вы смотрите на него не сквозь призму своего минутного впечатления? Но, Жак, простите меня, я нарочно назвала вас аристократом; эта мысль давно уже не приходит мне в голову.

— Прощу, пожалуй, — отвечал он простодушно, — если вы избавите меня от ваших денег, на которые можно выписать разве только каких-нибудь два издания.

— И двух достаточно, — возразила я, показывая ему на два сочинения, — вот этих.

— Так я не хочу прощать вас.

И он с досадой отошел от меня.

— Ах, Жак, — сказала я со вздохом, — сколько раз говорила я вам, что подобная обязательность обременяет меня, просто оскорбляет меня!

Он положил деньги к себе в карман и попросил мою особу отойти от него и не начинать с ним разговора до тех пор, пока ему самому не вздумается заговорить со мной.

— Не хотите ли, чтоб я почитал вам что-нибудь? — сказал он, лишь только я отошла от него и принялась за шитье.

— С удовольствием; читайте *La conquête de L'Angleterre par les Normands* *.

Подвинув свое кресло к моему столу, он открыл «Илиаду», говоря, что мой Тьерри ему надоел.

— Я хочу читать прощание Гектора с Андромахой.

Не имея желанья противоречить Жаку, я облокотилась на стол и поддалась обаянию его звучного симпатического голоса, который гармонировал, как нельзя более, с чтением вечно юного создания творческой фантазии древних греков.

— Что же вы не шьете? — заметил мне Жак, неожиданно прерывая свое чтение.

Не отдавая себе отчета, я поспешно взялась за наперсток, но он, выскользнув у меня из рук, скатился прямо под ноги моему собеседнику, который наступил на него ногой и по своему обыкновению не шелохнулся, чтоб услужить мне; напротив, продолжая весьма спокойно сидеть в креслах, он, казалось, все свое внимание устремил на то, как я вставала, отодвигала стул и наклонялась, отыскивая наперсток.

— Он, кажется, у меня под ногами, — заметил Жак, внимательно следя за моими движениями.

— Разве вы чувствуете его у себя под ногами? — спросила я, стоя на коленях около стола.

Жак выразил глазами: «да».

— Так потрудитесь выкатить его ко мне.

Он весьма обязательно исполнил мое желание и носком сапога выкатил наперсток прямо мне в руки.

Я подняла его, надела на палец и опять усердно принялась за шитье; Жак так же спокойно стал продолжать свое прерванное чтение.

Окончив песнь, он положил книгу на стол и, облокотившись на ручку кресла, пристально посмотрел на меня.

* Завоевание Англии норманнами (фр.).

— Вам что-то нужно? — спросила я, почувствовав на себе его взгляд.

— Мне хочется курить, а сигары все вышли; сходите, Мери, к брату в кабинет и принесите мне оттуда сигару.

— Отчего же вы сами не идете?

— Я много старше вас, Мери.

«Причина очень резонная», — подумала я, вставая.

Возвратившись через минуту, я подала ему сигары. Положив их на стол, он взял меня за руки и обратился ко мне с вопросом: не кажется ли мне он, Жак, диким человеком?

— Вы кажетесь мне Жаком, ни более, ни менее, — отвечала я.

— Вы не сердитесь на меня?

— Если я могу на что сердиться, так на ваш вопрос: за кого принимаете вы меня?

— Вы не находите дерзким мое обращение с вами?

— Я не вижу в нем ничего дурного.

— Вам оно нравится?

— Правда и особенно хорошего ничего не вижу.

— Вы думаете, что я поступаю с вами как должно?

— Каждый человек имеет свои особенности, на которые, я полагаю, надо вначале смотреть снисходительно, а потом можно к ним привыкнуть.

С легким вздохом пожав мне руки, он сказал, что я феномен в своем роде, в чем, однако ж, он никогда не сомневался.

— В жизнь свою не встречал я женщины менее тщеславной и более гордой!

— Прекрасно, Жак! — воскликнула я со смехом. — Но скажите мне, что за фантазия пришла вам сегодня в голову анализировать свое обращение со мной? Оно давно перестало быть новостью для меня.

— Отчего, Мери, пришла мне эта фантазия в голо-

ву? Ваш наперсток, мой друг, напомнил мне одну старинную историю, вследствие которой мне заперли двери в одном доме.

— И вас, конечно, это научило быть поосторожнее?

— Конечно; но в первый раз замечаю я у Мери, — проговорил он, как будто в недоумении поднимая свои черные брови и пожимая плечами, — этот хитрый и исполненный простодушия взгляд. Это, поистине, удивительно; при взгляде на вас мне невольно припоминаются мои былые споры с вашим братом, который утверждал, что только женщина может быть самым искренним и задушевым другом мужчине, а я, опровергая его, доказывал, что женщина слаба — поэтому мелочна, и никогда не может заслужить дружеского уважения мужчины. Отвечайте, Мери, не глуп ли был я?

— Совсем нет, Жак, и я отчасти даже соглашаюсь с вашим мнением: женщина должна бы быть другом мужчины, но почти никогда не бывает; вы не уважали, Жак, женщины вообще?

— Я не знал вас прежде.

Он сделал ударение на слове *в а с*.

— Я не напрашиваюсь на комплимент... Но с которых пор вы стали уважать меня как человека? — спросила я, складывая свое шитье и садясь к окну.

— Вы, Мери, очень походите лицом на вашего брата и понравились мне с первого раза; но я стал уважать вас как человека с того времени, как вы называли меня пустым фатом. Сначала ваш характер казался мне глубокомысленным, холодным, молчаливым, но после того как вы называли меня боярином, я понял источник вашей молчаливости и не мог не полюбить вас как друга.

— У вас нет самолюбия, Жак, это нехорошо!

— Вы говорите против себя, милая Мери, это так-

же нехорошо, но, однако ж, это не мешает мне уважать вас и спрашивать самого себя: кто виноват, что мужчины, иногда довольно благородные, оказываются вероломными и изменниками в глазах женщин?

— Наши человеческие чувства, Жак, наше непостоянство, — отвечала я, тихонько вздохнув.

— Чьи чувства?

— Человека.

— А потом?

— Пожалуй, того, кто вызывает на вероломство и измену.

— Значит, женщины?

— А женщины разве не оказываются изменницами и кокетками в глазах мужчины?

— Ну, так мужчины?

Улыбка начала скользить по лицу Жака.

— Виноваты и мужчины и женщины; право, им не в чем упрекать друг друга.

— Но скажите мне, может ли кто перед вами оказаться изменником?

Я улыбнулась.

— Какая тонкая улыбка и сколько в ней самонадеянности, гордости; взор ваших синих глаз как будто говорит: «что же, попробуй, кто смеет».

— Нет, Жак, нет, мой друг, — отвечала я горячо, — я не понимаю, чтобы человек, нравственно развитый, мог оказаться изменником в чьих бы то ни было глазах. Были ли вы когда-нибудь изменником в своих отношениях к женщинам? Я готова ручаться, что нет.

— Правда, Мери, — сказал Жак с такой улыбкой, в которой, однако ж, промелькнуло чувство глубокого презрения, — я никогда не был изменником, обманщиком, хотя и случалось мне довольно часто иметь интриги с замужними женщинами и вести себя не очень осторожно в отношениях к ним.

— Вы никогда не представляли себя на месте супруга?

— Никогда, Мери, — отвечал он после некоторого молчания, — но, кажется, я легче могу перенести со стороны женщины открытую измену, чем подлый обман.

— Это понятно; но отчего вы никогда не представляли себя на месте мужа?

Он улыбнулся.

— Какие странные вопросы вы иногда делаете, Мери! Оттого, мой друг, что женитьба прежде представлялась мне невозможностью.

— А нынче?

Он пристально взглянул мне в глаза и заметил мне, что в моем взоре не видит дна. Это замечание заставило меня нахмуриться и отвернуться к окну.

— Нынче, Мери, — отвечал он, поспешно подойдя ко мне и садясь подле меня на окно, — я думаю вот о чем: если бы моя будущая жена нашла человека, которого полюбила бы так же, как некогда я был любим ею, — а я хочу быть любимым пламенно, страстно, нежно, — как поступила бы она в таком случае? Вам отвечать, мой друг.

Я молчала.

— Или как должна была бы она поступить, Мери?

— Не знаю, Жак, — сказала я после недолгого молчания, — но я не понимаю возможности любить пламенно и нежно два раза в жизни.

— И я также, Мери; но допустим гипотезу вот какую: мы с вами муж и жена, любим пламенно друг друга, однако ж наша пламенная любовь должна стихнуть и обратиться в тихую симпатию. В это время является человек, который увлекает ваше внимание, представившись вам совершенно с новой стороны; потом

ваши чувства, наконец ваше сердце принадлежит ему. Что бы в таком случае вы сделали?

Пустое предположение Жака, что я жена его, поразило меня. В первый раз выраженное между нами, оно отозвалось радостью и удовольствием в моем сердце. Я очень покраснела и, облокотившись на стол, погрузилась в размышление по поводу слов Жака. В своем уме никогда не представляя его ни мужем своим, ни возлюбленным, я чувствовала, однако ж, что он очень родствен моей душе, очень близок моему сердцу; его постоянное присутствие у нас, его сообщество слилось как будто со всем моим существованием.

— Мери, о чем же вы думаете, что же вы не отвечаете на мой вопрос? — прервал Жак мои размышления.

— О вас, о ваших словах, мой милый супруг, я думаю, — отвечала я, поднимая голову.

Наморщив лоб, он заметил нетерпеливо, чтоб я оставила свои шутки и отвечала на его вопрос. «Конечно, из этого и не может выйти ничего, кроме шутки», — подумала я; и эта мысль не навела на меня грусти, потому что, повторяю, хотя я не могла отделить его от самой себя, но никогда не воображала его своим мужем.

— Жак, — сказала я серьезно, — вопрос, предлагаемый вами, многосложен и труден.

— Так обдумывайте, я буду ждать.

С этими словами он встал, подошел к креслам и, лениво откинувшись на спинку их, устремил свой искристый взор на верхушки кедров.

Я засмеялась.

— Что означает ваш смех? — обратился он быстро ко мне. Досадой и нетерпением блистали его черные глаза.

— Что такое любовь, Жак, что такое симпатия? Всегда ли они проявляются одинаково, всегда ли любовь оканчивается симпатией, и если оканчивается, так возможно ли после этого любить еще кого-нибудь? Потом, что такое брак, и отчего, большей частью, из браков по любви происходят несчастные супружества, и бездна других вопросов представляются уму при одном прикосновении к тому, на что вы требуете быстрого ответа.

Жак задумался.

— Из счастливой любви, — решил он наконец, — никогда не может произойти несчастья.

— Но оглянитесь вокруг себя, и вы увидите тысячу примеров, противоречащих этому.

— Не на здешнее ли общество советуете вы взглянуть мне, или не на моих ли прелестных кузин? — спросил он иронически. — Но мы далеко ушли от цели нашего разговора, мне хочется знать, как поступили бы вы, будучи моей женой, в случае своего увлечения?

— Вы хотите знать непременно мои убеждения относительно этого предмета? — спросила я улыбаясь.

Глаза Жака сделали утвердительный знак.

— Я думаю... думаю, что на непорочности женщины держится семейная жизнь, которая есть основа каждого человеческого общества.

— Дальше, моя милая Мери...

Глаза его выражали нетерпеливое любопытство.

— И потому, мой милый супруг, — отвечала я улыбаясь и смотря на небо, — в случае своего увлечения я поразмыслю прежде, чем решусь на какой-нибудь шаг.

— Мери, подите сюда, дайте мне пожать вашу ручку.

Я поспешила ответить на его призыв и рукопожатие.

— Еще вопрос, мой воздушный друг: любили ли вы кого-нибудь?

Я не могла удержаться от улыбки.

— Ваша улыбка уведомляет меня о дикости моего вопроса; но не увлекал ли кто-нибудь особенно вашего внимания?

— Кажется, нет, — отвечала я, снова подходя к окну, — да, впрочем, и некогда было. Нужно только представить себе, что целых пять лет, по возвращении своем из института, я не имела минуты свободной. Когда я приехала домой, располагаясь со школьной скамейки отдохнуть на свободе, отец и мать, поговорив с своей дочерью-институткой, нашли необходимым почти сызнова образовать меня. Да, Жак, пять лет тому, не более, я не имела никаких понятий, убеждений, никаких взглядов, жила в мире химер и снов, даже без понятия о добродетели и нравственности; я воображала жизнь путем, усыпанным цветами, не предполагая, что этот путь покрыт черными грешками, пошлостью и подчас, о! каким тяжелым мраком! Эти пять лет заставили меня отказаться от вымыслов и взглянуть на жизнь, как она есть. Я радуюсь своему развитию, Жак, потому что теперь глубже могу чувствовать и радость, и горе. Божий мир и без вымыслов прекрасен; взгляните только на это синее небо, зеленый сад, темную рощу, прислушайтесь к этому шумному, спокойному говору волн, загляните в свое сердце, мой друг, — заключила я, наклоняясь к нему и смотря в его черные, подернутые думой глаза. — А вы, были вы влюблены когда-нибудь?

Он, задумавшись над моими словами, молчал. Спустя несколько минут я повторила свой вопрос.

— Если влечение мужчины к хорошенькому женскому личику может назваться влюбленностью, так,

пожалуй, бывал, — отвечал он, нетерпеливо откидывая назад свои длинные волосы.

— Много раз? — спросила я с удивлением.

— Раз двадцать, — был мне ответ.

— О, о! Жак, вы шутите.

— Уверю вас честным словом.

— И всех любили одинаково?

— Зачем вы назвали это чувство любовью? Просто влюбчивость.

— Хорошо, положим, влюбчивость, но отвечайте же на мой вопрос.

— К одной из них я чувствовал влечение больше всех, мое чувство продолжалось с полгода.

— Давно это было? — спросила я торопливо.

— Да, Мери, — отвечал он с улыбкой, взглянув на меня, — давно, лет восемь назад тому.

— Кто же была эта особа, возбудившая в вас такое продолжительное чувство? — произнесла я рассеянно или стараясь казаться рассеянной.

— Один маленький ангелочек, как называют их там, невинный младенец, без понятия о добре и зле. Этот ангелочек довольно странную роль сыграл в моем прошлом. Эта девушка была моим первым увлечением...

Жак остановился.

— Прекрасно; так отчего же вы разлюбили ее?

— Одна великосветская Юнона увлекла мое внимание, и я скоро понял, что мой ангелочек очень глуп, не в состоянии понимать самых пустых вещей и давно весь высказался.

— Потом что же сделалось с этим ангелочком?

— Потом, — продолжал Жак, иронически улыбаясь, — из глупого ангелочка вышла довольно умная женщина и впоследствии кокетничала со мной. Она была моим первым увлечением и последней песчинкой между мной и модными красавицами. Я перестал было

верить в самую любовь; я перестал уважать женщин, и после первой неудачи и первого обмана я не испытывал любви, хотя у меня и было много любовных интриг. Моральная спячка начинала овладевать мной. О, если бы вы знали, Мери, какая борьба происходила во мне, что вынес я в то время, мой друг!

— Жак, никогда не приходило вам на ум переменить образ жизни... например, ехать на Кавказ?

— Резать людей, Мери? — вскричал он, открывая на меня свои глаза. — От вас ли я это слышу? за что? что сделали они мне?

— Извините меня за мой вопрос, но продолжайте: как же вы вышли из этой чудовищной сатурналии?

— К моему счастью, — продолжал он, постепенно успокаиваясь, — в скором времени после этого я встретился с Александром, который нежностью и теплотой своего сердца, чистотой своего ума, святостью своих убеждений поддержал меня на скользком пути моего падения; моя впечатлительность и живость возвратились мне, а с ними и отвращение ко всему черному и грязному.

— Жак, — сказала я, — так вы чувствуете глубокое отвращение к разврату, мой друг. Однако ж вы повторили его здесь.

— Да, Мери, но я должен объяснить вам это: я ехал сюда в бешенстве, готовый на борьбу со всем миром. Приезжаю сюда. Здесь все так же грязно и сонно, только спит и грязнет иначе, чем там. Я увлекся на мгновение просто любопытством; вы в то время все молчали, и я не святой дух, чтобы угадать вас. Но стоило, Мери, произнести вам одно слово, и я бросил всю эту пошлость, грязь. Я человек и требую сочувствия; я молод, и для меня необходимо молодое нравственное существо, которое могло бы понимать меня, порицать за дурное и подарить ласковым взглядом за

доброе... Я угадываю вашу мысль: вы хотите сказать, что это требование или желание недостойно мужчины-человека; вознаграждение или порицание своих поступков он должен находить в самом себе; все это так, но многие ли из нас способны жить без сочувствия? Нет, я первый отказываюсь от этого жестокого катонизма и требую сочувствия своего маленького друга.

При последних словах Жак быстро поднялся с места и, подойдя ко мне, протянул свою руку. Но я, откинувшись от него, обратилась к нему с вопросом:

— Что заставляет вас, Жак, отзываться с презрением о женщинах, нападать на них?

— Но, Мери, — проговорил он, останавливаясь, озадаченный моим вопросом, — я не нападаю на них; впрочем, — прибавил он после, но с злой улыбкой, как будто спохватившись и стараясь поправить свою ошибку, — не сами ли вы назвали чудовищной сатурналией господствующий между ними разврат?

— А вы сами, Жак, — возразила я быстро, — были вы святым человеком между ними, что имеете право порицать их поступки? Как достаёт у вас духа бросать в них камень?

Он наморщил свой чистый лоб и искоса посмотрел на меня, но в его нахмуренном взгляде было много чего-то слишком лукавого и смеющегося.

— Я был свободен, Мери, — отвечал он с гордостью после минутного молчания, — никому не давал никаких обязательств, поэтому считал себя полным господином своих поступков. К тому же... к тому же, — прибавил он, закусывая губы и снова как-то замысловато посмотрев на меня, — я мужчина.

— Только этого недоставало! — воскликнула я с негодованием. — Стыдитесь, Жак, не вы бы это говорили; других я выслушиваю молча, но вам, вам болтать

эту детскую сказку: вы мужчина!.. Вы прежде мужчины человек, точно так же как и женщина.

— Так вы думаете, Мери! — вскричал он тоном оскорбленной гордости, между тем как смех разлился по его лицу.

— Я думаю, Жак, — возразила я, выведенная из терпения выражением его лица, — что вы не имеете права требовать от человека, чтоб он шел прямо по тому пути, на котором вы сами беспрерывно спотыкаетесь. Какое право вы имеете обязывать мыслящее существо в отношении к себе тем, чем сами не в состоянии отплатить ему? На какую свободу после этого имеете право претендовать вы, когда сами при малейшей возможности обращаетесь в деспота? Как можете вы, Жак, быть поборником этого глупейшего деспотизма, из которого истекает ложь, обман, коварство, вероломство? После этого, клянусь вам, вы родились на то, чтобы жить и умереть рабом.

— Мери, — начал он, выслушав меня с нахмуренными бровями, но в голосе его слышалось что-то подстрекающее, — ведь вы сами говорили, мой друг, что на непорочности женщины держится семейная жизнь.

Это напоминание окончательно вывело меня из терпения; лукавый, убеждающий и вместе с тем дружеский тон Жака сердил меня неописанно.

— А, вот вы куда пошли! — отвечала я. — Но не забывайте, Жак, что это мое свободное, невынужденное убеждение, я сознательно сама дошла до него, я убеждена так, а не иначе, потому что хочу идти по этой дороге, а не по той. Неужели вы думаете, что я способна дрожать перед порицанием и упреками того, который сам стоит по колено в грязи? Неужели я похожа на рабыню, которая безмолвно может погореться безосновательным требованиям деспота, не умеющего управиться с самим собой? Разуверьтесь, Жак; мои

убеждения, повторяю вам, свободны, я исподволь пришла к ним; но никто не считал нужным навязывать их мне, принуждать меня к ним, а теперь никто не имеет этого права.

В продолжение моей речи Жак, сидя в креслах, с улыбкой почти блаженства смотрел на меня; возбудив мое негодование, он, казалось, любовался им и находился в полном восторге.

— Мери, мой маленький тигренок! — воскликнул он с восторгом. — Вы прекрасно судите, но если бы вы знали, какой отрадой ваш глубокий, гневный взор, ваши прямые и честные слова проливаются в мое сердце, вы еще раз, мой друг, вышли бы из терпения; это так редко с вами случается.

— Ах, Жак, — проговорила я с неудовольствием, отворачиваясь от него, — у вас есть дурная привычка поддразнивать меня.

— Но, Мери, — возразил он, подойдя ко мне и начиная одной рукой играть моими локонами, — вы сами вызвали меня на это; кто вам сказал, что я нападаю на женщин? Я не уважал тех женщин, с которыми судьба сводила меня, потому что не встречал у них ни одной светлой мысли, ни одного родного слова, ни на одно свое сердечное движение не находил отзыва, и, чувствуя, что сердце и ум мой спят между ними непробудным сном, не мог уважать их, и подчас презирал, но не нападал на них с бестолковыми порицаниями. Я слишком хорошо знаю, Мери, что женщина вообще ни более ни менее как отражение общества: общество дряхлеет и падает, она вместе с ним развращается; общество поднимается, оживает, женщина становится нравственной и добродетельной. Вы сами когда-то говорили мне, мой друг, что обязанность матери семейства, если понимать ее как должно, страшная обязанность, что не всякая в состоянии исполнить ее

добросовестно, а между тем у каждой из наших женщин единственная цель в жизни — выйти замуж. Женщин нельзя осуждать, но можно презирать их, как мелкие существа.

Я повернулась к нему и попросила его, чтоб он оставил в покое мои локоны.

— Так я уйду от вас, уйду к тому окну, и не стану говорить с вами, — проговорил Жак полушутя, полусерьезно.

Я знала, что он в состоянии это сделать, а мне хотелось болтать с ним и слушать его.

— Скажите мне, мой друг, — обратилась я к нему, оставляя в забвении первую мою просьбу, — я очень глупа, потому что на мгновение могла ошибиться в вас?

— Так глупа, моя милая Мери, — отвечал он с улыбкой, — что я удивляюсь, откуда выработался у вас этот взгляд и убеждение. Вот вас нельзя назвать отражением общества; и, знаете, вы более, чем всякая женщина, подвержены суду, суду бога, нравственности и людей, не так ли?

В это время вошел мой брат, осторожно державший в руках две махровые розы.

— Я тебя утешу, Мери, — сказал он, взяв меня за руки. — Ты знаешь, я заходил сегодня к Поликарпу Федоровичу, он выходит в отставку и имеет намерение заняться мелкими казенными поставками; своих детей он отдал в пансион при гимназии, и вообще теперь в его семействе заметно некоторое довольство.

— Да? но откуда же он добыл себе деньги? — спросила я, с изумлением поднимая голову.

— Это тайна; он нашел, кажется, клад, — проговорил улыбаясь Александр.

— Это тот Поликарп Федорович, ваш приятель, Мери? — спросил прерывающе Жак.

Промелькнувшая в моем уме светлая мысль заставила меня быстро взглянуть на нашего друга. Он весь вспыхнул от моего взгляда, однако ж тотчас сумел овладеть собой и, прехолодно посмотрев на меня, лениво отвел свои глаза в другую сторону. Брат с замысловатой улыбкой кивнул головой на своего товарища.

— А когда же мы будем обедать, Маша? — обратился он ко мне.

— Хоть сейчас; но где вы хотите обедать?

— В роще, под кленами, — сказали в один голос брат и Жак.

Итак, далеко, на самом конце сосновой рощи, омываемой светлыми, уже стихнувшими волнами реки, под двумя гигантскими кленами, накрыт был на три прибора стол. Столетние клены казались зелеными прадедами, отделившимися от молодого поколения деревьев, и стояли они как будто в раздумьи, распустив свои раскидистые ветви до земли и глядясь в бездонную глубину водяного неба. Дни, как секунды, пролетали над их головами, недели за неделями, годы за годами пробегали в вечность, а они все горды и спокойны, все те же столетние красавцы; по-прежнему величественно поднимаются они в вышину своими густотенистыми вершинами, мирно стоят над моей родной рекой, глядясь в ее светлую поверхность, и по-прежнему словно размышляют о быстролетности несущегося мимо них времени. Около их колоссальных стволов до сих пор еще лежат огромные белые камни, когда-то набросанные вместо скамеек по распоряжению моего отца. Река, расстилающаяся перед ними, омывает золотой песок, и светлая струя, просачивающаяся из того камня, к которому тогда была привязана лодка брата, все еще бежит по желтому, как золото, песку и на пути своем, волшебным своим могуществом, превращает бе-

лые, темные и серые голыши в бесценнейшие опалы, изумруды и рубины. Добежавши до синего, как лазурь, камня, заслоненного от солнца желтой насыпью, она ласково прижимается к нему, обвивает его с тихим лепетом и, рассыпавшись звонким серебряным смехом, бросается в реку; волны, разбегаясь, принимают к себе с радостным трепетом красавицу струйку. Весна сменяется весной, жатва следует за жатвой. Необъятные поля, тянущиеся за рощей, наполняются, как и прежде, шумным движением в летние дни; толпы народа подходят к ним из окрестных деревень, песнями издалека возвещая свое приближение. Все здесь по-старому, и заречный лес все еще так же неприступен и грозен, так же тонет в непробудном мраке и сумрачно глядит даже на горячие объятия солнца. Все напоминает здесь моей душе былое время, мою юность и неразлучную ее спутницу — любовь, напоминает мне моего милого брата и бесценного Жака, с которым мы, бывало, столько раз стояли здесь на синем камне, погруженные в думы, и, обрывая лепестки цветов или листья дерев, прилежно следили за уносившими их волнами. Жизнь моя в своем течении катилась безостановочно, сокрушая и изменяя все на своем роковом пути, а ты, суровый край моей родины, как цвел некогда в лета моей юности, так цветешь и донныне в своей могучей неизменной красоте.

Жак сидел против меня, наклонившись над своей тарелкой; его длинные волосы спустились на лоб, черный сюртук был расстегнут, и около пуговиц серого жилета виднелась пунцовая роза. Александр, опорожнив свою тарелку, с улыбкой взглянул на меня и остановил свой взор на моем цветке, лежавшем на столе.

— Откуда Господь послал тебе эти розы? — обратилась я к нему.

— Я заходил к Николаеву, гувернеру Засельских, —

отвечал он. — Молодая Засельская, увидев меня с ним в саду, спустилась к нам, начала меня спрашивать о Жаке, которого не видала около двух недель, и во время своей болтовни, проходя мимо цветников, сорвала эти две розы; одну из них отдала мне, для того чтоб иметь предлог послать другую Жаку.

«А, вот как!» — заметила я про себя, смотря на цветок. «Что за отношения у Жака к Засельской?» — думала я. Она приходилась ему какой-то троюродной кузиной. В городе все громко говорили о предполагаемой женитьбе Жака на ней, но сам Жак никогда не упоминал в своих разговорах со мной даже имени Засельской. Стало быть, эти слухи были чистейшей выдумкой провинциального безделья. Мой друг сказал бы мне об этом; я пользовалась его безграничной доверенностью. Он часто говаривал мне: «Ни с одним человеком в продолжение всей своей жизни не сходилась я так коротко, как с вами, Мери, ни с одним не был так откровенен: я готов поверить вам все, что у меня есть на душе; может быть, это происходит оттого, что я уверен в вашей справедливости, в вашем участии, и могу безопасно положиться на твердую нравственность моего друга. Мне даже кажется, что, передавая вам свою прежнюю жизнь, я не только облегчаю себя, но роднюсь с вами, и с невыразимым блаженством думаю, что переданное вам кануло в вечность и никак уже более не повторится в моей жизни». Это доверие Жака воспрещало всякое любопытство с моей стороны в отношении того, о чем он не считал нужным говорить. А все-таки думы одни за другими пролетали в моей голове при взгляде на цветок.

— Мери, *mettre moi au courant de vos pensées* *, —

* Введите меня в курс ваших размышлений (фр.).

сказал Жак, — отчего вы сделались грустны? Дайте мне ваш цветок.

Я исполнила его желание.

Взявши из моих рук цветок, он свил его со своим и потом, посмотрев несколько мгновений на обвившие одна другую розы, неожиданно для меня кинул их в воду со словами:

— Неситесь, пышные, куда хотите.

«Если Засельская любит Жака, — подумала я, нахмутив брови, — то он поступил дурно; но это не может быть, мой друг слишком добр и благороден для такого поступка».

— Да скажите же мне, Мери, о чем вы думаете? — повторил он.

— Жак, — начала я, внимательно смотря на него и стараясь прочесть в его черных глазах, с какой целью кинул он цветы в воду, — я думаю в настоящую минуту о том, что только дурной человек способен заплатить насмешкой или холодным презрением за любовь: согласны вы со мной, Жак?

— Согласен, моя милая Мери, — возразил он с жаром. — Если мы сами не можем отплатить за любовь любовью, так должны ценить и уважать чувства любящих нас.

Я покраснела от удовольствия и потупила глаза в тарелку.

— Но, Мери, — продолжал Жак, — я не совсем доволен вами, вы далеко не откровенны со мной. Зная весь здешний глупый говор насчет моих отношений к Засельской, вы показывали вид, как будто ничего не знаете; это нехорошо, Мери, это не по-дружески.

И мой друг нахмурился.

— Я ожидала, Жак, что вы сами заговорите.

— Отчего же было не спросить вас?

— Я не знаю отчего, — отвечала я в недоумении, —

но все-таки мне кажется, что, будучи на вашем месте, я предупредила бы всевозможные вопросы.

— Мери, — начал Жак без дальних рассуждений, обращаясь ко мне, — мой дядя, Рощинский, думал еще в Москве женить меня на Засельской.

— А дальше?

— Вследствие этого я еще там перестал ходить к ним; нынче, воображая себе, что провинциальная скука сделала меня сговорчивее, Засельские возобновили свое искание.

— И вы, разумеется, Жак?.. — сказала я с улыбкой.

— Разумеется, Мери, — отвечал он, также улыбаясь, — я решительно показываю вид, что не хочу жениться на ней; но они все еще питают какую-то глупую надежду, которая, впрочем, поддерживается некоторым образом письмом моей любезной матушки.

— К тому же, — прибавил брат, — Засельским не легко отказаться от своих планов и надежд: Жак считается прекрасным женихом.

Я с удивлением взглянула на Жака как на прекрасного жениха и невольно задумалась. Мои понятия насчет прекрасного жениха были в то время очень странны. Прекрасный жених — это, на мой взгляд, было что-то такое, весьма удобное для покупки, продажи, промена, вообще для коммерческих оборотов, и вдруг, кто же? Жак оказывается прекрасным женихом! Это подействовало на меня чрезвычайно неприятно, и я почти с укором взглянула на брата, который придал своему другу такую пошлую кличку.

— Я знаю, о чем задумалась мыслящая головка Мери и подернулись грустной думой ее умные глаза, — проговорил Жак, смотря на меня своим мглистым взором.

— Отчего?

— Вы правы, Мери, я могу быть прекрасным другом, прекрасным мужем, отцом, но никогда прекрасным женихом, потому что ничто в мире не может меня заставить жениться. Мери несколько раз высказывала мне свой взгляд на прекрасного жениха, — обратился он к брату.

— Да, Жак, и я почти сердита на Александра.

— Бог вас знает, — заметил брат улыбаясь. — Я четыре года не видался с Машей, год с тобой, Роцинский, и как мне угадать теперь фантастический взгляд, составленный вами на многие вещи здесь, в глуши? Но выпьем же, Роцинский, по рюмке хереса за процветание вашего взгляда.

— Нет, нет, merci *, — был ответ.

Это педантическое воздержание от крепких напитков, которое выказывал Жак с минуты возобновления нашего знакомства, казалось мне забавным.

— Отчего, Жак? — сказала я, улыбаясь и наливая ему в рюмку вина.

Он немного нахмурился и отвечал, что, пожалуй, если я хочу этого непременно, так он выпьет.

После обеда брат остался дремать под кленами, Жак ушел на синий камень, который был окружен с трех сторон водой, и смотрел, стоя на нем, на катившиеся волны. Долго стоял он один, наклонившись над рекой, наконец тихо, как будто про себя, прошептал мое имя. Я быстро встала, но, сделавши несколько шагов к нему, остановилась.

— Что же моя волшебница не идет ко мне? — проговорил он, как будто нечаянно обратив свои глаза в мою сторону.

— Извините, Жак, — сказала я, поспешно подходя к нему и становясь подле него на камень, — я думала, что мне послышалось...

* Спасибо (фр.).

— Мери, взгляните, какие светлые волны и какая яркость в глубине: там и небо, и солнце, и лес, и блистающие белизной горные камни, как будто чертоги Нептунова царства... Но, мой друг, у меня есть до вас просьба, — проговорил он, быстро и внимательно взглянув мне в глаза.

— Я слушаю вас, Жак, — сказала я.

— Моя просьба до того пуста, что мне необходимо предупредить вас об ее ничтожности.

Я взглянула на него вопросительно.

— Не предлагайте мне никогда за столом вина.

— Отчего?

— Ваши синие глаза и черные ресницы в особенности хороши тогда, когда смеются и спрашивают. Оттого, милая Мери, что я не люблю здешних вин.

— А, теперь понимаю, отчего вы не сказали этого при Александре, который не знает толку в винах: кое-как отличает херес от мадеры, и то, полагаю, больше по цвету.

Он засмеялся и, отвернувшись от меня, снова засмотрелся в глубину реки.

— Но скажите мне, Жак, — начала я, положив свою руку к нему на плечо, — вы пили прежде?

— Нет, не пил, Мери, — отвечал он, не отводя глаз от воды, — но запивался.

— И этими винами?

— Какие попадались, и даже водкой.

— А теперь отчего вы не пьете?

— Не чувствую необходимости.

— Так, значит, вы пьете только по необходимости?

— Хорошие вина пью и из удовольствия.

— А запиваетесь дурными?

— Было время, — отвечал он с легким вздохом, не смотря на меня, — когда напивался и хорошими, и дур-

ными, и всем, что ни попадалось; но теперь надеюсь, что это время никогда уже не повторится.

— Жак, вы дурно делали? — спросила я, ласково заглядывая ему в глаза.

Он быстро повернулся ко мне и, взявши меня за руки, с необыкновенной нежностью посмотрел мне в глаза.

— Не сознаю этого, мой маленький друг: тогда было одно время, теперь другое.

— Тогда или иначе, не все ли одинаково дурно иметь склонность к обращению себя в четвероногое? Не так ли, Жак?

— Мери, вы не понимаете многого. Есть чувства, мой друг, — начал он, с задушевной теплотой во взгляде, сжимая мне руки, — которые делают человека выше, благороднее, нравственнее. Эти чувства святые и глубокие, запавши раз в душу, проливают на нее милость Бога; благотворное влияние их не исчезнет никогда; воспоминание о них, святое и светлое, всегда останется при человеке и сохранит его в жизни от всего черного, грязного, злого, сохранит его от морального падения. Об этих чувствах я не имел понятия прежде, и потому немудрено, что, видя вокруг себя только черноту и мрак, мрак непроходимый, непроницаемый, из которого тщетно искал исхода, я, не находя исхода, скользил и падал на тернистом пути. А жизнь, молодость между тем кипят в крови, нужно употребить на что-нибудь излишек своих сил, бросаешься во все стороны и все-таки не находишь ему места. Тогда этот излишек начинает тебя душить, как, помните в рассказе вашей старушки няни, легион чертей душил одного человека, требуя у него работы; вот при таких обстоятельствах, понемногу утрачивая веру в людей, в самого себя, моральной опоры не видя никакой, начнешь

пить, заливаться: это по крайней мере лишает человека сознания.

— Так неужели вы были когда-нибудь разочарованы? — проговорила я в раздумьи.

— Чтобы разочароваться чем-нибудь, необходимо прежде очарование, а я, к счастью, никогда не был очарован тем обществом, в котором жил.

— А теперь?

— Теперь, Мери, — отвечал он с восторгом, смотря на заречный лес и дальний небосклон, — теперь я хочу жить, хочу любить, хочу верить, хочу быть добрым человеком.

«О, Жак всегда был и будет добрым человеком», — подумала я, и Поликарп Федорович со своим бедным семейством промелькнул в моем уме.

— Жак, у меня есть до вас просьба, — обратилась я тихо к своему другу.

— Прекрасно, Мери, — воскликнул он, снова схватив меня за руки и пожимая их, — благодарю вас: для меня истинное наслаждение услышать из ваших уст слово просьбы. Бог видит, как оно сладко отдается в моем сердце.

— Позвольте мне поцеловать вас за ваше доброе сердце, — сказала я тихо, но настоятельно.

В ответ на мою просьбу Жак посмотрел на меня с удивлением и с строгостью восьмидесятилетнего старика проговорил, что я с ума схожу.

Я еще раз, так же настоятельно, повторила ему свою просьбу.

— Что за дикие мысли лезут вам в голову, Мери? — возразил он с нетерпением. — После того надобно забыть все приличия...

— С которых пор вы сделались, Жак, — отвечала я, спокойно смотря на него, — таким строгим поборником приличий? Каждый волен понимать их по-своему,

и потому я не уйду от вас, пока вы не дадите мне позволения поцеловать себя.

— Что за упорство в этой головке и каким упрямством светятся ее глаза! Лицо ее приняло решительное выражение. Конечно, она будет мучить меня, а не откажется от своей дикой мысли.

Говоря это, Жак откинул назад свои черные волосы и снисходительно удостоил наклонить ко мне свой чистый, как слоновая кость, лоб.

Я обвила руками его шею и крепко поцеловала моего доброго и благородного друга в лоб.

— Удовлетворились ли вы теперь? — спросил он холодно.

— Да, Жак.

— Итак, вы можете идти отсюда; я желаю остаться один.

С этими словами он отвернулся от меня.

Не имея обыкновения утомлять Жака своими разговорами, я ушла с синего камня и возвратилась под клен к дремавшему брату. Усевшись подле него, я обвила одной рукой его шею и, приклонив голову к нему на плечо, засмотрелась на волны, которые безостановочно неслись мимо меня и своим мерным шумом навевали на меня сладкую дрему. Синева неба, облитая горячими лучами солнца, утопала в долгой неге, и клены, наклонившись к реке, не освободились еще от царившей дремоты полудня. Только неугомонное трещание стрекозы, раздававшееся в ближней осоке, да немолчный говор далеких волн потрясали сонный воздух. А Жак все стоял на камне под палящим солнцем и неумоимо глядел на катившиеся перед ним волны. Время несло вместе с волнами, минуты за минутами быстро летели, четыре удара пробил однообразный бой городских часов, сладкая дремота начала спускаться на мои глаза; шум волн становился тише и

отдаленнее, трещание стрекозы глуше отдавалось в моих ушах, синева неба глубже уходила в беспредельность, ветви кленов выше и выше поднимались над моей головой, наконец и темный лес, толпившийся в отдалении, как будто задвигался; еще минута, с шумом понесся он уже по берегу реки вслед за волнами; тогда и фигура Жака, обрисовывавшаяся резко на голубом воздухе, постепенно приближаясь ко мне, начала уменьшаться, между тем брат и клены и все, что находилось вокруг меня, исчезло, а волны и лес, и впереди всего улыбающийся Жак, несутся вдоль берега, рассыпая на пути своем золотые сны, и, то исчезая, то вновь появляясь, убаюкивают они меня звуками своего сонного полета. Волшебные сны спустились на землю, одели ее лазурным сиянием, и я, утопая в золоте лазури, ничего больше не вижу и не слышу...

Смеркалось. Солнце совершенно зашло за горизонт, белые облачка, ежедневно игравшие друг с другом по вечерней заре, обмывшись в алом закате солнца, убежали уже вслед за ним на запад. Небо, синее и глубокое, светило сквозь густую зелень деревьев; месяц, с высоты пронизывая ее своими лучами, серебрил сад и мою комнату. Легкий ветерок, пробегая в зелени деревьев, обдавал меня прохладным воздухом. Вскоре послышался благовест ко всенощной из монастыря, и могучий, звучный голос колокола, оглашая окрестность, торжественно пронесся в воздухе, как будто прощальный поклон погаснувшему за горизонтом золотым лучам солнца и вместе с тем привет божественной ночи.

Проснувшись одна в своей комнате, долго сидела я у окна, стараясь отдать себе отчет в моем волшебном переселении из рощи в комнату. Наконец я встала и решила идти отыскивать брата или Жака, чтобы попросить у них объяснения чуду. «Уж не сомнамбула

ли я?» — грезилось мне в то время, как я обходила комнаты. «Или не брат ли перенес меня на руках? — подумала я, спускаясь в сад. — Это вероятнее. Четыре года назад тому он носился со мною как с ребенком, а с тех пор я нисколько не выросла». Размышляя таким образом, поднималась я по нагорной стороне сада. Везде было тихо: ни говора, ни шагов не раздавалось. Пробираясь между деревьями, углубилась я в узкие аллеи, окружила цветники и, наконец, нигде не встретив никого, подошла к реке. Облокотившись на перила, несколько минут простояла я здесь, смотря, по десятисаженному обрыву берега, на косматые, седые волны, скакавшие около огромных белых камней, врезывавшихся в реку. Потом по белой тропинке, тянувшейся по самому обрыву берега и огороженной перилами, начала я спускаться к роще. Месяц в небесах да золотые звезды, мерцавшие над моей головой, были моими единственными спутниками. Подойдя к мрачной густоте толпившихся передо мною сосен, я в нерешимости остановилась.

Между нашими людьми носились глупые слухи, будто после солнечного заката в этой роще раздается непонятный говор, будто неведомые звуки наполняют ее; говорили даже, что злые духи обитают в ней. Я любила гулять в этой роще почти столько же, как и слушать рассказы моей няни о злых духах, некогда обитавших там. С трепетным наслаждением поддавалась я всегда, и особенно в темные ночи, чарующему влиянию этих волшебных рассказов. Конечно, ни брата, ни Жака не надеялась я встретить здесь, но цель моей прогулки уже изменилась. «Пусть теперь они одни отыскивают меня», — подумала я, входя с замиранием сердца под густую тень темных сосен, среди которых царствовала мертвая тишина: нигде не щелкнет, небрякнет, нешелохнет. Пробираясь в гуще, со стра-

хом прислушивалась я к отдаленному ропоту волн да к шелесту своих шагов. Фантастическое сияние месяца, скользя с высоты в рощу, рассыпалось по моему пути, и бледные трепетные тени его потянулись по темной зелени дерев, а за ними средневековые легенды и баллады со своими страшными и чудными героями, большей частью похожими как две капли воды на Жака, ярко выступили перед моими глазами и наполнили ночное безмолвие непонятными, глухими звуками, которые грозно и тихо загудели в моих ушах. По временам останавливаясь, я с трепетом оглядывалась вокруг себя или смотрела на синее небо, на золотые звезды, и думала о том, как там божественно свободно, и, вновь погружаясь в свои фантазии, шла я вперед, не чувствуя под собой земли и возвращаясь к своим милым героям, к их прекрасным невестам, проживала с ними те времена, в которые любовь продолжалась и за гробом. Но вот звонкое серебряное журчание волшебной струйки донеслось до меня, и вода бесчисленными светлыми полосами сверкнула сквозь зелень. Я очутилась под кленами. Подойдя к синему камню, около которого на легкой зыби качалась лодка брата, несколько минут простояла я здесь, заглядевшись на реку и на дремучий заречный лес.

Чу! вдали раздались едва доносившиеся до моего слуха слова: «Мери, Маша!» «Это брат и Жак отыскивают меня», — подумала я, снова входя в рощу и с радостным страхом углубляясь в самую густоту ее дерев.

— Она должна быть в роще, — неся из сада голос брата, отчетливо раздававшийся среди ночного безмолвия.

Я остановилась, притаив дыхание, и со страхом обняла старую высокую сосну.

— Не может быть, — говорил другой голос, — она трусиха, у нее пылкое воображение, способное населить

всю природу русалками и лешими; нет, ни за что не пойдет она туда одна.

— Я почти уверен, что она там, пойдем же, и ты увидишь. Маша, откликнись!

«Как же, сейчас», — думала я, со смехом прижимаясь крепче к сосне и удерживая дыхание.

— Вот видишь, ее там нет, теперь все звонко отдается, а у нашей феи тонкий слух. Да, однако же, где она? — проговорил Жак уже встревоженным голосом.

— Я пойду в рощу, верно, она сидит там, под клемами, и смотрит на волны.

— Иди, если хочешь, — голос Жака чрезвычайно изменился, — но я уверен, что Мери одна не ступит ногой в рощу. Бывало, от какого-нибудь глупого рассказа, от шороха ветра или тени дерева она вся побледнеет и задрожит. У нее скверная привычка ходить по этой проклятой дорожке, по этому обвалу.

На слова Жака не было ответа, но вскоре послышался треск сухих ветвей. Александр, зная меня хорошо, вошел в рощу. «Вероятно, и Жак с ним», — промелькнуло у меня в уме. Приподнявшись на носки башмаков, я тихонько отошла от сосны и стала направляться к опушке рощи. Вскоре опять вышла я на белую тропинку, проклятую Жаком. Оглядевшись кругом и не видя никого, начала я подниматься по обрыву берега около перил, тихонько напевая «Горные вершины». Ветер играл с моими кудрями, пенистые волны с шумом скакали подо мной, река, с отражавшимися в ней звездным небом, темными облаками, которые поднимались с южной стороны, и дремучим лесом, дрожала в берегах. Вдали, на самой вершине тропинки, рельефно обрисовалась на синем небе стройная фигура Жака. Напевая громче и громче, я приближалась к нему.

— Это моя подруга, легкая и воздушная, как фантазия поэта, поднимается сюда, не касаясь до земли, — летит мне с высоты восторженный голос моего друга. — Мери, неужели вы из рощи? — воскликнул он, схватив меня за руки. — Лесная нимфа, вы измучили своих друзей.

Ни слова не говоря, я высвободила свои руки из его рук и, облокотившись на перила, с безотчетной грустью, мгновенно овладевшей мной, засмотрелась на далекую высоту звездного мира; последние слова моего пения: «подожди немного» все еще отдавались в моей душе.

— Что с вами, Мери? — спросил с беспокойством Жак, наклоняясь и смотря мне в глаза.

— Ничего, Жак, — отвечала я тихо, смотря на небо и скрестивши на груди руки, — но что за бездонная синева там, мой друг, и кажется мне, что я могу слиться с ней и потонуть в глубине ее.

Жак молча, своим блестящим взором, следил по направлению моих глаз.

Между тем волны скакали, шумели и покрывали наши голоса своим шумом, а темные облака приближались с юга и заволакивали лазурь неба.

— Жак, — начала я снова, — я улетела бы отсюда далеко-далеко, туда, где так приветливо мерцают звезды, туда, где даже и женщина свободна; но скажите мне, как называется эта блистающая над нами звезда?

— Вега, мой друг.

— Я когда-нибудь буду там; а та, что горит, точно золотая?

— Арктур, — отвечал Жак, смотря в небо.

— И там буду. Как хорошо бессмертие! Скажите мне, отчего находят иногда на человека такие минуты, в которые так и хочется разорвать эту земную обо-

лочку и, простившись навсегда с прекрасной землей, потонуть в голубых волнах воздуха.

— Это потому, моя бесценная Мери, — отвечал он, грустно смотря на меня с нежностью, — что божественная и глубокая синева неба заключается в нас самих, только носит между нами иное название.

— Какое, мой несравненный друг? — прошептала я, глядя через перила на волны.

Наклонившись ко мне так, что горячее дыхание его уст касалось моей щеки, он звучным шепотом произнес одно только слово, слово, старое, как месяц, но вечно полное юной жизни и вечно отдающееся радостью в молодом сердце.

«Мы слишком зафантазировались с Жаком над рекой, и к чему?» — подумала я, стряхивая со своими спустившимися на лоб кудрями и свои прекрасные грезы.

Потом, с улыбкой посмотрев в большие глаза своего собеседника, я спросила его:

— Право, так?

Моей улыбки достаточно было для того, чтобы вывести из терпения строптивного Жака. Нахмуривши свои бархатные брови, отразив на своем лице весь сумрак заречного леса, он отвернулся от меня и нетерпеливо застучал своими тонкими красивыми пальцами по перилам.

Я улыбаясь смотрела на небо, на лес и в глаза Жаку.

— Разве вы не видите, Мери, — проговорил он с неудовольствием, спустя несколько минут после моего вопроса, — что мешает мне думать? Идите отсюда.

Понимая слишком хорошо, что присутствие мое, вследствие моих слов, сделалось неприятным Жаку, я молча удалилась от него и пошла по направлению к роще отыскивать брата.

— Где ты пропадаешь? — вскричал Александр, встречая меня в саду.

— Сначала я искала вас, — отвечала я, обнимая его, — потом пряталась от вас, наконец разговорилась с Жаком, рассердила его и очутилась здесь; но скажи, каким образом попала я из роши в комнату?

— Я перенес на руках, как бывало прежде, мою маленькую сестричку, — был мне тихий ответ; сопровождаемый нежной улыбкой.

Обнявшись друг с другом, мы пошли с братом в комнаты, оставив Жака одного мечтать над рекой.

— А где же вы были?

— За мной присылал Засельский, мы были у него вместе с Жаком.

Я вопросительно посмотрела на брата.

— Я не могу тебе ничего сказать насчет нашего визита, потому что он касается до Жака.

Конечно, после этого ответа мне нечего было любопытствовать. Я замолчала, и мы скоро вошли через стеклянную дверь в залу, где были поданы огни: две свечи стояли на рояле, две другие стояли на столе под зеркалом.

— Александр, — сказала я, становясь в амбразуру окна, — у меня есть до тебя просьба.

— Говори, Маша.

— Сходим ко всенощной.

Улыбка мелькнула на его устах.

— Но всенощная уже отходит.

— Нет, Александр, завтра местный праздник, и всенощная будет длинная, сходим хоть на несколько минут помолиться.

— С удовольствием, но что за праздник завтра?

Я сказала брату имя святого, которого празднуют память.

— Пойдем, пойдем, мой друг, а после всенощной

будем кататься по реке, разумеется, если не будет грозы, — прибавил он, заглянув в окно на небо.

Александр, вызвавшись принести мне шляпку, мантилью и перчатки, ушел от меня.

Жак долго еще после нас оставался в саду. Я, надевши шляпку и мантилью, стала натягивать уже перчатки, как он с нахмуренным лицом явился в комнату и прошел, как будто не замечая меня, прямо к роялю. С шумом открыв его, он подвинул к себе одной ногой табурет, сел и небрежно заиграл какой-то бешеный вальс.

— До свидания, Жак, — проговорила я, проходя мимо него.

— Мери, — остановил он меня, сильным аккордом заключая свою неистовую игру, — садитесь подле меня.

Мне было не время; однако ж я рассудила, что могу уделить ему несколько минут.

— Мой друг, — начал он, ласково обращаясь ко мне, и голос его зазвучал необыкновенной нежностью, — скажите мне, приходит вам желание выйти замуж?

Облокотившись на рояль, с минуту обдумывала я слова Жака и свой ответ.

— Да не за кого, Жак, — ответила я наконец, вставая.

— Как? Я не понимаю вас! — воскликнул он, схватив меня за руки и заставляя садиться.

— Очень просто: чтоб отдаться человеку, слить свою жизнь с его жизнью, для этого необходимое условие — любовь.

— А из уважения, из братской привязанности не находите вы возможным выйти замуж, а потом полюбить?

Я отрицательно покачала головой.

— Вы не соглашаетесь?

— Нет, Жак, выходить замуж без любви, по моим

понятиям, величайший грех, и я никогда не решусь на подобный шаг.

Он посмотрел на меня с улыбкой удовольствия.

— Но, Мери, посмотрите, все и везде и всегда так делали и делают.

— Сколько раз я говорила вам, Жак, что мое свободное убеждение не может быть законом для всех, у каждого свой взгляд на вещи, и никто не может идти, не делая греха, против своей совести, против своих убеждений.

— Прекрасно, Мери, прекрасно, мой друг, — проговорил он рассеянно, как будто обдумывая что-то другое.

Я улыбнулась.

— Что означает ваша улыбка?

— Я смеюсь глупости тех, которые выходят замуж только для того, чтобы выйти замуж.

— Что же в этом глупого?

— Нет резонов выходить замуж без любви: вся невыгода супружества и неприятности брака на стороне женщины, она делается рабой, она надевает на себя цепи.

— И вы также сделаетесь рабой, если выйдете замуж, — проговорил он с лукавой улыбкой, как будто в утешение мне.

Я еще улыбнулась.

— Знакома мне эта улыбка, знаком этот взгляд!

— Да, Жак, я не могу быть рабой, не пойду я замуж за такого человека, который разнится со мной во взглядах и убеждениях, если б я даже и любила его. Не могу я возвыситься до этого «высокого самоотвержения» или низойти до унижительной роли рабыни, я слишком развита для этого.

— Конечно, Мери, вы неспособны обманывать че-

ловека, муж ваш будет знать, чего может ожидать от вас.

— Да, Жак, но прежде всего я должна знать, чего мне ожидать от мужа, потому что, выйдя замуж, волей или неволей нужно будет покориться ему.

— Мери, в вас нет женского самоотвержения.

— Во мне нет, Жак, скажите лучше, женского самозабвения, этого глупого чувства, истекающего из любви, которое мучит себя и других, потому что в нем есть много эгоистичного. А что касается до самоотвержения, так я готова жизнью пожертвовать для вас. Но я заговорила с вами, мне пора идти ко всеобщей. До свидания, мой друг, или пойдемте вместе с нами.

После минутного колебания Жак взялся за шляпу и подал мне руку.

— Не мешало бы надеть тебе, Маша, бурнус, — заметил брат, когда мы спускались с лестницы, — посмотри, туча приближается, облака уже забегали над нашими головами. Позволь, я схожу за бурнусом.

— Да я не останусь долго в церкви, я не могу молиться много, вот Рошинский знает.

Но Рошинский ничего не отвечал. Он шел, опустив голову, как будто вовсе не слыша моих слов. Александр также замолчал, и мы таким образом безмолвно шли до калитки, выходящей прямо к монастырской горе. Ночь была темная и жаркая, по небу начали уже пробегать облака, довольно густые; месяц, блуждая в них, то выглядывал, осыпая нас робким трепетным сиянием, то вновь скрывался, как будто испугавшись ночной темноты и грозно подвигавшейся тучи. Душистый горошек, гелиотропы, левкои, ночные красавицы наполняли воздух чрезвычайно сильным благоуханием, удушливым ароматом. Легкий ветер, дрожавший в листьях кустов и дерев, казалось, замер в густой зелени.

Около нас в воздухе стояло грозное безмолвие, между тем как вдали яркие молнии начинали уже прорезывать черную тучу, и глухие раскаты грома, скатываясь к реке, сливались с ропотом волн.

— Вы понимаете, Мери, — начал Жак, после того как брат отворил калитку и мы стали подниматься на гору, — вы понимаете, что я как мужчина не могу долго жить здесь тунеядцем.

— Конечно, Жак, — отвечала я спокойно, — вам нужно будет избрать себе какое-нибудь занятие здесь. Везде можно с пользой жить.

— Нет, Мери, хотя я счастлив подле вас, доволен подле вашего брата, но моя совесть запрещает мне продолжать это счастье; я скоро должен ехать отсюда, — туда, где с большей пользой могу употребить свою деятельность. Вы понимаете это, Мери?

Месяц скрылся в облака, поэтому Жак не мог видеть, как смертельная бледность разлилась по моему лицу перед совершенно неожиданной для меня встречей с возможностью его отъезда.

— Я понимаю это, Жак, — сказала я после минутного молчания, совершенно овладев своим голосом.

— Итак, Мери, я уеду отсюда, оставлю скоро навсегда ваш край.

Мое молчание было единственным ответом на его слова.

— Вы молчите? — продолжал он своим тихим голосом, тщетно прождав несколько минут моего ответа. — Но вы сами говорили мне, что я как гражданин должен приносить пользу своему отечеству.

— Вы правы, Жак.

— Мери, мы можем расстаться с вами друзьями?

— Конечно, Жак, — проговорила я едва слышно.

— Будете вы писать мне?

— Да, — прошептала я.

— И легко перенесете мой отъезд?

Я молчала, Жак еще повторил свой вопрос. Я снова ничего не отвечала, потому что задыхалась от рыданий.

— Итак, Мери, вы не хотите отвечать мне? — сказал он после минутного молчания, в продолжение которого я успела оправиться.

— Нет, Жак, — проговорила я, едва сдерживая свое отчаяние. — Я не хочу хитрить, мне будет невыразимо трудно расстаться с вами, но да благословит вас Бог, я не умру без вас и надеюсь даже, что буду казаться спокойной, провожая вас; я могу перенести и ваш отъезд, и мою вечную разлуку с вами. Желая вам от души всевозможного счастья.

С усилием окончив свою речь, я замолчала. «Жак уедет, думала я; но как он уедет? разве это возможно, когда от одной мысли об его отъезде голова у меня закружилась, в глазах потемнело?» Брат что-то говорил с ним, но я ничего не могла уже слышать. То мне казалось, что я лишаюсь рассудка, то я удивлялась, что со мной делается. Я только то понимала, что слишком далеко ушла в своей спокойной привязанности, которая откликнулась иным голосом перед возможностью нашей разлуки с ним. Что за жизнь моя будет без него, что за ряд страшных однообразных дней, длинных и темных, как эта туча над нами? Кого буду я поджидать каждое утро, кого встречать с улыбкой, кому поверю свои недоумения, у кого спрошу объяснения непонятных мне загадок жизни? А длинные зимние вечера, с кем буду проводить их? С кем буду бродить по полям и с кем буду слушать чудные песни осеннего ветра, смотреть на волны, объяснять их говор, смотреть на звездное небо, отыскивать между золотыми звездами знакомые мне созвездия, с кем буду молиться, кого уговаривать к молитве? Жак слился со

всей обстановкой моей жизни, и не в моей власти уже было отделить его от себя. Все опустеет без Жака: и темная роща, и зеленый сад; вся моя светлая радость, все мое ясное счастье, я чувствовала, кончатся с его отъездом. «Что же опять, думала я, разве счастье вечно на земле?» Целым светлым годом я искупила все свои будущие страдания; а сколько есть людей, страдающих без надежды и упования, без всякого взгляда на прошедшее! У меня есть прошедшее, я любила, я была счастлива и должна найти утешение в самих своих страданиях. Я не должна роптать; неужели я не могу вынести жизни? Разве я не человек, разве я могу страдательно поддаваться ее случайностям? Недостанет у меня силы снести ее первый удар, неостанет у меня воли для борьбы с нею? Неужели я до того слаба, что в отчаянии преклонюсь перед обстоятельствами? Пусть Жак уезжает, я и без него найду себе дорогу, на которой также буду жить, чувствовать и мыслить. Но я не увижу его никогда... И у меня снова потемнело в глазах.

— Мери, что же вы остановились? Идите, — вскричал Жак.

Я огляделась вокруг: мы были уже на горе, около монастырских ворот. Природа как будто гармонировала с настроением моей души. Месяц ушел в тучу, и темнота ночи закутала всю окрестность. Великолепный вид с горы, которым мы столько раз любовались с Жаком, совершенно исчез. Только блеск плашек, мерцавших на темной колокольне монастыря, как тысяча огненных глаз, бросал кровавый свет на мрачные сосны и ели, которыми окружен был монастырь, и виднелось в глубине их полуразвалившееся здание белой часовни с блестящим куполом, как будто полуночное привидение, окутанное белым саваном. Мы взошли на папёрть. Здесь было темно, как в могиле; только одна

лампадка перед ликом Пречистой Девы с Божественным Младенцем на Ее руках озаряла это мрачное преддверие храма и своим замогильным светом вызывала благочестивые думы у входящих, напоминая им о далекой, неведомой стране, о тихом пристанище жизни лучшей. Снова послышался благовест колокола, но звон его раздавался уже глуше и торжественнее под тяжелыми сводами храма.

— Идите первая, — сказал Жак, перекрестившись и отворяя двери.

На нас повеяло теплой атмосферой, пропитанной благовониями. Блеск тысячи свеч ослепил на несколько мгновений мое зрение, голоса певчих в стройной гармонии неслись с хор и ниспадали на толпу молящегося народа. «Сюда», — прошептал Жак, направляясь в левый придел, куда обыкновенно никто не становился, по причине отдаленности от священнодействия. В то время, как в правом приделе совершалась божественная служба, раздавалось громкое пение, густая толпа народа сливалась в одну нераздельную массу, золотые ризы икон обливались блеском свеч, в левом приделе в то же время было тихо и мрачно, только одна свеча тускло теплилась перед образом Спасителя и какая-то темная фигура виднелась в отдалении, пение певчих и голос дьякона едва доносились до нашего слуха. Мы с Жаком всегда молились здесь. Я стала около стены, стараясь подавить свое отчаяние и даже самое воспоминание о моем друге, которое сделалось невыносимым для меня. Долго смотрела я на лик Божественного Учителя, сиявший мне ласково и приветливо, как будто из уст Его лились слова любви и утешения. Слезы невольно потекли из моих глаз, я пала на колени и, приклонивши свое лицо к холодным плитам железного пола, забыла все в мире, забыла самое себя. Мне казалось, что какая-то неведомая, непонятная мне сила на-

полнила мое существо неопределенными чувствами и звуками, которые рвались наружу и шумом, гулом, звоном отдавались в моей душе. Эта сила, я чувствовала, с непостижимыми болью и отрадой как будто отделяла мою душу от тела и уносила ее в другой мир, в мир свободный, полный чудес и божественной поэзии, в мир, которому нет имени, перед которым немеет человеческая мысль, и бездонность, бесконечность которого ужасала мой слабый ум; но сердце мое чувствовало и понимало всю непонятность и отвлеченность, всю безвременность и беспредельность этого дивного, полного свободы и блаженства мира. Несколько минут молитвы показались мне целыми веками.

«Да, я хочу верить, повторяла я, хочу надеяться, хочу любить, хочу жить и на прекрасной земле, и вне пространства и времени, бесконечное число лет, и если умрет мое немощное тело, так дух мой, разум мой, созданный по подобию Бога живого и вечного, должен жить вечно».

— Посмотрите, Мери, все уже вышли из церкви, и сторож гасит свечи, — раздался над моим ухом знакомый голос.

В молитве я не искала подкрепления своим нравственным силам. Я любила молитву для молитвы; отдаваясь ей, я забывала в то время все на свете, все житейское, и испытывала блаженные минуты непонятной любви и неземного счастья. И потому звуки знакомого голоса заставили меня вздрогнуть и возвратиться к такой же, как и прежде, горькой действительности. При взгляде на Жака мысль об его отъезде снова тоской охватила мою душу.

— Послушайте, Мери, — продолжал он, — как дождь стучит в окна; а вот и гром.

Действительно, раздался страшный удар грома. Прежде я безотчетно приблизилась бы к моему другу,

теперь я удалилась от него так же безотчетно, но он не заметил этого и подал мне руку.

— Монастырские ворота сейчас затворят, Мери, нам необходимо выйти, если, разумеется, вам не придет фантазия провести здесь ночь.

— А где же брат? — спросила я, подходя к двери, и только тогда заметила, что его нет с нами.

— Он ушел за бурнусом вам. Посмотрите, как дождь льет, Мери! — сказал он, когда мы вышли на чистый воздух. — Ваше воздушное платье плохая защита от дождя. Как вы пойдете? Нечего делать, зайдемте в часовню, подождем там вашего брата.

Я ничего не отвечала, мне было не до слов Жака, не до дождя, не до грома, не до молнии. Черные мысли об его отъезде захватывали мою душу и тяжелым камнем тяготели на моем сердце. Я не заметила, как мы дошли до часовни. Уже было сыро, мрачно; каменный пол местами провалился, но, по словам Жака, часовня все же представляла достаточную защиту от дождя. Опомнившись через несколько минут, я почувствовала, что нахожусь с Жаком одна, далеко от всех. Сколько раз прежде мы, бывало, гуляли с ним одни в роще, и по реке, и здесь несколько раз сживали, любуясь грозой и блеском молнии. Мысль, что мы с ним одни, никогда не приходила мне в голову. В первый раз промелькнула она у меня в уме, и отчего от нее холод пробежал по моим жилам? Отчего я задрожала? Разве мой добрый друг может быть страшен для меня? Могу ли я бояться его? Да, я боюсь его, он страшен мне. И, прижавшись в угол, я начала успокаивать себя всевозможными доводами и резонами, но мои резоны и доводы в первый раз в жизни оказались для меня недействительными. Лицо мое и голова продолжали гореть, сердце биться и замирать с невыразимой болью и с каким-то смутным наслаждением.

В темноте едва можно было различить фигуру Жака, стоявшего у дверей; только глаза его, устремленные на меня, проникали как будто в мою душу и жгли меня волшебным огнем. Ветер свистел и рыдал, как безумный, носясь между соснами; шум проливного дождя и грохот грома раздавались гулом по всей горе. Фосфорический блеск молний, отражаясь на бледном лице Рощинского, делал его еще бледнее, и глаза его, горевшие в темноте, как две звезды, еще глубже и больше проникали в мое сердце. Нет, страдательно выносить его ужасное присутствие было выше сил моих. Я машинально вышла и направилась к дверям.

— Вы с ума сходите, Мери. Куда вы? — воскликнул Жак с испугом.

— Отойдите от меня, — закричала я, едва владея собой, — я боюсь вас!

— Идите! — был мне гордый ответ. — Идите, куда хотите!

И Жак, отстранившись, дал мне дорогу.

Странное чувство гроза всегда вызывает у меня: мне кажется, моя энергия крепнет под ударами грома, и только тогда я понимаю всю силу человеческого духа, который, как будто охватывая своей мощью бунтующие силы физической природы, покоряет их себе и парит над ними. Вышедши на чистый воздух, я подняла свою горячую голову и смотрела в небо, на тучи, на молнии; крупный дождь обливал мое лицо, но я, не замечая этого, чувствовала себя вольной, сильной, и сердце мое трепетало дикой радостью, когда молнии, извиваясь зигзагами, бороздили тучи по всем направлениям и в то же мгновение вслед за ними раздавались удары грома, с треском и грохотом раскатываясь по всей горе. Наконец мне сделалось холодно от дождя; я постепенно успокоилась до того, что снова могла выносить присутствие Жака. Он все еще стоял на по-

роге и по-прежнему следил за мной своими блестящими глазами.

— Мери, — начал он тихо и холодно, не сделав шагу ко мне навстречу. — Знаете, какие мысли занимали меня в то время, как вы стояли под дождем? Вы не отвечаете, значит, не знаете. Я думал: Мери может простудиться, захворать, с ней сделается горячка, хороших докторов здесь нет, горячка обратится в тиф, и Мери умрет. Перед своим отъездом я пойду за гробом ее, мы похороним ее здесь на склоне горы, около монастыря и реки, под соснами.

Жак остановился, потом начал он снова:

— Я спрашивал самого себя: кто из нас будет счастливее: Мери ли, которая успокоится навеки, или я, оставшийся в живых?

— И, размышляя таким образом, вы, Жак, продолжали стоять, не шелохнувшись с места, — проговорила я, приближаясь к нему.

— Да, Мери, я продолжал спокойно любоваться, как ваш белый наряд светился под блеском молний, — отвечал он холодно, но в голосе его слышалось внимательному уху едва заметное волнение.

Этого было достаточно для меня. Я поняла, что ничем не могла так оскорбить своего друга, как своим бессмысленным страхом, своей глупой, безотчетной недоверчивостью. Я залилась слезами и бросилась к нему на шею.

— Простите меня, Жак, — говорила я, целуя его в лоб и в щеки и заливаясь слезами, — простите меня в силу моей любви к вам: я люблю вас больше всего на свете, больше своей жизни, своего счастья. Вы моя первая и последняя любовь; если вы женитесь на мне, Жак, вы будете счастливы со мной: я не даю вам никаких обещаний больше, вы знаете меня; но если эта женитьба пойдет в разлад с планами вашей жизни,

так пусть это будет наше последнее свидание; я счастлива, что в последний раз могу сказать вам: я люблю вас, мой милый, добрый Жак, я никогда не забуду этого светлого года моей жизни и в своих молитвах буду до смерти благословлять вас и молиться Спасителю о счастье моего милого, незабвенного друга.

Жак слушал меня и принимал мои ласки, казалось мне, холодно; но когда я кончила говорить, он страстно прижал меня к груди и задышающимся от волнения голосом проговорил почти шепотом:

— Расстаться с моим гением-хранителем, с светлой звездой моей жизни, разве это возможно?

Мне казалось, что я в первый раз слышу Жака и в первый раз вижу его: он на себя не походил. Прижимая меня к своей груди, он был бледен, глаза его горели, в членах его пробегал осязательный трепет. Любя своего друга в эту минуту больше всего в мире, я не могла и бояться его; забывши все, отца, мать, брата, свой дом, весь свет, я помнила только, что нахожусь в горячих объятиях своего возлюбленного, чувствовала только его жаркое дыхание и проживала с ним лучшие минуты своей жизни. Я глубоко сознавала, что без него вся жизнь моя будет мрачнее окружавшей нас темноты, а с ним темнота ночи, буря, ветер и дождь и все невзгодье непогоды яснее божьего дня и теплее красного солнышка. Жак, обнимая меня, что-то говорил, голос его дышал то безумной страстью, то сумасшедшим наслаждением, но, потерявши сознание обо всем, меня окружавшем, я не могла понять и его слов. Не чувствуя уже ни дождя, ни ветра, ни грома над собой, я замечала только сверкавшие во мгле глаза моего бесценного Жака, видела только его прекрасное лицо, освещаемое по временам синим блеском молний, и слышала только громкое биение его сердца.

— О, мой милый! милый, несравненный Жак! я

люблю тебя всеми силами своей души. Жизнь моя только с тобой и при тебе будет полна и ясна.

Он близко, очень близко наклонился ко мне, слушая мои слова.

— Итак, — прошептал он звучно, приподнимая мою голову с своей груди и прижав свои уста к моим, — пусть этот поцелуй будет залогом твоего и моего счастья.

— Рощинский, Маша! где же вы? — раздался голос брата. — Я принес бурнус тебе, а дождь почти уже прошел.

— Здесь, — отвечала я, быстро, но неохотно освобождаясь из объятий Жака.

— Слава Богу, — говорил Александр, окутывая меня бурнусом, — я давно был бы здесь, да меня задержал человек, приехавший от Засельского за мной и за тобой, Рощинский; ну, а вы как здесь? Я думаю, Маша рассердилась за мое отсутствие.

Жак овладел моей рукой и отвечал полушутя, полусерьезно брату:

— Ты так скоро сходил, я удивляюсь твоим ногам. Я улыбнулась, Александр расхохотался.

— А тучи проходят, — говорил он, смотря в небо. — Значит, наша прогулка по воде не расстрется. Дома нас ожидает чай, а тебе, Рощинский, мой человек принес уже, я думаю, сухое платье.

Спускаться с горы было чрезвычайно неловко; ноги скользили по мокрой траве; мы все спотыкались на каждом шагу, но, поддерживая друг друга за руки, не замечали этого. Напротив, мы с Жаком еще смеялись и говорили, что в миллион раз удобнее спускаться с горы, чем подниматься на гору. Брат с этим не соглашался, но мы утверждали, что невыразимо как приятно, когда ноги катятся по мокрой траве. Таким образом, кое-как, без больших приключений, мы спустились

с горы до садовой калитки. Здесь мы находились уже в своих владениях. В саду было гораздо свежее, с листьев сыпался на нас дождь, во многих местах образовались ручьи и настоящие маленькие озера. Сквозь зелень и темноту ночи светился вдали из моего окна приветливый огонек. Пробираясь в гуще деревьев, мы осторожно шли на него и, выбирая по возможности сухие места, тщательно обходили воду. Брат с Жаком, идя по сторонам около меня, очень походили на заблудившихся в дремучем лесу странствующих царевичей русских сказок, я же, возлюбленная одного из них и сестра другого, годилась в царевны, освобожденная из когтей лешего или какого-нибудь другого злобного сказочного чудовища, а вдали светилось путеводной звездой гостеприимное жилище благодетельной феи, где ожидал нас великолепный прием.

Вскоре мы достигли этого гостеприимного жилища. В зале горели свечи, у меня в комнате на столике стоял шипящий самовар с чайным прибором, ромом, лимоном и разными печеньями, изделиями моей нянюшки, как-то: сдобными булочками, кренделями, ватрушками. Благодетельная фея как будто поджидала нас. Я заглянула за ширмы, там распоряжения брата приготовлено было для меня чистое белье и белый капотик. В минуту переодевшись, я села к чайному столу поджидать своих дорогих гостей. Сердце у меня весело билось, на душе было спокойно и светло. Весь божий мир, казалось, пел и выражал одну любовь, бесконечную любовь. Я не заглядывала в будущее, не оглядывалась на прошедшее, мое настоящее было так хорошо, что заставляло забывать все на свете. Сидя в моей хорошенькой комнатке, я смеялась над всем и всему: и цветам моим, и пыхтевшему самовару, и пленительному запаху сдобного печенья, даже комару, который бог весть какими судьбами залетел в мою ком-

нату и, с пищанием носясь над моей рукой, вливался в нее. «Он также хочет жить», — думала я. Но чу! в зале раздаются шаги, сердце мне говорит, что это шаги моего драгоценного Жака.

— Можно войти? — слышится мне его нежный и веселый голос.

— О, очень возможно.

И с своим прямодушным видом, с невыразимой любовью в глазах, он, мой милый, улыбается мне и напевает:

Молися востоку,
Будь верен пророку,
Любви будь верней.

Александр также показался мне необыкновенно веселым; оба с сигарой в зубах, оба одинаково одетые, они имели для меня особенную привлекательность.

— Туча прошла, — приветствовал меня брат, — и такая звездная ночь спустилась на землю!

Жак бросился отворять окно, Александр с шумом подвигал кресла к столу. Я стала разливать чай. Право, все были счастливы и довольны, но я всех счастливее, всех довольнее.

— Что за дивная ночь, — говорил брат смеясь, — а взгляни на Жака: он молчит, улыбается, он утопает в блаженстве; не можешь ли ты сказать мне, что с ним делается?

— Ты знаешь? — спросила я, краснея.

— Да, что вам было очень холодно там, на горе? — Александр лукаво поднял брови.

Я снова покраснела и взглянула на Жака.

— Что касается до меня, — возразил мой Жак, смотря на меня без всякого зазрения совести, — то мне гораздо было жарче там, чем здесь.

Я не знала, куда деваться от смущения. Брат гром-

ко рассмеялся и, наклонившись ко мне, обнял меня, потом своего друга и поздравил нас обоих.

Жак также выразил желание поздравить меня, я улыбнулась и спросила его: не будет ли это дико? Но Жак, обнявши меня, фактически подтвердил, что теперь между нами не может быть ничего дикого.

День, незабвенный день моей жизни быстро подвигался к бездне вечности; минуты, полные блаженства, летели одни за другими. Звучный бой городских часов пробил уже давно десять ударов. Кедры не шумели, но пели под моим окном одну дивную песню про счастье и любовь, волны звучно вторили им, месяц с высоты заглядывал, таинственный, в мое окно, как будто подстерегая наше счастье и приветствуя нас, и звезды, мерцавшие в глубине, с такой же любовью лили свои лучи на землю, как глаза моего милого на меня. Жак и брат предложили мне окончить этот день прогулкой по реке. «Провести еще несколько времени с Жаком? О, согласна, согласна». Я не успела еще освоиться со своим положением и потому, из полной чаши упиваясь своим счастьем, отдалась ему без сопротивления.

И вот мы, неутомимые путешественники, вновь очутились в саду. Хотя земля так же была мокра, как во время нашего первого перехода, но свежий воздух, синее небо, белые облачка, как махровые розы, разбросанные по небу, игриво летавшие вслед за тучей, лунный свет, блестящие капли дождя, дрожавшие на листьях зелени, все это заставляло забывать маленькое неудобство нашего перехода. С наслаждением вдыхала я в себя этот живительный воздух, подходила к листовницам, кедром, липам, срывала липовый цвет и упивалась его ароматом. Мне хотелось сообщить мой восторг Рошинскому и брату, но они, казалось, не меньше моего наслаждались очарованием божественной ночи. Жак, по моей просьбе, набирал для меня букеты, на-

клонялся к цветникам и, долго прислушиваясь к дыханию и шепоту цветов, сообщал мне чувства, вызванные у него счастьем и любовью. Мой серьезный брат, показывая вид, что исключительно занят удобствами нашего перехода, не упускал случая схватить и потянуть к себе раскидистую ветвь какого-нибудь дерева; и когда серебряный дождь осыпал нас, он начинал извиняться в своей нечаянности и снова, при первом удобном случае, совершал какую-нибудь шалость, или, попросив понюхать мой букет, овладевал им окончательно, убедительно доказывая, что из этих цветов он вынюхал весь аромат, и заставлял моего Жака идти набирать для меня новые, или, нарвавши дорогой зелени от берез и хвойных растений, предлагал мне этот букет, серьезно уверяя, что теперь всякая зелень имеет свой непостижимый аромат, который в миллион раз лучше всевозможных цветов. Мы соглашались с этим и прибавляли, что ни один раз в своей жизни нам не случилось быть так близко к природе, понимать ее и чувствовать, что каждая былинка выглядывает как-то особенно.

И так мы, счастливые, дошли до реки. Александр соскочил в лодку, за ним я и Жак. Я села, как бывало прежде, к рулю, брат отвязал лодку, взял весло, и с двух его размахов наша лодочка понеслась по светлой равнине волн. Чудная картина окружала нас. С одной стороны отдаленный, глухой, едва доносившийся до нашего слуха гул засыпавшего города, темная роща нашего сада, высокая гора, монастырь на горе, окруженный своими темно-зелеными стражами, соснами и елями, со своими остроконечными, как будто вырезанными на синеве неба, темными колокольнями, которые огромными тенями печально отражались в воде; только пение птиц, да монотонный тон башенных часов, да шум и дребезг волн, неумоимо скакав-

ших около горы и разбивавшихся об ее белые камни, нарушали безмолвие нашего берега. С другой стороны разложенный на берегу рыбацкий огонь бросал фантастические тени на дремучий лес, облитый серебряным сиянием месяца, и неслась оттуда, рассыпаясь по волнам, раздольная и унылая песня, как будто ответ далеких друзей. Я наклонилась к воде; месяц, глядясь в ее зеркальную поверхность, дрожал и замирал от наслаждения, увидев в глубине свой томный лик. Все было спокойно, свято и торжественно. При каждом взмахе весел брызги чистейшего хрусталя летели во все стороны и каскадами падали в бездонное синее небо, над которым скользила наша лодочка. Я смотрела в глубину дрожавшей под нами синевы неба, смотрела в высоту лазури, величественно раскидывавшейся над нами, и мне представлялось, что мы втроем находимся в надзвездных, беспредельных странах, летим в воздушных необъятных пространствах. Брат сидел против меня; лицо его, постоянно задумчивое, приняло, под мягкими лучами месяца, оттенок бесконечной нежности и ласки. Жак Роцинский, облокотившись к себе на колени, смотрел на меня: лунное сияние озаряло его лицо, отражало на нем все блаженство божественной ночи и, вместе с тем, непостижимую человеческую грусть, которая как-то неведомо для нас самих примешивается к самым счастливым минутам нашей жизни.

— Вы напоминаете мне, Мери, сидя у руля, в белом наряде, с вашими кудрями, — говорил он, — одно из грациозных и игривых созданий причудливой фантазии Генриха Гейне.

Я наклонилась к воде и продолжала безмолвно смотреть в глубину дрожавшего под нами неба. Брат взглянул на меня, взмахнул веслами и тихонько запел:

Прости, мой друг,
Лети мой челн...

Но чем дальше, тем голос его становился громче и громче; потом он перешел в какую-то арию без слов, и тогда из груди его посыпались дивные металлические звуки; горное эхо звучно вторило им и оглашало реку на далекое пространство. Наконец, серебряной руладой закончив свою арию, он, почти не останавливаясь и не нарушая гармонии, перешел в русский мотив и заключил свое пение словами русской песни, отнесившимися ко мне:

Что призадумалась, девица красная,
Очи блеснули слезой?

— Превосходно! — мог только проговорить Жак. Что касается до меня, я плакала. Жак неожиданно схватил меня за руку и вскрикнул, чтоб я не наклонялась так близко к воде. Действительно, заслушавшись брата, я засмотрелась в глубину реки на моего милого и на себя и совершенно забыла, что мы на воде.

— Смотрите, Мери, на эти леса, взгляните, какие страшно высокие сосны.

Я улыбнулась ему.

— А сколько преданий в нашей стороне об этих соснах, — сказал брат, обращаясь к Жаку, — и все они свидетельствуют об юности народа, об его близости к природе.

— Какие же это предания? — спросил Жак.

— Да вот нынче я слышал одно; слушай, Мери, ты охотница до этих рассказов.

— Я слушаю, говори, говори.

— Я рассказываю вам со слов народа, — начал брат, принимая на себя роль бесстрастного повествователя.

«В одну бурную, осеннюю ночь, когда дождь и ветер спорят между собой за владычество над темными лесами, несчастный крестьянин заблудился в дремучем лесу, куда даже и ветер со страхом заглядывал, потому что, несмотря на непогоду, кружившуюся в полях, все высокие сосны и ели этого леса стояли, не шелхнувшись веткой, в своем мрачном спокойствии. Крестьянин, дрожа от холода и страха, решился просить приюта у темной сосны. «Матушка сосна! — обратился он к ней, — сокрой и защити меня от осенней ноченьки». Ласково зашелестела сосна, и наш мужичок, приютившись здесь, спокойно заснул под защитой у нее. В полночь вдруг он был пробужен необыкновенным шумом: шорох и глухие звуки ходили по лесу, как будто сосны говорили друг с другом; звуки приближаются к нему; он поднимает голову, прислушивается и ясно различает их. Сосны вступили в разговор с сосной, приютившей его. «Сестра, — говорили они, — умирает мать наша, пойдем проститься с ней». Вздохнула сосна и отвечала, что нельзя ей в эту ночь оставить путника, которому дала обещание сохранить и защитить его от осенней непогоды. Да исполнится святое обещание сестры! И снова глухие звуки пронеслись по лесу, сосны сдвинулись со своих мест и пошли проститься с матерью. И вновь слышит крестьянин: сосна высокая, старая, как лес, с треском подламывается на своем корне и летит с гулом на землю, страшным шумом наполняя весь лес. Рыдания и вопли раздались со всех сторон. Проснувшись на другой день, добрый мужичок в самом деле увидел умершую сосну, поклонился ей и пошел отыскивать дорогу. Да, сильные ветры бывают в этом краю», — заключил Александр.

— Что за поэтический рассказ, — проговорил Жак. — Не правда ли, Мери? Взгляни, Александр, она уже побледнела, и глаза ее блестят; это твой рассказ про-

извел на нее такое впечатление. Моя Мери так привязана к своему суровому краю, что я начинаю опасаться, как она расстанется с ним, а через две недели по возвращении твоего отца будет наша свадьба.

— Но, Жак, — рискнула я заметить, — моя мать так скоро не согласится.

Мой милый улыбнулся.

— Она также знает о моем намерении, вчера я сказал ей это и твоему отцу, они уже ко всему приготовились.

— Значит, и ты, Александр? — спросила я с удивлением.

Брат засмеялся.

— О намерении Жака жениться на тебе? Я знал еще в Москве.

— И вы мне ничего не сказали, — проговорила я, с укором смотря на него, — это нехорошо, это не дружески.

— Я ждал, Мери, что вы сами заговорите. Вы любили меня слишком по-братски; еще сегодня сумели вспенить мое нетерпение своим поцелуем.

— Скажи мне, — спросил брат, — женился ли бы ты на моей сестре, если б она согласилась выйти замуж, любя тебя по-братски?

— Я знал, что Мери не способна к этому, — возразил Жак.

— Зачем же вы меня спрашивали сегодня вечером насчет этого?

— Чтобы подтвердить свои предположения, моя Мери; ни за какие блага в мире я не женился бы на тебе тогда: я хочу быть любим пламенно и нежно, как любит меня мой друг.

Брат улыбнулся своей тонкой улыбкой и заметил, что мы далеко от дому. Действительно, гора, монастырь и город давно уже скрылись из наших глаз; с той и

с другой стороны тянулись только одни бесконечные леса, да чародей месяц, услужливо сопровождая нашу лодочку, не оставлял еще нас.

— Теперь, я думаю, надо сказать Маше, зачем мы были приглашены к Засельскому, особенно я.

— К чему? Впрочем, как хочешь.

— До Засельского, — начал брат, обращаясь ко мне, — бог знает какими судьбами донеслись слухи о намерении Жака жениться на тебе; впрочем, известно, что у нас стóит только о свадьбе подумать, как уже все знают. Итак, Засельский, опираясь на право своего родства с Роцинским, призывает меня к себе и начинает объяснять мне, как будто я не знал без него, непреоборимую преграду, которую женитьба Жака на тебе положит между ним и его родными. «И неужели из этого неравного брака, говорит мне он, Роцинский решится отказаться от службы своему отечеству, решится погрузиться в бесцветную, бесцельную жизнь, тогда как по своему рождению он через несколько лет может занять один из важных постов в государстве? Передайте вашей сестре, которую я считаю за умную и благородную девицу, что она увлечет Роцинского за собой в бездну; родные его никогда не примут ее за свою, она с ними не может иметь ничего общего, Роцинские живут чуть ли не тысячелетие. Если она, польстившись на блестящую партию...»

— Вы побледнели, Мери, — прервал Жак брата, — не кажется вам странным, что человек, предков которого колотили палками, может рассуждать в девятнадцатом столетии, как феодальный барон?

— Нет, Жак, но вот вам Бог свидетель, смотрящий на нас с высоты звездного мира, — сказала я, поднимая руки к небу, — если бы вы вздумали вернуться к ним, жить в их обществе, я решила бы скорее схоронить здесь, в темной глуши, и свою любовь и свое

счастье, чем жить с вами, окруженная вашими сиятельными дядюшками и тетушками.

Жак нахмурился и сказал, чтоб я не повторяла перед ним в другой раз подобной бессмыслицы.

— Да, мой милый Жак, это бессмыслица, вы иной породы.

Морщины между его бровями понемногу сгладились от моих слов, и он улыбаясь взял меня за руку.

— Мы уедем отсюда с тобой, Мери, но уедем на юг России, и там, где-нибудь около Черного моря, выберем себе место жительства.

— Около тех мест, где побольше жизни и движения, мой милый, — отвечала ему я, — но чем кончился ваш визит?

— Ничем, — сказал брат, — я не мог исполнить его поручения и передать его слова, Жак также не считал нужным объявлять о своем намерении, потому что еще сам не был уверен в твоей любви к нему.

— Что же вы сказали Засельскому, мой Жак?

— Попросил его не мешаться не в свое дело.

Я засмеялась.

— Итак, Мери, мы оставим с тобой эту глушь, но оставим не одни; твоему отцу и матери незачем будет жить здесь, мы все, что любим, заберем отсюда с тобой, моя Мери.

— Кроме этой рощи, Жак, и этих угрюмых лесов; оставайтесь, мрачные, я скоро навсегда распрощусь с вами!

Мы приплывали вновь к темным кедрам нашего сада, пение птиц и песни рыбаков умолкли, легкая зыбь пробегала по реке. А небо было так же бездонно и глубоко, свежесть ночи так же упоительна, месяц по-прежнему во всем блеске скользил в небесах и, замирая, гляделся в светлую поверхность реки. Говор волн

отсчитывал уже последние минуты моего дня, который стоял, наклонившись, на краю вечности.

Мы вышли на берег. Жак обнял меня, взглянул на небо, на реку, на дремучий лес, на дальние синевшие горы и проговорил:

— Мери, мы счастливы, теперь мы должны и будем жить для пользы окружающих нас, стараться о поддержании нашего счастья.

Минуты пролетели за минутами, часы за часами канули в вечность, и мой день, светлый день, день незабвенный моей жизни, с которого начинается мое ясное счастье, вслед за часами, минутами и секундами, с последним ударом башенных часов скользнул в бездну вечности.

МОЯ СУДЬБА

I

На башенных часах пробило пять. Вслед за этим старуха кукушка, целые полвека прятая за пожелтевшим циферблатом моих стенных часов, с хрипением выскочила наверх и прежалобно прокуковала пять раз. Розовые лучи утреннего солнца, заглянувшего в угловую комнатку, рассыпались золотистыми кружками по белому покатоному полу и осеребрили на стульях и столиках пыль, которую я стирала по крайней мере раз шесть в день, но при первом солнечном луче назойливая гостья вновь появлялась на моей мебели. Шесть стульев заводского изделия с высокими резными спинками, шкаф незатейливой старинной работы, на верхних полках которого блеснул чайный прибор, а на нижних помещались книги; горшки с жасминами на окнах; наконец белые, вырезанные на каймах городками, шторы составляли все убранство моей гостиной, которая также отправляла обязанности и залы, и столовой, и чайной. Эта комната и еще другая, где я спала и одевалась, как нельзя более соответствовали неприхотливым вкусам и удовлетворяли вполне потребностям школьной учительницы на заводе Белоградской.

Наступила вторая половина мая. Горы в это утро были подернуты туманом; но, когда я подошла к окну, из-под белой пелены выступали уже маленькие лачужки, лепившиеся при подошве гор. Фиолетовый дым вился из труб, а свежий утренний пар, пробираясь от гор через мой огород, тихо подползал к самым окнам моей спальни. День обещал быть ясным, лучи солнца, раздирая туман, обливали поляны золотом и трепетали на верхушках темного ельника. Со всех трех церк-

вей несся тихий благовест заутрени. В угловой комнате на столике у меня кипел самовар. В открытые окна жизнь вливалась со всех сторон: вблизи и вдали слышался крик петухов, бляение овец, лай собак, ржание коней, скрип телег и гиканье мальчишек, гнавших скот на пастбища. У меня на дворе также все оживало: кот мягкими шагами, шурясь против солнца, переходил двор; на открытом колодце сидели какие-то серенькие маленькие птички; горластый петух, хлопнув крыльями, прокукарекал во все горло; куры, кудахтая, подбежали к моему окну подбирать брошенные мной крошки черного хлеба; сторож, отворив ворота, подметал двор, а Лиза, подоив корову, погнала ее со двора в большой огород, прилегавший к школе. Этот огород мы с Лизой, не чувствуя призвания к земледельческим занятиям, запустили и вместо овощей для себя добывали продовольствие для своей чернухи.

Лиза была моей домоправительницей. Оставшись десяти лет после смерти отца и матери, она росла у своей родни, которой в заводе было у нее так много, что, по словам Лизы, плюнуть негде, все ее родня. В заводе все знали Лизу: со всеми она дружила; и со всеми ссорилась; но ни задушевных приятелей, ни задушевных приятельниц у нее не было. Лизе всего было девятнадцать лет, но многие за нее уже сватались. На замужество у нее был свой взгляд. «Падать, так падать уж в море, — говорила она, — а что за радость за мастерового-то идти: станет он на тебе воду возить да бить каждую неделю». Я вполне сочувствовала ее благоразумию. Мы сошлись с Лизой еще в то время, как я жила у Александра Сергеевича. Она все ходила ко мне продавать ягоды. Я уговорила ее жить со мной. Правда, нрав у Лизы был несколько сварливый; но так как я была поумнее и посильнее характером, то и это маленькое неудобство сглаживалось.

Лиза всегда вставала раньше меня; ей надо было затопить печку, поставить самовар, убраться в кухне, подоить корову и подать самовар. В это утро, так же как всегда, проводив Лизу глазами, я заварила чай и, поставив чайник на самовар, достала из шкафа чашки, сахарницу и сливочник. Перетерев все это чистым полотенцем и полюбовавшись блеском чашек, я вынула наконец из комода сдобные пирожки, присланные мне накануне Машей Белоградской. Эти пирожки готовились из кислого теста и начинялись разным снадобьем: яйцами, грибочками, жареными в масле, говядиной, зеленью. Лиза о присылке пирожков ничего не знала, а сладкоежка была великая, и потому, накладывая их на тарелку, я с невольной улыбкой думала о воловьих глазах, которые она состроит при виде неожиданного завтрака. Сливки она в этот раз не успела налить в сливочник перед уходом, и мне самой пришлось сходить в маленький погреб, пристроенный около кухни к хлевушку, в котором жила наша корова. В яме, набитой снегом, мы держали мясо, которое покупалось в базарные дни от понедельника до понедельника; там же держали творог, сметану, масло, которое у нас всегда было свое. Лиза умела ходить за коровой, и сливками нашими все, бывало, у нас не могли нахвалиться. Маша Белоградская весьма нередко посылала ко мне девушку с просьбой одолжить ей к чаю моих сливок. Даже Александр Сергеевич, не любивший смешивать чай с чем-нибудь, никогда не отказывался, засидевшись у меня до позднего вечера, выпить вместо ужина стакан сливок с мягким хлебом. Возвращаясь в комнаты, я была в полной уверенности застать там Лизу. Но ее, к моему удивлению, не было. Быстро заглянув в окно моей спальни, я увидела в огороде только чернуху, разгуливающую одну-одинохоньку в высокой траве; выглянув на улицу, я увиде-

ла мужественную фигуру в синем сюртуке, спускавшуюся под гору, в этот час Александр Сергеевич имел обыкновение ходить на фабрики: кроме него, виднелось тут много народу, но Лизы между ними опять не оказалось. В последний раз взглянула я на двор, — и вот, наконец, желанное явление представилось моим глазам: Лиза бежала домой сломя голову. Из-под алого платка, сдвинутого несколько набок, ее молоденькое личико пылало ярким румянцем, а темно-русые волосы, из которых каждый заявлял притязание на самобытность, окружали его лучистым ореолом; рот, сверх обыкновения, был открыт, и брови подняты. Эти признаки показались мне уже выходящими из обыкновенного порядка вещей.

— Что с тобой? — спросила я, когда она вбежала в комнату.

— Ох, Наталья Алексеевна! — вырвался у нее из груди такой тяжелый вздох, как будто она сбросила с себя тяжкий груз, — ох! Наталья Алексеевна, — повторила она опять и, протянув руки на коленях, уставила глаза уже на пол.

«Неужели встреча с Александром Сергеевичем напугала ее так?» — подумала я, невольно хмурясь.

— Ты встретила с Александром Сергеевичем? — спросила я нерешительно.

— Повстречалась!

С этим ответом, неизвестно вследствие какого побуждения, она быстро собрала всю свою юбку сзади и, прижав ее обеими руками к сердцу, наклонилась грудью к себе на колени.

— И испугалась больше чем когда-нибудь? — спросила я опять после минутного молчания.

— Ох, и напугалась же я до смерти! — заговорила она, не отнимая рук от груди. — Вот только теперича, значит, отошла маленько. Да понеси меня нечистая

сила за ворота; дай-ка, думаю этак про себя, загляну на улицу, ан глядь, ваш-то барин...

— Александр Сергеевич! — поправила я, слегка покраснев.

— Ну, Александр Сергеич, — согласилась она бесспорно, — и вывернись он из-за угла. Я как бы от него, а он этак прямо на меня. «Ты, говорит, — начала Лиза уже басом, — скажи своей хозяйке, мне, говорит, надо непременно уехать в город, может, она спит, а то я зашел бы сам повидаться с ней; пусть, значит, не беспокоится насчет меня. Понимаешь?». «Понимаю», — говорю: вот ведь какие страсти божьи.

— Что же дальше? — спросила я.

— Дальше? — повторила она глубокомысленно. — Ну вот он посмотрел на меня этак, посмотрел да и ушел. Моей-то моченьки уж и не стало, как я дошла доселя, не помню!

С последним заключением она взглянула мне в глаза, как будто отыскивая в них сочувствие своим словам, но мне было грустно: догадалась ли она о моих мыслях, или нет, только, быстро окинув меня еще раз взглядом, она подобрала особенным образом свои толстые губы и вскочила.

— Мне надо стряпать, — пробормотала она скороговоркой, соорудив озабоченную гримасу и разрознив свои глаза так, что один смотрел на стену, другой на окно, — печка-то у меня, поди, совсем истопилась.

— Но чай готов, и ты выслушай меня.

— Не надо мне и чаю вашего, — отозвалась она с сердцем и, не оглянувшись, выбежала из комнаты.

Дрянная девчонка! И за что она боится Александра Сергеевича, что он сделал ей? Сколько раз я убеждала ее, что он такой же человек, как мы все, сотворен из плоти и костей, что он и помнит ее особу только тогда, как встречается с ней: так нет! у Лизы свой

взгляд на людей. Теперь, заметив, что я хочу ей петь старую песню, она совсем убежала от меня, не сказав даже, на сколько времени Александр Сергеевич уехал в город. Разумеется, об этом следовало бы расспросить Лизу: Александр Сергеевич всегда определяет время своего отсутствия, но заговорить с ней мне не хотелось. Я знала уже по опыту, что значит ухаживанье за Лизой. Простых смертных ласки смиряют, а у Лизы только дают ее сварливости разрастаться. Я почти не сомневаюсь, что, убравшись в кухню, она ждет меня непременно, сидит перед печкой, поджав руки и устремив глаза на огонь, а сладкие мечты рисуют ей: вот маменька спустится вниз, подойдет ко мне, поклонится и скажет: «Ну, Лиза, не сердись, я не стану тебе ничего говорить, пойдем пить чай, а то одной мне скучно». А я повернусь этак боком да и скажу: «Отойдите от меня, Наталья Алексеевна, уж вы вечно такая, просто бесчувственная!» Нет, Лизавета Ивановна, покорнейше вас благодарю за доброе мнение обо мне, но идти к вам сегодня я не пойду.

Разумеется, мне было скучно распивать чай одной, но, как бы то ни было, кончив его и оставив самовар с чашками и чайником на столе, не убрав также ни сливок, ни пирожков, я села к окну рисовать свой портрет, который накануне обещалась подарить Маше Белоградской.

С половины мая у меня начались каникулы, и целые дни я была свободна, как птичка. Не рассчитывая остаться здесь до осени, я последнее время своего вольного девичьего существования хотела прожить в свое удовольствие. Наслаждения, которыми я пользовалась, были очень разнообразны: прогулки по горам с Машей Белоградской; чтение книг, которые я брала из библиотеки Александра Сергеевича; наслаждение лежать на траве, смотреть в глубину синего неба, сле-

дить за полетом птичек, ни о чем не думая; наконец, я любила рисовать: все виды окрестностей завода были сняты мной и лежали у меня в портфеле. Лиза не любила видеть меня за карандашом, потому что тогда я не существовала для мира вещественного, а стало быть, и для нее. Теперь также, взявшись за карандаш, я вся ушла в свою работу и с наслаждением следила, как с кончика карандаша скользнули на белую бумагу большие глаза. Я не могла придать им зеленоватый отлив, и потому мое худощавое лицо с более острым, чем круглым, подбородком приняло у меня задумчивое выражение, хотя в лице моем замечалось больше энергии, чем мечтательности. Я не была красавицей, даже хорошенькой меня нельзя было назвать. Вероятно, наружность моя немало содействовала тому, что я могла жить подле Александра Сергеевича четыре года, прежде чем он почувствовал во мне женщину. Но в лице моем многие замечали присутствие ума и воли. Я нередко думала, что если бы судьба сделала меня светскою женщиной и поставила бы в необходимость украшать своей особой салоны, то, наверное, я оказалась бы самым несчастным существом. Я была худа, печальна, бледна; если бы я рисовала свой портрет акварелью, то ни за какие блага не послала бы его Маше. Но черный карандаш годился как нельзя более для моего лица: резко очерченный рот, очень маленький и с приподнятыми углами губ, низкие широкие брови, небольшой прямой нос и большой выдавшийся лоб, — все это вышло довольно хорошо в карандаше. Белая рубашка с запонкой и кофточка дополнили мое изображение так удачно, что я даже с некоторым самодовольством взглянула на себя.

В продолжение целого летнего дня я только раз отрывалась от своей работы для обеда, о котором Лиза с невероятной сухостью известила меня. При взгляде

на ее разрозненные глаза я вспомнила о нашей размолвке и молча села за стол. Но Лизавета Ивановна не захотела кушать со мной. Это я приняла в соображение и по выходе из-за стола сама стала убирать свои замаранные тарелки и блюда. Однако ж при первом моем движении Лиза не выдержала и, вся вспыхнув, вырвала у меня из рук тарелку со словами:

— Вы бы лучше, Наталья Алексеевна, и не принимались не за свое дело; ведь просто стыд в люди сказать, сами моете тарелки, а еще барышня.

— Если ты не хочешь ссориться со мной целый месяц, — сказала я твердо, — то оставь тарелку.

Слова на ветер я никогда не бросала. Лиза это знала, и теперь я увидела, как при моих словах губы ее открылись и судорожно задрожали. Я видела, как глаза ее покраснели и на них навернулись слезы. Наконец, я видела, как, толкнув тарелку на стол, она отскочила от меня и остановилась передо мной как вкопанная; я все это видела, но спокойно убрала свой обед, вымыла тарелки, вычистила ножи и ушла из кухни, не взглянув на Лизу, не обратив даже внимания на всхлипывающие звуки, которые раздались за мной.

Мне, конечно, было жаль Лизу, но утешить ее я не захотела. «Пусть плачет, — думала я, усаживаясь за работу, — одумается, станет сдерживать себя, а то в последнее время я совсем избаловала ее».

С этими мыслями я опять принялась за работу. Оканчивать осталось весьма немного, так что к шести часам вечера портрет лежал передо мной совсем уже готовый. Сидя около окна, облокотившись на стол, я рассматривала тушь и размышляла, как доставить этот портрет в большой дом. Самой идти? Но у Маши сегодня гости. Послать Лизу? Но об этом нечего было и думать... Разве послать сторожа? Но где его найти теперь? Впрочем...

— Наталья Алексеевна, а, Наталья Алексеевна, — слышался за мной тихий, обиженный голос. — Вечер вы хотели послать меня в большой дом с чем-то, так пошлете, что ли?

Не зная, что подумать о неожиданном предложении, я будто засмотрелась в окно и сидела не оглядываясь.

— Вот вы какие, — продолжала она, и голос ее утрачивал мало-помалу все резкие ноты, — сами же вы браните меня всяческим образом, да сами же после всего и сердитесь. Бог с вами!

И укоряющий голос завершился тихими всхлипываниями. Нечего делать, Лизавета Ивановна сама вызвалась на вразумления, и я медленно обернулась к ней.

— Теперь слеза, а давеча сколько глупостей наделала — и откуда и почему этот страх к Александру Сергеевичу. Сколько раз я тебе говорила, что он тебя вовсе не знает и нет ему никакой нужды до тебя, а ты все свое! Как же ты после этого хочешь жить со мной? Ведь тогда, волей-неволей, ты будешь встречаться с ним каждый день; приятно ли мне будет видеть тебя каждый день с такими растрепанными чувствами?

— Ну да уж простите меня, Наталья Алексеевна, — отозвалась она, переступая с ноги на ногу и расставив глаза в разные стороны. — Ведь это все вон тут мелют, будто ваш барин, значит, управляющий, — поправилась она скороговоркой, — заколдован так, что и пуля его неймет.

— И тебе не стыдно повторять эти глупости? — спросила я с невольной улыбкой. — А еще считаешь себя образованной!

— Вот вы, Наталья Алексеевна, и насмехаться стали, — возразила она с сокрушением.

— Я пошутила, — поправилась я поспешно, слегка покраснев, — я хотела сказать только, что ты умеешь читать и верить этим глупостям тебе стыдно.

— Да вот и я, пожалуй, то же думаю, — ответила она после минутного соображения, — а все как повстречаешься с ним да как он взглянет на тебя, так мороз и пробежит по тебе. Вот хоть на той неделе, — продолжала она увлекаясь, — повстречался он один-одинешенек на пустыре с тремя мужиками. Все они тащили с собой по полосе железа, значит, под зипунами, а зипун-то был распахнут. Он, видно, догадался, подошел этак прямо к переднему да и положи ему руку на плечо, тот так и присел; два-то другие окаменели, он напустил на них, значит, такой отморок, что они и пошевельнуться не смеют. А тут подоспели люди да и перехватили всех голубчиков. Вот какой страм! — заключила она выразительно, смотря на меня, как будто требуя объяснения своему чудному рассказу.

— Значит, люди были недалеко, если успели подойти, а воры, конечно, испугались, как воры... Что ж в этом необыкновенного?

— Да уж вы так! — пробормотала она про себя, видимо не умея помирить свои понятия о чудесном с моим естественным объяснением.

— Чем же кончилось это дело с мужиками? — спросила я.

— Известно дело чем, предали суду да и только. А уж как они ревели-то, голубчики! В первый раз грех их попутал; мужики были работающие, а хозяйки-то их как плакались на вашего барина, не приведи Господи!

Но зачем я спросила о развязке этого дела... Кажется, чтобы переменить разговор, я сделала для себя хуже: непреклонная строгость Александра Сергеевича опять ярко прошла перед моими глазами и задела меня за сердце; может ли он опять быть снисходителен к кому бы то ни было?

— Говорил он тебе, Лиза, когда возвратится?

— Как же-с, говорил, беспременно, говорит, возвращусь через три дня.

— Прекрасно. Вот тебе портрет, отнеси его в большой дом и вели кому-нибудь там передать его барышне.

Лиза про себя улыбнулась и, осторожно взяв из моих рук сверток, взглянула в окно, из которого виднелся пруд, площадь с церковью и большой дом Белогородских, окруженный дремучим садом.

— Значит, все равно, хошь кому не отдать?

— Все равно.

Она подобрала губы, помолчала и потом неторопливо вышла.

Я следила за ней, как она шла по лужайке, раскидывавшейся перед моими окнами. Вдали покоился светлый, как зеркало, пруд в отлогих берегах. Строился новый мост; стук топоров, говор мастеровых, зыканье при подъеме бревен, скрип телег — все это сливалось в одном бесконечном гуле. Лиза спустилась с крутизны берега и соскочила на паром; всплеск волн мне не был слышен, но я заметила длинные шесты, упавшие в воду, видела, как медленно подвигался паром, и вот уже Лиза на середине быстрой реки... Счастливейший путь! Она обернула ко мне свое полное румяное лицо, кивает мне головой и что-то кричит... Но чу! могучий, торжественный удар старого колокола прозвучал в воздухе, и густые, мерные звуки благовеста ко всеобщей посыпались в вышине, покрывая весь земной шум и гам. Я перекрестилась и отошла от окна.

II

Завтра день рождения Машиной тетки, и всеобщая служилась по этому случаю. Это было мне известно еще накануне, и потому я предпочла остаться дома в

своих маленьких комнатках, где все смотрело на меня так радушно и приветливо. Великолепный дом Белоградских, его пышная меблировка, блеск серебра, бронзы, хрусталя никогда не производили на меня того сладкого впечатления, какое оставляли по себе мои уютные комнатки. Пробуждаясь в своем маленьком домике, я сознавала, что нахожусь у себя, и чувство довольства, смешанное с тихой грустью, разливалось вокруг меня. Из окна моей спальни была видна кладбищенская гора, вся покрытая темным ельником. В весенние ночи сюда залетали соловьи, и песни их, полные мучительного очарования и грустно-сладких грез, обдавали тоской и любовью всю окрестность. Последние лучи заходящего солнца окрашивали пурпуром и белую церковь с золотым крестом, который сиял как звезда в ясной лазури, и белые мраморные памятники стариков-графов, предков Маши. Маленькая тропинка вела из моего огорода прямо к церкви. Здесь около левого придела, под желтыми акациями, была могила моей матери. Прошло ровно два года со дня ее смерти, и, Боже, сколько перемен в этот промежуток времени! Мать моя, умирая, говорила: «Помни, Наташа, Александр Сергеевич всем был для нас». «Буду помнить, матушка», — отвечала я рыдая. «Не оставьте ее», — обращалась она к Александру Сергеевичу. Он тут же, перед ее глазами, обнял меня и поцеловал в лоб. Шесть лет тому назад, въезжая в этот завод шестнадцатилетним ребенком, я боготворила Александра Сергеевича и не смела думать о счастье пройти с ним целую жизнь рука об руку, а теперь? Вот уж скоро год, как я его невеста, и где же радость, где счастье, где блаженство, которое сулило мне это соединенье?

Темный сад Белоградских, спускавшийся к пруду, шумел в стороне. Но теперь нет уже в нем для меня того таинственного волшебства, которым некогда веяли

на меня эти высокие кедры, вечнозеленые сосны и узенькие тропинки, облитые лунным сиянием. Белые тени лежат на траве; чуткая тишина тянет в бесконечную даль, над головой свищет соловей, а ты идешь, крадешься, остановишься, насторожишь слух, прислушиваешься к темной дали: не звякнет ли где колокольчик, не раздастся ли грохот колеса на мосту и не принесет ли тройка быстрых лошадей родного путника из безответной дали. Но все молчит, только серебряные трели соловья не перестают обдавать дремлющий сад и дальний пруд, да не перестает светиться из окна спальни моей матери свет лампадки. Сердце сильнее бьется... трепещущей рукой срываешь ветку акации, и со словами: «приедет? нет?» листки летят на землю. «Нет!» и печальная, повесив голову, идешь домой... Мать сидит за работой, при моем входе она снимает очки и смотрит на меня с любопытством и любовью.

— Где ты была? — спрашивает она.

— В саду ходила.

И, взяв со стола книгу, забираюсь в угол читать ее. Читаю, читаю и изредка посмотрю на мать, не заговорит ли она чего-нибудь о нем.

— А ведь Александр Сергеевич, — начинает она, и сердце мое дрожит, — взялся вести наш процесс с братом. Вот, подумаешь, законы-то — везде обойден слабый; не успел отец сделать духовного завещания, так и сиди дочка на одной четырнадцатой части; не выходи, Наташа, замуж за вдового; не приведи Господь быть мачехой и иметь пасынков!

Я безмолвно соглашаюсь с ней, мне хочется расспросить ее в двадцатый раз о том, как Александр Сергеевич поссорился с отцом из-за своей матери, которая приходилась мне двоюродной теткой, как моя мать взяла оскорбленную и выгнанную жену к себе, как помогала сыну оканчивать образование в университете

и как потом, больше чем через десять лет, все это вознаградилось с избытком. Но мне делается стыдно, и я молчу, положив книгу на колени и устремив глаза на зыбучий блеск месяца.

— А что ты читаешь, Наташа? — спрашивает мать тихо после долгого молчания.

— «Слово о полку Игореве». Это дал мне Александр Сергеевич и велел прочесть к его приезду... Магушка!

— Что, Наташа?

— Вы были очень дружны с его матерью?

— Мы с покойной жили душа в душу, — говорит она, попав на свою любимую тему. — Родные сестры так не живут. Дай Бог ей царства небесного! Она умерла на моих руках. А мне, может, Бог приведет умереть на руках ее сына, — стара я, Наташа, и плоха стала.

И, сняв очки, мать начинает протирать их. Я бросаюсь к ней на шею и утешаю чем могу.

— Смотрю я на тебя и думаю, какой ты ребенок, Наташа! Как ты станешь жить без меня? Нанимала я для тебя и немок, и француженок; а ты все осталась у меня ребенком... Ведь и Александр Сергеевич так же смотрит на тебя: какая ты ему пара?..

И, устремив глаза на клубок с нитками, она задумывается, а меня начинают слезы душить.

Разумеется, я не пара Александру Сергеевичу: кто же об этом станет спорить? Он кончил курс в университете, потом жил пять лет в Англии на каких-то фабриках, объехал всю Россию, служил в Сибири на золотых приисках, в которых он состоял главным пайщиком, наконец он приехал сюда. Здесь его также все уважают; управляющим в имении Белоградской он поступил на условиях, по которым он должен был ссудить разорвавшихся владельцев своими капиталами, а

сам, кроме жалованья, пользовался частью их доходов на несколько лет. Кто не знает Зарятина? Его все знают, и какая же теперь я пара ему?.. Но все-таки слезы льются у меня из глаз, и я сижу, отвернувшись к окну.

— А его что-то сегодня долгонько нет, — начинает мать опять. — Всем бы человек вышел, да суров с народом. Это все портит.

— Суров! о, матушка, он кроток как ягненок, он ходит на цыпочках, когда вы спите. Это злые люди про него говорят... Чу, слышите — колокольчик! — это он!

И сердце мое бьется, уши пылают. Да, колеса грохочут на мосту, колокольчик заливается ярче, и экипаж с громом влетает в ворота. Через минуту на дворе все оживает: топот коней, крики ямщиков, лай собак, наконец, и звонкие шаги Александра Сергеевича.

— Тетушка не спит? — спрашивает он, увидев огонь и останавливаясь у дверей.

— Нет, нет, заходи к нам на перепутье!

— А вот только переоденусь — чрез полчаса, если не уснете.

Сердце у меня рвется из груди, и голова кружится; я счастлива, утопаю в блаженстве. Беру книгу и забираюсь с ней в самый дальний угол комнаты. Отсюда мне лучше смотреть на его открытый лоб, самоуверенную улыбку и спокойно-твердый взгляд синих глаз, отсюда мне лучше слышать его полный, но негромкий голос и ловить бесценные слова, из которых каждое уходит в самое сердце и остается там навеки.

— А вот мы все о тебе судили, Александр Сергеевич, — говорит мать, между тем как он, войдя в комнату, останавливается перед столом у свечи и вынимает из кармана сигары. — Суров ты больно с наро-

дом, они ведь такие же создания божьи; долго ли до греха... Заваришь уж ты когда-нибудь кашу...

Он смотрит на мать, и самоуверенно-снисходительная улыбка показывается на его лице.

— А расхлебать не сумеешь, хотели вы добавить, тетушка... Нет, тетушка, что мы завариваем, то и расхлебываем, отступать не в нашей натуре. А можно выкурить у вас сигарку? Я сяду к самому окну.

И, получив согласие, он садится к окну, отворяет его и, бросив струю гаванского дыма в синюю ночь, снова обращается к матери.

— Мне сдается, тетушка, что вы считаете меня за варвара!.. Что делать, если я кажусь тем, чем создал меня Бог и природа? Что мне делать с этими созданиями божьими! Как я стану применяться к ним? Ползать с ними на четвереньках я не научился, да и вряд ли когда-нибудь научусь этому искусству! Кабы я был иноземец или притеснял, угнетал народ, а то говорю только: «Стой всякий сам за себя, сумей отразить то, что не по тебе». Ведь я, слава Богу, не зверь и выслушаю всякое разумное слово, да не прочь и от спора, от борьбы. Ну, а коли не только бороться и сказать-то ничего не сумеет, да и отвечать-то за себя не может, тогда слушайся приказаний и исполняй, что тебе велют, а если и этого не хочешь делать, это значит, ты уже ни на что не годишься. Я сказал примером, таких негодных людей нет на свете; слушаться заставишь каждого; да всякое дело и требует если не разума, то повиновения. Худо ли, хорошо ли я думаю, только это мое правило.

— Пожалуй, этак ты и ребенка заставишь отвечать самого за себя, — говорит матушка с улыбкой.

— Ребенка? вона куда пошли! Ребенок внушает чувство. Вы бы еще себя поставили на это место. Ведь всякий человек действует на тебя в ту или в другую

сторону, и ребенок тоже по-своему. Ребенка не возьмешь с такой силой, как схватишь под уздцы бешеную лошадь. Для одного одна сила, для другого другая, а взрослый человек, как ты не верти, все взрослый, да и стыдно с ним носиться, как с пеленочным ребенком. Вон Наташа наша тоже взрослый человек — и сидит себе в углу, и целый час не спускает с меня глаз. Верно, не поняла, что я велел ей прочитать, и теперь не знает, как сказать мне это?

— Нет, поняла.

— И задача решена?

Я покраснела и промолчала.

Никому на свете не хотела я верить, чтоб этот человек мог быть непреклонно суров. Он не мог быть неправым в моих глазах. Стоило человеку сказать мне недоброе слово об нем, чтобы сделаться моим врагом. Я видела, что он обращается со мной, как с ребенком, но и это принималось мною за счастье. Задумавшись, он имел привычку смотреть на что-нибудь бесцельно, нередко предметом этого бесцельного созерцания он избирал мою личность, и, притаив дыхание, счастливая и довольная, я сидела не шелохнувшись. Не знаю, могли он чем-нибудь оскорбить меня, но верно то, что я всегда во всем считала себя перед ним виноватой. Это трепетное обожание требовало только одного: чтоб он позволял мне изредка видеть себя и служить себе. Иногда матушка скажет мне: «Поди приберись в кабинете Александра Сергеевича». Это доставляет мне блаженство на целый день. Сдувая пыль с письменного прибора, с бумаг, со стола, подбирая окурки, я все думаю: вот здесь он сидел, здесь лежала его рука, вот к этому месту он прислонялся головой — милый человек! Однажды, убираясь, я нашла на полу старую, брошенную им ленточку от часов. Я утащила ее к себе и целые годы хранила ее, целуя по утрам и по вечерам.

Он, конечно, ничего этого не знал; да я умерла бы от стыда, если бы моя тайна открылась. Мне казалось, что, узнав про мою любовь, он станет ненавидеть и презирать меня. Когда однажды он, сидя у нас вечером за чайным столом, после долгого созерцания моей физиономии сказал: «Жаль, тетушка, что у вас нет маленьких детей, а то Наташа уже не так забавна»,— я проплакала целую ночь. Но до сих пор не могу понять, о чем я плакала; о том ли, что я не могу забавлять его, или о том, что он желал бы заменить меня маленькими детьми.

Я постоянно думала о том, как бы угодить ему, и поэтому не было мне от него такого приказания, которое я не исполнила бы с готовностью. Но когда он выразил желание учить меня, заняться несколько моим умственным развитием, я чувствовала себя наверху блаженства. Я знала, что за что он принимался, то доводил до конца. Я считала себя уже образованной и развитой девицей.. Однако же мое счастье продолжалось недолго: математических способностей у меня не оказалось, числа не лезли мне в голову, несмотря на все его терпение, уроки математики скоро превратились в часы моего стыда и нравственных пыток. Один раз, по окончании урока, он долго смотрел на меня и решил, к вечному моему позору, с невозмутимым равнодушием: «Ты тупая девочка, из тебя ничего не выйдет хорошего, никто тебя и замуж не возьмет». Слушая его, я глотала слезы; целые ночи после этого возилась я с задачами, вталкивала их себе в голову, но влечения к разрешению задач не получила никакого и наконец, покорившись своей участи, пришла к тому убеждению, что я действительно «тупа». Оглядываясь теперь назад, я с удивлением спрашиваю себя: где это время? где те блаженные сны, в которых он представлялся мне таким идолом, а я держала себя в отноше-

нии к нему такой язычницей, где все это? Смерть матери произвела на меня потрясающее действие. Я вдруг очнулась от своей безмятежной спячки. Не было никаких видимых причин к разрушению моего обожания, но оно рушилось. Я не знала, за что любила Александра Сергеевича, и не могла понять, отчего я разлюбила его. Через полгода после смерти матери я не побоялась уже идти против всех желаний своего бывшего кумира. Он хотел заставить меня жить с ним в его доме, но я, не находя себе естественного положения при нем, поступила в школьные учительницы. Прошел год, и мои занятия с детьми, мой изменившийся образ жизни внушали ему то чувство ко мне, на которое я не смела надеяться в былое время. Но теперь взгляды мои на брак изменились. Я долго колебалась, не решилась дать ему согласие, несмотря на то, что уважала его и чувствовала себя не способной любить кого бы то ни было так горячо, с таким самоотвержением, как любила его. Но воля его, непреклонное упорство, с которым он стремился к достижению своих целей, взяли свое, и я сделалась его невестой. Однако ж то, что составило бы в былое время мое блаженство, теперь заставляло меня более и более задумываться, и я отсрочила нашу свадьбу до окончания моего процесса с братом. Между тем жизнь наша текла довольно однообразно: Александр Сергеевич вставал в пять часов, а ложился в двенадцать. Я не понимала, как его здоровье выдерживало девятнадцать часов в сутки бодрствования, когда, наконец, он находит время обедать, ужинать и мирно наслаждаться у окна заходящим солнцем со стаканом чая и сигарой. Суетливости в нем не было нисколько. В былое время он находил досуг сидеть по вечерам у нас и даже учить меня. Теперь заходил ко мне в школу довольно часто и три вечера в неделю регулярно проводил у меня.

Не знаю, был ли он религиозен в душе, но ни одной праздничной обедни не пропускал; приходил по обыкновению раньше всех, в продолжение всей обедни стоял не шелохнувшись и, получив от священника просфору, уходил после всех. Он считал себя практическим человеком и жил, занимался всем, по его словам, для себя, для своего удовольствия. Он вовсе не был тщеславен. Но за что бы он ни взялся, во все он вносил страсть.

«Не создана ли жизнь для жизни? — говорил он нередко, задумавшись, — не всякий ли, кто захочет, может быть счастлив, не вздор ли все эти обстановки?.. Тот человек, который не сумел устроиться в обществе и жалуется на это, значит, не сумел жить...»

Однако ж, рассуждая таким образом, сам он едва ли был счастлив: определенной цели в жизни, кажется, у него не было. Неимоверно равнодушный ко всякому говору о себе и сплетням, он требовал только одного: повиновения себе. Мужики могли не ломать перед ним шапки, бранить, повертываться к нему спиной, он все это знал, видел, но никогда хорошему мастеровому не ставил в упрек ложное понимание своей особы. Всякий мог иметь о нем какое угодно мнение, на это он не обращал ни малейшего внимания; но стоило послушаться его, поддавшись лени, пьянству, кара была неизбежна. Пьянство, воровство, неисправность в работе он преследовал беспощадно, зато и награды сыпал по-царски; там, где на награды не доставало заводских денег, он щедрой рукой брал из своей шкапки; получая от Белоградских пятнадцать тысяч в год жалованья, он проживал его в заводе все до копейки. Вначале все его возненавидели, и два раза мастеровые возмущались против него; но возмущения не могли переделать его натуры; они вызвали только злобное пренебрежение с его стороны; сегодня возмутились

против него, он завтра, злобно равнодушный, спускался в рудники почти с тем же народом и, что всего удивительнее, оставался невредим. Если ему, бывало, говорили: «Вот там тебя караулят, хотят убить», — он шел туда. Со дня возмущений в народе его прозвали змеем-горынычем, и молва разнесла слух о его заколдованности. Но как управляющий он был молодец. В шесть лет своего управления заводом полуразоренное имение Маши он поправил. Введением каких-то новых машин в заводской механизм он на четыре часа в сутки укоротил работы мастеровых; пьянство при нем уменьшилось, воровство железа, бывшее одним из промыслов мастеровых, также почти прекратилось, материальное благосостояние народа заметно поднялось. В последнее время народ стал привыкать к своему управляющему; многие даже страстно полюбили его и служили ему с покорностью и слепой преданностью; но в его глазах не было людей ни преданных, ни не преданных; все были одинаковы. В заводе было очень много раскольников, он отстаивал свободу их веры перед администрацией и этим привязал их к себе; все они были на его стороне.

Человек идеально строгих нравов, спартанского образа жизни, безупречной честности и прямодушия, он не мог не внушить уважения к себе, но расположить человека к себе, приобрести чью-нибудь симпатию он считал как будто ниже себя и никогда об этом не заботился.

Смотря на его деятельность, эту бесцельную лихорадочную деятельность, я всегда жалела его: он казался мне одиноким человеком в обществе, и действительно он был одинок. Около него замечалась страшная пустота, и он, как казалось, сам замечал эту пустоту. Нередко он вдруг переставал работать, начинал отдыхать и по целым дням дремал у себя в кабинете,

ничего не делая. Но на пустоту своей жизни он никогда не жаловался. В отношениях к окружающим он держал себя одинаково; как на него действовал человек, так и он относился к человеку. Белоградский, брат Маши, по приезде в завод хотел было сойтись с управляющим: они часто виделись друг с другом; Александр Сергеевич не уклонялся от разговоров с ним, не отказывался от его приглашений, держал себя с ним как со всяким, но сойтись друг с другом они все-таки не смогли, и Белоградский отступился от своего желания. Все, пробовавшие сблизиться с Александром Сергеевичем, или отступались от него, или привязывались к нему.

«Однако Лизанька моя что-то долго заходила», — подумала я. День уже свертывал мало-помалу свои огнистые лучи, уходя за горы, а вот и вечерняя звезда ярко заблестала на западе... Я невольно засмотрелась на видневшийся вдаль маленький домик, в котором мы прежде жили с матерью. «Кто-то живет теперь там? — думалось мне. — Так же ли зеленеет лужайка перед низенькими окнами, как зеленела во время оно, облитая росой? Поддерживается ли то же хозяйство с курами и петухами на дворе? Есть ли в темном углу около огорода конура, а в ней цепная собака? Все ли колодезь, обросший высокой травой, дает светлую, чистую воду? Светится ли накануне праздников лампадка из углового окна моей комнатки и молится ли кто-нибудь там, по утрам, перед потемневшим от времени ликом Спасителя?» Пролетело время, я навсегда распростилась с маленьким домиком, но до сих пор, задумавшись, я вижу: и вечернюю звезду, ярко блещущую в бледно-розовых лучах заката, и тонкий бледный лик молоденького месяца, робко поднимающийся из-за синих лесов... Воды темнеют: теплым ветром потянуло с востока, родники, бегущие с гор, звенят громче, и гро-

хот воды, рвущейся из вешников, ярче разносится в тишине замирающего дня; только изредка скрип еле-еле ползущей телеги, отдаленный грохот колеса, едва слышный отголосок бесконечной песни, несущейся Бог знает отколь, стоят еще в воздухе между сумерками и ночью. Поддавшись теперь, как и всегда, мирному впечатлению засыпающих сумерек, я не видала, как переехала Лиза через речку и как она вошла в комнату; только ее звонкий голосок, раздавшийся над моим ухом, вывел меня из дремоты.

— А вы, Наталья Алексеевна, поди, без чаю?

— Без чаю, Лизавета Ивановна; отдали вы мой портрет?

— Как же, отдала, — отвечала она скороговоркой, — да вот тетка Алена, что живет на выселках, повстречалась со мной, да и продержала меня. Как же это, право, так-таки вы и не пили чаю-то?

— Не пила.

Лиза смутилась и провела ладонями по бокам своего передника.

— Я сию минуточку пойду и поставлю самовар, а ужинать-то, значит, уж не станем.

— Да скажи же мне, пожалуйста, — остановила я ее уже в дверях, — кому ты отдала мой портрет?

— Ой, я и забыла отправить вам поклон нижайший! Сам барин, значит, взяли у меня портрет и наказали вам кланяться. Да вот ужо все расскажу, поставлю самовар только.

С этими словами Лиза, махнув рукой, как будто давая мне знать, что время для разговора не уйдет, убежала ставить самовар.

«Сам Белоградский взял портрет и велел кланяться», — мелькнуло у меня в голове, и я невольно задумалась...

III

— Нет, Лиза, — сказала я, поднимая с рук голову и отходя от окна, — сколько я ни думаю, но этому мудрено верить.

Глаза Лизы заблестали; но отвечать мне она не сооблаговолвила, с чувством оскорбленной невинности подошла к самовару и, подвинув ногой неповоротливый стул к столу, безмолвно стала разливать чай.

— Конечно, — продолжала я, после некоторого молчания подходя к столу, за которым она сидела, — замыслы на жизнь Александра Сергеевича были здесь довольно часты; но ведь с тех пор прошло четыре года, а главное...

— Чего? — подняла Лиза голову, и углы ее губ опустились с угрожающим видом.

— Убийцы и разбойники, — ответила я спокойно, — не станут разглашать о своих замыслах.

Лиза в ответ на это насмешливо улыбнулась.

— Видно, вы не любите вашего барина, — возразила она. — Я вот и чужая, да у меня руки и ноги опустились, как я услышала, а вы словно ни в чем не бывало.

— Привыкла...

— Чего?

— Ничего. Неужели ты воображаешь, что любишь Александра Сергеевича больше моего?

— Известное дело, видно так! — сказала она с самоуверенностью. — Вот как убьют его, так заговорите тогда: где еще вам найти такого жениха?

И, для вящего подтверждения своих слов, она провела кулаком по своим покрасневшим глазам.

Чувства Лизы в виду грозившей Александру Сергеевичу опасности всегда изменялись; этому я не могла не сочувствовать. Ничего так не подкупает нас в свою

пользу, как расположение к людям, близким нам... Теперь точно так же, как всегда, я почувствовала какое-то теплое чувство к Лизе и, подойдя к ней, положила руку ей на плечо.

— Но, Лиза, если это правда, так отчего же твой дядя сам не пошел к исправнику? — спросила я мягко.

— Вот вы какая, Наталья Алексеевна, — возразила она по своему обыкновению с ожесточением. — Хоть постыдились бы говорить-то это! Вам, поди, ничего не будет; а у мужика спросят, отколе он узнал, а коли окажется неправда, так и накладывают ему в спину.

Все это было довольно резонно, но и недоверчивость моя была в этом случае очень естественна: из десяти известий, которые приносила мне Лиза о замыслах на жизнь Александра Сергеевича, не оказалось ни одного достоверного. Но как бы то ни было, а все-таки я считала своей обязанностью принять надлежащие меры. Одно меня заботило, как начать: написать ли письмо или известить лично, — и кого? По некоторым соображениям, я не признала за своей особой силы уведомлять письменно кого бы то ни было; к исправнику я также не захотела идти, он был человеком дурных свойств, его боялись все заводские девушки; остался один Белоградский. По своему положению и по своему воспитанию молодой Белоградский держал себя совершенно в стороне от заводской жизни и даже относился с худо маскируемым презрением ко всему русскому. При всем том в нем было столько врожденного благородства, он умел держать себя не скажу нравственно, потому что нравственность не есть только умение держать себя, нет, он умел держать себя с таким нравственным приличием, что все, кто знал его, невольно уважали. Я была убеждена, что он не только выслушает меня с приличным вниманием, но и поступит согласно с моей просьбой. Сообразив все это, я

объявила, к полнейшему удивлению Лизы, что иду к Белоградскому.

Она, конечно, испугалась при виде моей решимости. День стоял до того жаркий, что мы даже чай в этот вечер пили после солнечного заката, зато после полудня облака набежали со всех сторон и к вечеру нагнали тучу, синюю-пресинюю, которая грозила превратить вечер в ночь. Мне приходилось идти в темноте, и Лиза, предполагая до сей минуты, что я пошлю со сторожем записку, перепугалась за меня донельзя. Но я молча надевала мантилью, повязывала голову креповым платком, и Лиза выходила из себя.

— Да вы, Наталья Алексеевна, хоть бы оделись потеплее, — заключила она, видя, что все ее настояния пропали даром. Взяв со стола принесенный Лизой фонарь, я молча, в одной мантилье, вышла из комнаты.

В эту непогожую темень фонарь не столько был мне необходим для освещения пути, очень хорошо известного мне, сколько для того, чтоб обратить внимание паромщиков, которые находились по ту сторону реки. Моя предосторожность оказалась как нельзя более действительной. Свет от фонаря был замечен, и прежде чем я спустилась с пригорка, неопределенная темная масса обозначилась на середине реки. Резкий ветер дул мне прямо в лицо, маленькие цепные дворняжки заливались со всех сторон завода пронзительным лаем. По временам погромливал гром, и несколько крупных капель дождя, вырвавшись из тучи, тяжело ударили в землю; еще минута — и дождь хлестнет со всего размаха. Но вот паром пристал к берегу; я соскочила на него, и длинные шести уперлись в темные волны.

Не знаю, долго ли мы плыли; помню только то, что я очутилась на том берегу под сильным дождем. В совершенной темноте едва светился огонь из трех светлых зеркальных окон флигеля, который соединялся с

домом крытой галереей. Около крыльца с колоннами и фронтоном блестяли фонари. Подобрав платье, я бросилась бежать прямо на огонь, а дождь колотил мне в голову, хлестал в лицо, обливал шею, смочил всю мою мантилью, волосы, юбки, но я бежала не переводя духу, и, кажется, только благодаря этой быстроте я успела спасти мое платье. Осмотрев себя под фронтоном, я убедилась, что могу явиться перед Белоградским в состоянии довольно приличном, и вбежала в переднюю. Эта маленькая четырехугольная комнатка поразила меня своим изяществом. Диванчик в виде скамейки, покрытый желтым сафьяном, стоял в одном углу; над желтым дубовым столиком с выточенными ножками висело зеркало, также в желтой дубовой рамке. Пожилой слуга с внушающей почтение физиономией, с бакенбардами и в высоких, туго накрахмаленных воротничках, сложив ноги одна на другую, сидел на диванчике и глубокомысленно читал при свете лампы газету. При моем входе он положил газету на стол, мельком взглянул на меня и, осторожно встав, на носках сапогов отправился через залу в гостиную.

Я в первый раз входила в квартиру Белоградского. Одного взгляда на залу достаточно было, чтобы убедиться в утонченных вкусах хозяина. Кругом резная мебель черного дерева, около окон тропические растения, в одном углу пианино, в другом великолепные часы, около дверей зажженные лампы, на дверях темно-малиновые портьеры.

Стоя в зале, я следила за слугой, который, согнувшись, вошел в гостиную и что-то тихо проговорил. Ему ответили тоже тихо, после чего он возвратился в залу и, почтительно приблизившись ко мне, попросил меня в гостиную.

Вообще в наружности и осанке этого служителя так мало было лакейского, что делалось против воли не-

ловко за причиненное ему беспокойство; однако ж, подавив смущение, я отважилась еще на вопрос:

— Там, кажется, кто-то есть?

— Одна старая барыня, — ответил он.

Имя старой барыни не могло подействовать на меня приятно, и зачем она пришла в этот час к племяннику? Госпожа Горская приходилась родной сестрой отцу Маши. После смерти мужа у ней осталось довольно значительное состояние; но в другой раз замуж она не пошла и поместилась в доме брата, который, прожив все свое небольшое состояние, еле-еле поддерживал свое положение в обществе. Сестра помогала ему; потом, когда он овдовел, она высватала за него пожилую, но с ожиданиями большого наследства девушку. Действительно, мать Маши в скором времени по выходе замуж получила наследство и после своей смерти оставила дочери огромное состояние. Потом тетка и племянника женила на богатой девушке; к несчастью, брак этот оказался не совсем удачен: Белоградский хлопотал о формальном разводе с женой. Впрочем, эта неудача не могла поколебать авторитета старухи в семье Белоградских. В доме она держала себя в отношении к Маше как мать, а племянник всегда был очень почтителен к тетке.

Но я не любила старуху. Сухая, чопорная, с прозрачно-бледным лицом и тусклыми глазами, она напоминала мне восковую маркизу-куклу, подаренную мне матерью еще в детстве: играя в куклы, я всегда заставляла эту барыню разыгрывать роль злого рока. Платье Горская всегда носила черное, шелковое, с длинным шлейфом; на черных гладко причесанных волосах черный тюлевый чепчик; пальцы у нее были тонкие, маленькая рука точно восковая; в ее тусклом взгляде замечалось присутствие ума, заметно было, что в молодости цели ее были выше любовных интриг, но

к лучшему ли это, Бог знает... В поклоне ее было что-то сухое, сжатое, в голосе — беззвучность, в складках около рта — холодное презрение. Сама любовь к племяннику и племяннице походила больше на страсть, чем на любовь. Мне казалось, что она не постыдилась бы действовать на племянницу из личных расчетов самыми низкими средствами и точно так же подчинялась бы всевозможным нравственным оскорблениям. На дружбу мою с Машей Горская смотрела недоброжелательно; малейшее мое слово, сказанное в ее присутствии громче обыкновенного, или опрометчивый смех вызывали складки на ее рот и награждались тем тусклым взглядом, от которого меня корбило. В особенности в последнее время, когда Белоградский стал оказывать мне особенное внимание, она прониклась недоброжелательством ко мне; это было заметно из ее поклона, взгляда, наконец, из ее неохоты говорить со мной; она никогда не обращалась ко мне ни с одним словом. Разумеется, я не скажу, чтоб ее холодность действовала на Машу или Белоградского. Маша для этого была слишком деликатна; а Белоградский слишком горд и благороден, для того чтобы в угоду предвзвешенным тетке скрывать свои симпатии. Как при тетке, так и без нее, он до сих пор держал себя в отношении ко мне совершенно одинаково.

Войдя в гостиную, я увидела, что Горская, прямая, как тычина, сидела на диване и что-то толковала племяннику, который слушал ее стоя, облокотившись на спинку кресел. Судя по морщинам между черными бровями Белоградского, можно было заключить, что разговор не приходился ему по сердцу.

Не знаю, как слуга доложил о моем приходе, но что ни старуха, ни племянник не были подготовлены к моему появлению — это было ясно. По легкому румянцу, быстро покрывшему лоб Белоградского, замет-

но было, что мое появление поразило его более чем неожиданностью, мне показалось даже, что он не знает, как приветствовать меня. Увидав, что я стою на пороге, не двигаясь ни назад ни вперед, он быстро вышел из-за кресел и, подойдя ко мне, раскланялся со мною очень низко.

— А я ждал Машу и принял вас за нее. Прошу прощения в своей ошибке и неловкости.

Он говорил это совершенно непринужденным тоном, и голос его звучал мягкими нотами.

Изящная предупредительность Белоградского всегда приводила меня в смущение; теперь также я стояла молча, рассматривала узорчатый ковер и отвечала после со свойственной мне в этих случаях глупостью.

— Благодарю вас, я пришла к вам за делом.

Едва заметная улыбка блеснула на его выразительном лице, и мягкий, глубокий взгляд его ушел мне в глаза.

— Я всегда рад служить вам... Где вам угодно, чтобы я выслушал вас?

— Мне все равно, — отвечала я, взглянув уголком глаза на Горскую, которая, уложив свои восковые ручки одна на другую, безмолвно созерцала нас.

Он слегка наморщил лоб и, после минутного размышления, мимоходом взглянув на полуотворенную дверь кабинета, обратился к тетке:

— С вашего позволения, *ma tante* *, я принужден вас оставить на несколько минут.

Но Горская, пристально, хотя и без всякого выражения смотря на племянника, возразила ему что-то своим беззвучным голосом.

Вслед за этим ее шелковое платье зашелестело и, вытянув шею, она начала подниматься с дивана. Бело-

* Тетушка (фр.).

градский сделал шаг назад и, слегка наклонившись, стоял совсем готовый проводить почетную гостью. Но гостя перед уходом еще раз соблаговолила отнестись к племяннику с каким-то замечанием по-английски и вызвала морщины на его гладком лбу.

— Это не мое дело, — сказал он сухо и отступил к дверям. В тоне Белоградского, в его движении было столько достоинства, вежливости и вместе с тем столько чего-то безапелляционно-законченного, что надо было явиться отъявленной дурой, чтобы настаивать на разговоре, прекращенном так решительно. И Горская воздержалась. Опустив глаза, она с величием павы поплыла к дверям гостиной.

Белоградский обратился ко мне.

— В такую непогоду вы не побоялись переправляться через реку? — спросил он меня с легким упреком.

Этот вкрадчивый, мягкий тон, этот ласкающий бархатистый взгляд были хорошо мне знакомы, и потому, рассматривая ковер, я ответила просто:

— Я пришла к вам за делом очень важным: несколько человек ждут Александра Сергеевича в овраге на большой дороге, что под горой, в трех верстах отсюда.

С последними словами я взглянула в глаза Белоградского и заметила весьма яркое удивление в них.

— Откуда вы это узнали? — спросил он тихо, после минутного молчания.

— Я не считаю удобным сказать вам это.

Морщины скользнули между его черными бровями.

— Но вы убеждены, конечно, в достоверности этого слуха?

— Нет, не совсем, — отвечала я чистосердечно.

— По крайней мере, — сказал он после довольно значительной паузы, но уже сухо и тем тоном, произ-

водившим на меня неприятное впечатление, который, скрадывая все ощущения, выставляет на вид одну светскую учтивость, — вы имели какие-нибудь основания предать мне это?

Я смутилась и тупо промолчала.

— Я повторяю свой вопрос, — проговорил он после минутного молчания с той же формальной учтивостью.

«Повторяй, сколько хочешь, — подумала я, — но отвечать мне нечего».

Он устремил свой внимательный взгляд на мое лицо и довольно долго рассматривал меня, потом посмотрел вверх моей головы в окно; наконец медленно повернулся и, придвинув два кресла к столу, в одно опустился сам, а в другое попросил садиться меня.

Я не заставила повторять себе это приглашение и, молча усевшись подле него, смотрела, как он вынимал записную книжку из бокового кармана своего сюртука и вырывал из нее листок.

— Я не удивляюсь тому, — сказал он задумчиво, приготавливаясь что-то писать карандашом и отбросив уже свою формальную учтивость, — что привело вас ко мне в эту непогоду. Зарягин человек глубоко вам преданный.

Белградский ничего не знал из моих настоящих отношений к Александру Сергеевичу, и потому я сочла за лучшее промолчать. Впрочем, он, как видно, и не дожидался моего ответа; быстро написав несколько слов на почтовом листке, он снова взглянул на меня и сказал как будто в раздумье:

— Вы жили в одном доме с ним около трех лет?

— Четыре года, — повторила я.

Мой собеседник улыбнулся едва заметно и, застучав по столу пальцами, кликнул слугу.

— А развратное здесь народонаселение, — заметил он мимоходом и, обратившись к слуге, который почти

тельно подошел к столу, прибавил: — Вот тебе записка, отнеси ее к исправнику, да отдай ее самому в руки.

— Не изволите приказать дожидаться ответа?

— Нет, — отвечал коротко Белоградский.

Заметив, что служитель взял записку и намеревается уходить, я быстро вмешалась в разговор.

— Позвольте мне сказать вам несколько слов.

Он немедленно остановил слугу и вопросительно взглянул на меня.

— Извините меня, — начала я, краснея, — но нельзя ли мне знать, о чем вы писали исправнику?

Едва заметное удивление блеснуло в глазах Белоградского. Подумав, он сказал спокойно:

— Я написал ему то, что слышал от вас.

— Вы не писали ему, чтоб он послал людей навстречу Александру Сергеевичу?

Снисходительная и ласковая улыбка пробежала по лицу Белоградского.

Я продолжала:

— Вы в прошлый раз, это было уже давно, также давали знать исправнику о покушении на жизнь Александра Сергеевича; но он ничего не сделал.

Говоря это, я не смотрела на своего собеседника; но чувствовала его глубокий взгляд на своем лице.

— Вы не доверяете исправнику? — спросил он, не убирая своих глаз с моего лица.

— Нет, — отвечала я твердо, чувствуя, как при мысли об угрожающей Александру Сергеевичу опасности бледность разливалась у меня по лицу.

— Что же, по вашему мнению, я должен сделать? — спросил он после долгого молчания своим вкрадчивым тоном.

— По моему мнению, — отвечала я скороговоркой, — надо послать людей навстречу Александру Сергеевичу.

— А потом?

— Потом, — продолжала я, — вы скажете исправнику, чтоб он сам с людьми осмотрел овраг.

Встретив тонкую улыбку на лице Белоградского, я остановилась и в заключение всего покраснела.

— Продолжайте! — сказал он одобрительно.

Но, высказав все, что, по моему убеждению, следовало высказать, я замолчала. Он не сводил глаз с моего лица. Мне иногда нравилось смотреть на его узкие красивые руки с длинными пальцами, нравились его небрежные, несколько даже ленивые, но грациозные движения, нравился его тонкий профиль, мягкие черные волосы, маленькие уши, его стройный стан. Он был очень хорош собой и, кажется, сознавал это; но теперь от взгляда Белоградского, от его улыбки мне делалось неловко. Какое-то неприязненное, безотчетное и, стало быть, глупое чувство охватило меня: я краснела, краснела и, наконец, встала.

— Куда вы?

— Мне пора домой.

Он быстро разорвал записку и, обратившись к слуге, который стоял на пороге гостиной, приказал ему сходить в большой дом за лошадью.

— Я надеюсь, — сказал он тихо, после того как слуга вышел, — вы позволите мне проводить вас. Я сам поеду к исправнику... успокоит ли это вас?

Конечно, это было даже больше того, на что я смела надеяться; но при взгляде на мглистые глаза Белоградского поблагодарить его как следует я все-таки не сумела. По крайней мере, выслушав мою благодарность с легким поклоном, он быстро откинулся на спинку кресла и, сомкнув с холодной вежливостью рот, не разжимал его вплоть до прихода слуги.

Я также сидела молча, рассматривая цветной ковер и размышляя о той странности, которая ставила меня всегда в неловкое положение перед Белоградским. Он

ли был слишком шепетилен, или я слишком резка, только беседы наши всегда оканчивались этим сухим формализмом с его стороны и тупым молчанием с моей. Теперь, например, я с гораздо большей охотой могла бы убраться домой одна; но, опасаясь опять задеть его какою-нибудь неделикатностью, я молча приняла его предложение ехать с ним. Мне, конечно, было не совсем приятно сидеть в молчаливом созерцании его особы, но если бы ему вздумалось просидеть целый вечер в этой позе, облокотившись на ручку кресел и устремив глаза в темное окно, то без настоящей необходимости я не рискнула бы заговорить с ним. Слуга, наконец, явился с докладом о лошади, поданной к крыльцу. Белоградский молча встал и, взяв со стола фуражку и перчатки, отнесся ко мне с своим вежливым поклоном. Я также молча встала и последовала за ним в залу. Моя мантилья лежала на диванчике в передней. Дотронувшись до нее, я увидела, что она еще не просохла, но делать было нечего: я надела ее и повязалась своим креповым платком. А Белоградский, рассматривая мой наряд, стоял на пороге залы в своих зеленых перчатках и с фуражкой в руке.

— Вы в одном платье? — спросил он, приподняв свои черные брови.

— В одном.

— И без калош?

— И без калош.

Тяжелое облако протянулось по его прекрасному лицу.

— Виноват, Наталья Алексеевна, — сказал он решительно, с холодным достоинством, которое заблестало в его лице, глазах, зазвучало в тоне голоса, — я не могу пригласить вас ехать со мной в одном платье.

— Вам угодно, чтоб я шла одна?

О, какой длинный-предлинный, ледящий душу взгляд!

— Я желаю, — сказал он медленно, ясно и отчетливо, с чувством оскорбленного достоинства, — чтобы вы позволили мне доставить вам бурнус и калоши.

Я смотрела на него...

— Я хорошо понимаю, — продолжал он тем же тоном, — что привело вас сюда в одном платье, но вы оставите меня в недоумении, отказавшись от моего предложения.

Я не хотела оставлять его в недоумении и вопросительно смотрела на него.

— Вам придется подождать здесь всего минут с десять, — объяснил он, — я возьму с собой человека и пришлю вам бурнус и калоши.

Что могла я возразить на это? Молча поклонившись ему, я сбросила с себя мантилью. Зато мое безмолвное согласие получило, по крайней мере, вознаграждение; он протянул мне руку и, крепко сжав мою, сказал свое: «До свидания» с самым дружелюбным видом. В дверях он еще оглянулся и, приподняв свою фуражку, улыбнулся мне той улыбкой, которая так симпатично освещала его благородное лицо...

Оставшись одна, я скоро забыла и разговор с ним, и место, где я нахожусь, и опасность, которой подвергается Александр Сергеевич. Вокруг меня все было так дивно хорошо, что заставляло забывать все на свете. Теплая, темная ночь глядела из сада; лесной свежестью тянуло в отворенные окна, гроза стихала, но теплый, отвесный дождь ливня лил на землю. Из окна гостиной виднелась площадь и на ней темная, неопределенная масса церкви, вдали блеснул огонек, звякнул бубенчик пробирающейся к дому заблудившейся беглянки из стада; ярко залился колокольчик какого-то запоздалого путника, и опять все смолкло. Я была одна-

одинешенька в четырех комнатах; два портрета смотрели на меня из темных рам, из полуотворенной двери кабинета лился розовый свет. Одиночество и тишина всегда оказывали на меня свое влияние; я не родилась городской жительницей, жизнь, шум и движение я любила только издали... может быть, в самой ранней молодости я мечтала и о шумной жизни больших городов, о великих интересах людей, о их делах... но это было так давно! С тех пор я научилась ценить мирный уголок, две маленькие комнатки, часы с кукушкой, тишину, полезную жизнь и наслаждения заодно с природой.

И что могло сравниться с этой теплой, темной ночью, глядевшей из сада, с этой упойтельной свежестью лесного, нагорного воздуха нашей стороны?

Стоя у окна, я смотрела на тучу, которая разорвалась надвое; одна половина ее покатилась на запад, другая ушла на восток, и светлая полоса ясной лазури протянулась от горизонта до зенита. Узорчатые края облаков мало-помалу растягивались и, осеребрившись наконец сиянием месяца, врезались колокольнями, колесницами и бесчисленными стрелами в синеву небес. Дождь стихал, и гармонический бой часов отсчитал одиннадцать раз. В эту минуту я услышала за собой шум шагов и голос слуги.

Бурнус, лежавший на руке почтенного служителя, был мой собственный; калоши, которые он держал в другой руке, также принадлежали мне.

— Кто ходил ко мне? — спросила я, избегая слова «ты».

— Барин посылали меня, — ответил он согнувшись, — они изволили прислать вам лошадь и приказали мне проводить вас.

— Значит, Иосиф Александрович у исправника? — спросила я мимоходом, надевая бурнус.

— Никак нет-с. Они встретились с управляющим, как ехали сюда, и зашли к нему; а меня послали к вам.

Александр Сергеевич дома! Не знаю, что я почувствовала при этом известии, но верно то, что, когда я застегивала бурнус, руки у меня дрожали. Я ни о чем не думала в эту минуту, зато в продолжение всей дороги ничего и не видела, кроме маленького домика с окнами, ярко освещенными и отворенными на мост; я видела еще профиль мужественной фигуры, которая сидела в креслах, с зажженной сигарой в руке, облокотившись на окно, и смотрела на кого-то в глубину комнаты.

Когда я возвратилась домой, Лиза покоилась уже безмятежным сном, несмотря на то, что двери были отворены. По укороченному дыханию, по раскинувшимся на груди черным волосам и по полурасстегнутому платью заметно было, что сон застал Лизу врасплох. Наклонившись к ее пунцовому личику, я долго смотрела на ее длинные ресницы, беззаботно закрывшие карие глаза, и потом, в каком-то непонятном увлечении, тихо поцеловала ее чистый лоб.

IV

Большая церковь, построенная на площади дедушкой Маши, стоила огромных денег. Богатый барин, возвратившись из-за границы на свою родину, захотел увековечить свое имя и занялся постройкой храма. Не знаю, почему народ не любил ходить в эту церковь; может быть, пустота и громадность ее не соответствовали его сердечным потребностям; но я любила молиться здесь. Нравились мне эти огромные колонны, уходившие в вышину; двери, подле которых взрослый человек казался крошкой; высокие своды, уносившиеся бог знает куда, и верхние окна, едва достигаемые гла-

зом. В особенности хорошо было здесь во время все-нощного служения: два, три человека около колонн, едва мерцающие свечи, кое-где блестящий отлив от золотых икон и дребезжащий голос старика священника, раздающийся так торжественно в пустом пространстве, как будто молитва его несется прямо к престолу Всевышнего, и только что первые звуки ее замирают там, где-то далеко, в вышине, другие уже несутся и несутся... Прислонившись к колонне, не то молишься, не то просто стоишь, не думая ни о чем, в немом созерцании чего-то, а звуки все льются и льются; мимо средних окон мелькают стаи галок, а там, еще выше, синет одно беспредельное небо да носится серебряный месяц в бездонных пространствах. Темнеет луч месяца, скользнув в окно, бежит фантастическим сиянием по темным ликам икон, таинственно пробегает по мрачной живописи иконостаса... И молиться хочется, и плакать, и забыть весь грешный мир с его скорбями и радостями...

У обедни здесь бывало довольнолюдно. С приезда Маши, которая к обедне постоянно ходила сюда, заводские барыни полюбили эту церковь. Пестрые платья и разноцветные шляпы наполняли верхнюю часть среднего придела; позади их становились черные сюртуки, между которыми изредка мелькали алые платки простых женщин и длинные бороды мастеровых. Александр Сергеевич также почти всегда приходил к обедне в эту церковь. После обедни я всегда дожидалась его на паперти. Поздоровавшись со мной, он уводил меня к себе пить чай и обедать. Этот порядок соблюдался уже целый год, с самого того дня, как я дала слово сделаться его женой.

Одеваясь в это воскресенье к обедне, я почти на-верное рассчитывала встретиться здесь с моим жени-хом. Одно меня заботило: я не знала, рассказал ли

вчера Белоградский Александру Сергеевичу о моей тревоге, или нет. Я заботилась о нем как о человеке, как о родственнике; но он мог перетолковать мое беспокойство по-своему и вызвать меня на неприятное объяснение. Я боялась подать повод к каким-нибудь нежным излияниям с его стороны, тем более что делать ему неприятности, огорчать его мне не хотелось. Думая и раздумывая, я припоминала себе прилично сдержанный характер Белоградского и начинала надеяться, что авось он не счел за нужное говорить обо мне с Александром Сергеевичем. В этих мирских грешных рассуждениях я направилась в церковь: к большому моему удивлению я не застала там Александра Сергеевича. То место, на которое он по обыкновению становился, было занято Горской. Она стояла в своем черном шелковом платье, уставив глаза на пунцовый бархатный молитвенник с золотыми застежками. Подле нее, опустившись на колени, преусердно молилась Маша. Перед ними вертелась в голубом коротеньком платьице Аня, дальняя родственница и воспитанница старухи Горской. Александр Сергеевич и к концу обедни не пришел, и я осталась этим очень довольна. Препровождение времени с моим женихом не доставляло мне большого удовольствия; конечно, идти против него, оказывать ему невнимание или пренебрежение было не в моем характере; я всегда старалась исполнить в точности обязанности невесты, но этим и ограничивались все мои отношения к нему. При выходе из церкви я стала глядеть на Машу. Ее все любили на заводе, да едва ли и возможно было не любить ее. Она была хороша, умна, грациозна, прекрасно пела, превосходно играла на фортепиано; говорила на шести европейских языках, была знакома с английской, французской, немецкой литературами; я часто заставляла ее в ученых разговорах с братом. Она ко всем в заводе ходила без

чинов, у себя была приветлива, радушна, и я никогда не видала, чтоб она какую-нибудь знатную барыню, приезжую гостью, отличила от своих заводских посетительниц; явное предпочтение, которое она оказывала всем смущенным и стесненным в ее большом доме, ярко выделяло ее из всех знакомых мне женщин. Маша ходила по больным, помогала бедным и усердно молилась. Но за этим она танцевала, как сальфиды, бегала по горам, как горцы; скакала верхом, как настоящая амазонка, стреляла из пистолета, или, лучше сказать, любила стрелять из пистолета, потому что всегда стреляла без цели, жгла пахитосы и могла выпивать шампанского по целому стакану. Воспитываясь под главным надзором тетки, Маша привыкла уважать ее; но рамки, в которые старуха ставила племянницу, оказывались слишком узки, и девушка сама, разбивая их, шла туда, куда ей хотелось, по крайней мере я ничем иным не умела объяснить постоянных, хотя и небольших размолвок Маши с теткой. Я не имела привычки или, может быть, смелости подходить к Маше и здороваться с ней при многолюдном обществе. Маша вначале слегка упрекала меня за эту, как она называла, мою гордость; но потом, когда мы сошлись ближе, она нашла мои отношения к ней очень удобными. Действительно, я никогда не требовала от нее ни лишнего взгляда для себя, ни улыбки. Когда она меня не замечала, я проходила мимо нее с потупленными глазами, не намекая ей ничем о моем присутствии; если же она окликала меня и кивала мне головкой, я подходила к ней, и мы разговаривали. Впрочем, в последнее время, вероятно снисходя к требованию тетки, Маша выдумала для меня особенное приветствие. Увидев меня, она поднимала брови и прикладывала пальчик к губам; это значило, что я должна была идти вслед за ней, не подавая вида, и ждать, пока она не заговорит со мной.

Теперь, заметив знаменательный знак, я уже знала, чего хочет Маша, и спокойно пошла вслед за народом. Следя за Машей, я видела, как она, увлекаясь разговором с молоденькими женщинами, мало-помалу отставала от старухи и замешкалась на лестнице в ту самую минуту, как Горскую сажали в карету. Я в это время стояла на верхней лестнице и могла ясно различить и тонкую улыбку Маши, с которой она кивнула головой тетушке, сказав, вероятно, что идет пешком, и тусклые глаза Горской, неизвестно вследствие какого побуждения уставившиеся на меня. Я думала было поклониться старой барыне, но, прежде чем успела взвесить, насколько моя личность достойна этой чести, дверцы кареты захлопнулись, и прозрачный лик с тусклым взглядом скрылся из моих глаз. Маша обернулась и через минуту, смеясь, уже сжимала мне руки.

— Прежде всего, — объявила она после первых приветствий, — Наташа завтракает у меня; брат тоже хотел зайти в библиотеку; я сказала, что не верю его обещаниям; он рассердился на меня, значит, придет, и Наташа должна прийти; она не захочет привести меня в отчаяние.

— Но...

— Point de mais! * Я хочу да или нет.

Я смотрела в ее черные глаза и молчала. Брат придет, и я должна идти: что это такое? В последние дни язык Маши как-то удивительно странно смешивал мое имя и имя брата; конечно, мне надо было видеться с Белоградским...

— Ты молчишь, Наташа; неужели ты хочешь опечалить меня? — маленькая ручка очутилась у меня на плече.

Но я все еще колебалась. Я предвидела, что Алек-

* Совсем нет (фр.).

сандр Сергеевич непременно зайдет ко мне. Не было примера в продолжение года, чтобы после своего трехдневного отсутствия он не поспешил взглянуть на меня хоть мимоходом; это обратилось у него в насущную потребность; что мне делать?

— Нет, Маша, — решила я, сообразив все это, — я не могу идти с вами: Александр Сергеевич зайдет ко мне.

— Он обещался? — спросила она бойко, пристально взглянув мне в глаза.

— Нет.

— И вы обязаны ждать его милость? Бедная! Но я успокою вас, — прибавила она с легким вздохом. — Он сегодня в маленькой церкви вместе с народом, обедня там кончается раньше нашей, но после обедни у них назначен... как это — сход? *Ou quelque chose comme ça, je n'en sais rien **, — заключила она, засмеявшись и открыв свои жемчужные зубы. — Согласны?

Я согласилась. Маше почему-то захотелось в этот раз пройти в библиотеку никем не замеченной, и она повела меня по одному из задних коридоров. Ни на дворе, ни в темном коридоре мы не встретили ни одной души; но у дверей библиотеки нас поджидал слуга в белом галстуке и в белых перчатках.

— Все готово? — спросила Маша с свойственной ей гордой небрежностью, проходя в библиотеку.

— Все, — был однозвучный ответ.

— Да, — остановилась она вдруг в дверях, повернув свое гордое личико к слуге, — для всех, кроме брата, я в саду.

И за этим отрывистым приказанием она скрылась в библиотеке. Я последовала за ней. Разумеется, я хорошо понимала, для кого собственно отдавалось это приказание, но намекнуть об этом Маше я никак не

* Такого, как то, я не знаю (*фр.*).

рискнула бы. Конечно, Маша не скрывала, что у нее с тетушкой случаются маленькие, самые крошечные неприятности, но тетушка такая добрая, так любит Машу, и Маша так уважает ее! Также я никогда не спрашивала Машу, почему библиотека, комната самая отдаленная в доме, была любимой ее резиденцией: покои тетушки были так далеки от этой комнаты! Может быть, Маша не хотела беспокоить тетушку, почтенную старушку, у которой свои привычки... В зимние вечера мы, то есть Александр Сергеевич, Маша, Белогорский и я, часто собирались здесь. Мужчины большей частью, отделившись от нас с сигарами, усаживались к камину и толковали между собой, а мы с Машей, забравшись в угол, читали что-нибудь, и вечер тянулся тихо и безмятежно. Расходясь, мы всегда оставались довольны и вечером, проведенным в теплом уголке, и чтением, и беседой. Теперь комната получила другой характер: большой зимний месяц не глядел уже в окно, стекла не блестели разноцветными огнями, камин не топился, но, тем не менее, здесь было так же хорошо, как и в зимние вечера. Столик, за которым мы сживали с Машей, был выдвинут из угла к открытому в сад окну и уставлен различными блюдами. Тут был и кофей, пирожки различного приготовления, и хлеб, поджаренный в масле, и маринованная стерлядь, и грибки, плававшие в сметане. Но в особенности хорошо было то, что свежий воздух вливался из сада через открытые окна в комнату, душистые сирени ползли в окно, молоденькие деревья, стряхнув долгий сон, развевали свои пахучие листья.

Звон, гул, щебетанье раздавались здесь с утра до глубокой ночи. Птицы реяли воздушными стаями в вышине; коршун, распластав крылья, лениво купался в синих волнах воздуха. Плавно описывая мерные круги, он то поднимался над землей, то замирал над ней в

грозной неподвижности, то спускался... еще мгновение— и широкие плавные круги понеслись к солнцу в синеву небес.

— Наташа, моя сирена, — послышался за мной увещательный голосок, — это ни на что не похоже, вы пришли завтракать, а не смотреть в окно.

Я оглянулась, Маша сидела уже в креслах; шляпа лежала подле нее на полу; черные локоны ее, рассыпавшись, бежали по плечам; широкий кружевной рукав был поднят, и обнаженная выше локтя античной красоты рука трудилась над расстановкой чашек. Если разбирать красоту Маши, то можно было найти много недостатков в ней: нос слишком короток, рот слишком мал, губы толсты; но все эти маленькие недостатки в правильности хорошо гармонировали с общим выражением ее лица, хотя в то же время для самой себя я не пожелала бы такой наружности. Этот мгlistый, горячий взгляд, этот пунцовый рот, эти поднятые ноздри, мне казалось, всегда могли, если бы захотели, взбудоражить человека, привести его в лихорадочное настроение. Лиза, моя приятельница, была простая девушка и нередко тянулась целоваться со мной с сильным кухонным запахом, но я целовалась с ней всегда с теплым чувством. Что же касается до поцелуев Маши, я с первого раза инстинктивно как будто уклонялась от них, и не потому, чтобы я не любила Машу или любила ее меньше Лизы. Напротив, с Машей у меня было больше общего, чем с Лизой, но обнимать ее, целоваться с ней — мне было тяжело...

По ее первому приглашению я поспешно подошла к столу и взяла свою чашку.

— Подождите немножечко, — пробормотала она, торопливо ставя кофейник на стол. — Ну зачем вы стоите, садитесь вот в это кресло. У меня есть до вас просьба...

С последними словами она опустила руку за какой-то надобностью под стол и взглянула на меня так умильно, что я в одно мгновение поняла смысл ее просьбы.

— Я не хочу, — поспешила я отказаться.

— Наташа! — прошептала она с легким укором, устремив на меня свой взгляд, подернутый мглой.

Я опустила глаза в чашку и молча начала пить кофе. Я не смотрела на нее в эту минуту; но видела, как она быстро встала, выбросила пачку пахитос на стол и, подойдя к моему креслу, так близко наклонилась ко мне, что горячее дыхание ее коснулось моего лица.

— Наташа! — голос был уже отрывист.

Я быстро отстранилась и взглянула. Глаза моей соблазнительницы заставили меня улыбнуться.

— Что вам угодно?

— Не упрямясь! — шепнула она мне вдруг с величайшей таинственностью.

Я не могла не улыбнуться; но отвернулась и молча принялась пить кофе.

— Послушайте, Наташа, — начала она снова убеждающим голосом. — В лета своей юности вы кашляли да курили со мной, а теперь начали только во вкус входить и бросили; на что это походит? Да слушайте же меня!

И, взяв меня за голову, она повернула обеими руками к себе мое лицо.

— Я слышу вас и не хочу; я пролью чашку на ваше платье!

Она быстро выпустила мою голову и встала.

— Это неразумно!

— Как вам угодно.

— Наташа, мой друг, — проговорила она с маленькой злостью, — вы когда-нибудь уморите себя в вашем аскетическом настроении!

И с последними словами она опять взяла меня за голову, заставляя взглянуть ей в глаза. Мне в эту минуту очень хотелось выплеснуть мой кофе на ее платье; слово «аскет» всегда выводило меня из терпения, в особенности когда оно произносилось Машей; однако ж я воздержалась и, поставив чашку на стол, схватила Машу за руки.

— Я хочу спросить у вас позволения, Маша, схватить вас за голову и повернуть вот так, взад и вперед, приятно вам будет?

Она с гордостью посмотрела на меня и, отходя от меня, еще раз пробормотала выразительно:

— Аскет!

— А вы, Маша, скоро пресытитесь жизнью, потому что не умеете находить прелести в том, что у вас под рукой, а гонитесь Бог знает за чем.

— Я не умею находить прелести в жизни? — спросила она, мгновенно остановившись и обернув ко мне свое надменное личико. — А капли росы? а сияние луны, полной и маленькой, а черная корова с большими рогами и всегда грязным хвостом? а мокрые куры? Я чуть было и не забыла их: ведь это все прелести, — сказала она с комическим умилением. — Кстати, брат просит у меня ваш портрет... К какому разряду прелестей отнесете вы это желание?

И, мельком взглянув на меня, она стала зажигать пахитоску, повернувшись ко мне боком. Я видела, что последний вопрос ее предложен мимоходом, и потому после некоторого размышления спросила спокойно:

— На что вашему брату мой портрет?

— Он хочет поставить его вместо образа и молиться ему, — ответила Маша, бросив струйку дыма и усаживаясь в кресла. — И вы смеете еще говорить, что я не нахожу прелести в жизни! — продолжала она, снова свернув на прежний предмет разговора. — Я поль-

зуюсь всем, чем могу, чтобы развлечь себя. У меня был знакомый старичок, его терпеть не могли все женщины, потому что у него было слишком чувствительное сердце. Вот он стал ухаживать и за мной, и каждое воскресенье, обыкновенно после обедни, заезжал к нам и просил у меня позволения поцеловать ножку, и я ему позволяла, а вы бы не позволили, — так? О да, я угадала, взгляд ваш мне очень понятен: вы сходитесь совершенно с братом. Он так же тяжело и трудно смотрит на жизнь.

— А брат ваш человек очень умный.

— О да, — ответила она с комической важностью, кланяясь мне. — Брат был членом ученого комитета при министерстве... министерстве... какие у нас есть министерства? финансов? вот тут где-то... потом он был председателем какого-то большого общества, участвовал в какой-то комиссии, писал чудеснейшие проекты, получал за них ордена. Я уверена, что брат пойдет далеко... Вот только этот гадкий развод с женой расстроил его совсем. Брат очень благороден и тверд, в нем есть что-то ваше: он такой же идеалист. Кто на его месте захотел бы развестись с такой богатой женой, которая давала ему все средства к роскошной жизни? А он развелся. Но над чем вы смеетесь? — заключила она, поднявшись и бросив пахитоску за окно.

— Разве какое бы ни было богатство могло заменить для вашего брата любовь! — проговорила я.

— А вы думаете, что не могло? — спросила меня Маша в свою очередь.

Я чувствовала, что невольно покраснела. Неужели вся эта рассеянность, небрежность, болтовня были притворство и Маша хотела только меня выпытать. Но что же я могла сказать?..

— Вы побледнели, вы о чем-то задумались, Наташа? — спросила она, быстро подходя ко мне.

— О геральдических знаках, которые вытиснены на всех конвертах и бумагах вашего брата, — ответила я, взглянув ей в лицо.

Мой ответ произвел желанное действие: она открыла было рот, как будто с намерением сказать что-то, но потом опять закрыла его, покраснела и, усевшись в кресла, безмолвно подвинула к себе блюдо с цыплятами.

Не знаю, как Маша, но я осталась очень довольна результатом этого разговора. Положим даже, что она без всякой задней мысли хотела выведать и мое мнение об ее брате, но одно то, что мое имя и имя Белогородского частенько смешивались на ее языке, уже производило на меня неприятное впечатление, какие бы мысли ни были у нее насчет меня; но, раз высказав ей свое мнение об ее брате, я могла уже спокойно выслушивать все ее разговоры о нем.

Я смотрела на обескураженную Машу с невольным участием. Она уписывала цыплят с аппетитом школьника на каникулах. Только глаза, ярко блиставшие, говорили, что мысли ее вовсе не гармонировали с занятием ее рта.

Несколько раз она повертывала голову к дверям, как будто прислушиваясь к чему; но в коридоре все было тихо; наконец она бросила салфетку на стол и встала.

— Знаете вы Иванова? — спросила она, остановившись как будто в раздумьи перед столом.

— Ивановых много здесь.

— Записчика, писчика, прикащика, что-то вот такое. Одним словом, у него семь человек детей, он ходит в сюртуке.

— Знаю.

Она опустила глаза и на мгновенье сжала рот.

— А знаете ли вы, что ваш Зарятин выгнал его сегодня из службы?..

И черные глаза пытливо устремились на мое лицо исподлобья. Но я тоже не опустила глаз и прямо смотрела ей в лицо.

— У него семь человек детей, — продолжала Маша, не трогаясь с места, — он калека, жил одним жалованьем; что он будет делать теперь?

Не поднимая головы, она с последними словами подошла ко мне и села на ручку моего кресла.

— Вот что, Наташа, — сказала она, как будто нерешительно, — попросите вашего родственника сжалиться над бедным человеком.

— Отчего же вы сами не хотите этого сделать?

— Да Зарятин ко мне не ходит. Второй месяц он мне глаз не кажет.

— Пошлите за ним.

— Фи, формализм! Для вас он просто сделает. Или вы боитесь отказа?

Я кивнула головой.

— Были примеры? — прошептала она, и на лице ее сверкнул веселый смех.

Размыслив, я не нашла ничего предосудительного рассказать ей, как год тому назад я рискнула было у Александра Сергеевича на подобную же просьбу; и хотя в тот раз он уважил ее, но сказал мне, чтоб я не вмешивалась не в свои дела и что он делает это для меня в первый и последний раз: с тех пор рот мой не открывался, да и не откроется перед ним ни за одного служащего.

— Бедная, бедная, — заговорила Маша с участием, выслушав меня. — О, какой он нехороший человек! А я еще просила вас поговорить с ним... Нет, не говорите ничего. Я сама поговорю. Когда он к вам будет? — спросила она после минутной задумчивости.

— Я, право, не знаю; может быть, он уже и был у меня.

Приложив пальчик к губам, она опять задумалась, но через минуту взглянула на меня, засмеялась и попросила меня написать записку Лизе, чтобы та уведомила, был ли у меня Александр Сергеевич, и если был, то когда хотел прийти. Я не нашла ничего неисполнимого в этой просьбе и беспрекословно, взяв со стола лист бумаги, написала записку.

— А если он позовет вас к себе? — спросила я Машу.

— Ну так что же!.. — отвечала она. — Я узнаю только, когда вы будете у него, и зайду к нему в это время.

И, встряхнув локонами, кивнув мне головкой с улыбкой, она скрылась из комнаты.

Не успела я еще отдать себе отчета в неожиданной решимости Маши идти к управляющему, на которого она обыкновенно смотрела свысока, как в коридоре раздались звонкие шаги и в отворившихся дверях появился Белоградский. Нельзя было не заметить с первого взгляда, что он, как говорится, был не в своей тарелке. В поклоне его была сухая вежливость, во взгляде холодность, в выражении лица формальность: он пришел как будто по обязанности. Мое намерение расспросить его о вчерашнем разговоре с Александром Сергеевичем при первом взгляде на его джентльменскую наружность уползло обратно в сердце. Я сидела в креслах, притихнув, и безмолвно следила, как он с опущенными глазами подходил к столу и, не взглянув на меня, молча занял одно из кресел. Смотря на него, я перестала есть, но он не заметил этого. Не разжимая сжатого рта, он сперва отрезал себе кусок говядины, потом взял цыпленка и начал есть. «Что с ним?.. — думала я. — Вчера мы расстались, кажется, друзьями?..»

Но, как бы то ни было, сидеть против него неподвижно я не нашла для себя удобным, и, понемногу отодвинув стул от стола, я наконец встала. Темно-серые глаза поднялись на меня с ледяным равнодушием.

— Вы завтракали?

— Да.

За этим учтиво-холодным вопросом глаза снова опустились на стол, и рука протянулась за другой тарелкой. Минута эта показалась мне удобной, несмотря на его непонятную вежливость, которую я напрасно старалась объяснить, я, вся вспыхнув, с трепещущим сердцем спросила:

— Можно сказать вам несколько слов?

Он медленно положил салфетку на стол, и, взглянув на меня вопросительно, слегка поклонился мне.

— Вы сказали Александру Сергеевичу о том, что я вчера была у вас?

Я сознаюсь, вопрос мой был груб, неудачен; но все же я не ожидала этого замораживающего кровь удивления, которое выразилось во взгляде Белоградского.

— Вы не поручали мне этого?

Другая на моем месте, конечно, умолкла бы от одного его взгляда, не говоря уже о тоне его вопроса; но я, сообразив в одно мгновение, что глупо отступить, когда было начато, пошла по своему обыкновению вперед:

— Если вы ничего не сказали, то я попрошу вас ничего и не говорить. Может быть, моя просьба совершенно лишняя, но по крайней мере я буду спокойна.

Говоря это, я видела, как холодное удивление сменялось в глазах Белоградского простым недоумением, как брови его поднялись и все лицо заходило... Но вошла Маша, и он, сжав рот, преспокойно взялся за свою вилку.

— А, Joséphe *, ты здесь! — сказала она, подходя к столу. — Я была у тети, просила у нее прощения, как ты хотел; она простила меня.

Он быстро протянул ей руку, и глаза его блеснули ласковой улыбкой.

— Но и ты скажи ей, — продолжала Маша с упрямством шаловливого ребенка, надув губки, — чтоб она не оскорбляла меня, — я этого хочу, Joséphe. Представьте себе, Наташа... Можно сказать это ей? — спросила брата.

Голос ее был взволнован, лицо пылало; но все это можно было отнести к воспоминанию об оскорблении, нанесенном ей тетушкой.

— Это твое дело, — отвечал брат, с чуть заметным удивлением взглянув на сестру.

— Тете вообразилось, Наташа, будто... будто я занята Зарятиным... Не обидно ли это? — отнеслась она к брату.

Я покраснела и опустила глаза, но совсем не оттого, что голос Маши звучал поражающим презрением. Всякое презрение дурно гармонировало с личностью Александра Сергеевича, по крайней мере, в моих глазах; я задумалась о том, какие основания имела Горская для своего предположения.

— Такого рода подозрения, — вмешался Белогорский в разговор, — очень оскорбительны; это понятно. Я поговорю с тетушкой. Но что касается до Зарятина, — прибавил он с холодным достоинством, — если б Александр Сергеевич сделал честь тебе...

— Честь? — вскричала с гордостью Маша, и ноздри ее поднялись.

— Если бы, — продолжал брат тем же ровным, тихим голосом, переждав вспышку сестры, — он сделал

* Осип (фр.).

честь мне желанием вступить со мной в родство, мне бы очень польстило это.

Невыразимое негодование сжало рот Маши на несколько минут; наконец она выговорила, не скрывая своей насмешки:

— Ты одемократизировался здесь; *je vous en fais mes compliments!* *

— Я не понимаю тебя, — сказал брат холодно, положив ножик и вилку на стол и слегка сморщив лоб, который покрылся яркой краской. — Что хочешь ты сказать этим и когда я был других понятий? Наконец, что это за слово «одемократизировался»?

— О, — сказала Маша, — я не хотела тебя обидеть, прости меня! Я говорила только о моем управляющем...

— Тс!.. — сказал брат, мгновенно смягчив голос. — Сам я не обижен. Но я глубоко уважаю Зарятина, и твои легкомысленные отзывы о нем мне неприятны.

— Но если это я чувствую, — возразила Маша опять с гордостью.

Брат не был, как видно, из поборников свободы чувства. Во взгляде, брошенном на сестру, блеснули холодность, досада, удивление и грусть.

— Человек, действующий только в силу личных ощущений, — проговорил он, — не совсем заслуживает уважения. Но ты оставила твою гостью. Надоело вам слушать наши споры? — отнесся он ко мне с своим мягким взглядом.

Он нередко бывал очень привлекателен, как, например, в эту минуту. Я поклонилась ему. А Маша, стоя среди комнаты, о чем-то задумалась. Мысли ее, как заметно, были беспокойны. Мне в первый раз пришлось высмотреть Машу со стороны ее барской спеси, и не скажу, чтоб она показалась мне привлекательной в

* Вот тебе мои комплименты (фр.).

этом виде. Но вот, спустя довольно много времени, Маша тихо подошла к брату и, положив руку на его плечо, ласково заглянула ему в глаза. Он так же ласково ответил на этот взгляд. Тогда Маша сказала, что она, пожалуй, не станет при брате ничего говорить о своем управляющем, пусть только брат скажет тете, что она, Маша, идет сегодня к Зарятину пить чай. Так как эти слова вызвали удивленный взгляд Белоградского, то Маша в коротких словах объяснила ему содержание и цель нашей записки к Лизе. После этого не замедлил явиться слуга с запиской от Лизы. Маша, предупредив меня, с живостью развернула записку и получила за эту бесцеремонность легкий удар по руке от брата, который в то же мгновение, подняв выпавшую из рук сестры записку, подал ее мне. Я с живейшим удовольствием открыла письмо Лизы, которая, выучившись грамоте только у меня кое-как, писала так, что я едва могла прочитать ее письма. Она уведомляла меня, что Александр Сергеевич заходил ко мне два раза: в первый раз как только я ушла к обедне, а в другой раз после обедни, и наконец велел мне сказать, что он ждет меня к себе в семь часов. Читая про себя это известие, я невольно краснела: он любил меня, как мне казалось, гораздо больше, чем я любила его. Мне пришли на ум разные романы, в которых любовь женщины описывалась нежнее, пламеннее, глубже, чем любовь мужчины. Припоминая эту безграничную любовь женщины, я оглядывалась на себя и невольно стыдилась.

Маша желала узнать, о чем я задумалась. Я улыбнулась и сказала ей, что думаю о том, как мы пойдем к Александру Сергеевичу.

— А вы уж и испугались? — вскричала она с радостной улыбкой. — Трусиха! А вы обедаете у нас?

— С удовольствием! — отвечала я.

В былое время, когда мы жили вместе с Александром Сергеевичем, помещение наше если и не было роскошно, то отличалось большим удобством. Везде чисто, тепло, в камине постоянный огонь, в гостиной на столиках какие-нибудь женские рукоделия, в кабинете Александра Сергеевича были на окнах цветы, зеленые шторы и на полу ковер! Все это было так, когда мать моя хозяйничала у Александра Сергеевича, но с тех пор протекло много времени и произошло много перемен. После моего перемещения в школу он не нашел для себя удобным жить в опустевшем флигеле и занял квартиру на берегу около моста.

Меблировка всех трех комнат, из которых состояло помещение моего жениха, носила на себе отпечаток его склонностей и характера. Комнаты высокие, светлые, чистые, но были убраны донельзя просто и потому глядели пустынными. В зале двенадцать стульев с ремненными подушками, два столика и больше ровно ничего. Гостиной вовсе не было. Кабинет — большая четырехугольная комната, по крайней мере вдвое больше залы, отличался тем же, если позволительно сказать, мужским характером. В одном углу модели различных машин; в другом, на небольшом столике, груды бумаг и рисунков; по одной стене черные шкафы с книгами, по другой тянулся громадный письменный стол. На нем не было ни одной красивой вещицы, кроме фотографического портрета моей матери; зато тут было много карандашей, перьев, перочинных ножигов, инструментов, маленьких машинок; тут же были брошены пистолеты и широкий нож, с которыми Александр Сергеевич ездил в дорогу. И несмотря на все это, стол все еще казался пустым.

Когда на башне пробило семь часов, я вышла из

своих ворот и направилась к этому маленькому домику в три окна, выходящие на мост. Всю дорогу я шла с опущенной головой, размышляя об известии, сообщенном мне Белоградским. Новость, принесенная мне вчера Лизой, оказалась, сверх всякого ожидания, достоверной. Несколько человек из мастеровых, самых неисправных, действительно напали на управляющего около оврага. Им удалось остановить лошадей и убить ямщика, но этим и кончился весь их успех: Александр Сергеевич выстрелил в тех, которые держали лошадей: глаз его был меток, рука тверда, и несчастные разбежались. Только один, посмелее, задумавший было лезть в экипаж, попался в плен живым и был доставлен Александром Сергеевичем в завод. Все это рассказал мне Белоградский, удивляясь в то же время невозмутимому хладнокровию, с которым Александр Сергеевич, возвратившись домой, делал распоряжения насчет пойманного негодяя. Белоградский не видал Александра Сергеевича при возмущениях мастеровых, и потому немудрено, что эта безделица привела его в изумление. Но я не удивлялась; мне думалось только, как мы встретимся с ним после этого происшествия; намекнет ли он мне о нем, или пройдет молчанием, как дело не касающееся меня. Короткость давно исчезла из наших отношений, давно он говорил со мной на «вы», и нередко случалось так, что весь вечер, пока он сидит у меня, мы не скажем и двух слов и расстанемся с такой же молчаливой холодностью, с какой встретились.

На крыльце с четырьмя колоннами и довольно красивым фронтоном стоял служитель Александра Сергеевича. Солнечные лучи ударили ему прямо в лицо; но упрямый слуга, покорный как собака только своему господину, намеревался, казалось, переупрямить само солнце: чем прямее били ему в лицо лучи, тем шире он

открывал глаза. В этом споре с солнцем остальной мир должен был казаться ему слишком ничтожным, и, взбежав на лестницу, я принуждена была уже окликнуть его, чтоб обратить на себя его взгляд.

— Дома Александр Сергеевич?

Услышав мой голос, он сильно смутился. В глазах его, опустившихся на меня, блеснуло умиление, и широкое лицо его, с сильным знаком оспы, ослабилось самой сердечной улыбкой.

— Проходите, матушка Наталья Алексеевна, — говорил он с пренизкими поклонами, — милости просим. Дай вам Бог доброго здоровья, милости просим!

Не ответить улыбкой, ласковым словом на его поклон я считала для себя невозможным; и это заставило его еще шире открыть рот. Распахнув на две половинки двери, он торжественно ввел меня в переднюю, которая на этот раз была битком набита народом. Я увидела, что пришла слишком рано; но делать было нечего, возвращаться мне не хотелось.

Кроме мастеровых, стоявших в передней и занимавших почти половину залы, было еще несколько сюртуков; в одном из них я узнала члена конторы, товарища и приятеля Александра Сергеевича, потом двух механиков немцев. Раскланявшись со всеми этими господами, я пробралась к самому дальнему окну и остановилась около него.

В ту минуту, как я вошла в залу, Александр Сергеевич, в своем синем сюртуке, застегнутом наглухо, прислонившись к косяку окна, отчетливо объяснял мастеровым некоторые из положений девятнадцатого февраля. При моем входе голова его повернулась ко мне, и темно-русые брови приподнялись; но выражение лица не изменилось. Кивнув мне с невозмутимым равнодушием головой, он, не останавливаясь, с прежним спокойствием продолжал свою речь. Я была убеждена,

что он любит меня и любит со всею страстью своей глубокой природы; но никогда при встречах со мной я не замечала ни малейшего смущения на его лице. Теперь точно так же напрасно старалась я поймать в сурово-спокойных чертах его лица что-нибудь похожее на чувство. Александр Сергеевич был немного выше среднего роста, но сложен чрезвычайно сильно: с широкой грудью, мускулистыми руками, с сильно развитой шеей, он казался с первого взгляда богатырем, и действительно, поднять десять пудов ничего не стоило для него. Еще при жизни моей матери он как-то за столом, смеясь, говорил нам, что если б он имел малейшее поползновение к драчливости, то давным-давно прослыл бы Ерусламом Лазаревичем. Голос его был постоянно ровен; в продолжении шести лет я видела его не более двух раз вышедшим из себя, но и тогда он не кричал, а только понижал голос. Коротко остриженные каштановые волосы оттеняли чистый лоб с заметным углублением посередине. Но в особенности у Александра Сергеевича были замечательны глаза. В них не столько виднелось пронизательности, сколько упорства, не столько нападающей силы, сколько отражающей. Они всегда смотрели прямо, и, не знаю, была ли такая сила, которая могла бы заставить их опуститься. Объясняя теперь мастеровым их обязанности в отношении к господину, он смотрел на них прямо и твердо, во взгляде его виделся не начальник, но человек с характером и крепкой верой в себя. Дело шло, как я поняла, о раскладке работ, от которых мастеровые отказались.

Лишь только голос управляющего умолк, в толпе раздалась полувопросы, полуответы, последовало чесанье затылков и совещания друг с другом.

— Да вишь ты, к господину тянет, — сказал кто-то в толпе.

— Вестимо дело, не за нас стоит: рука руку моет! — отозвался другой, и все смолкло.

Я быстро взглянула на Александра Сергеевича. Я знала, что обидеться этой недоверчивостью к нему он не мог; но в то же время я знала, что толковать много с людьми он не любил, и я ждала... Он пристальнее посмотрел на мужиков и после некоторого молчания проговорил с невозмутимым хладнокровием:

— Ну, тяну так тяну! Ведь я и служу не вам, а господину, от господина и жалованье беру. Мне нужны ваши руки, ваша работа на этот год. Я говорю: «Так государь положил», вы не верите мне — не верьте. Стало быть, толковать мне с вами нечего. Ступайте к мировому. Тот служит от царя, у того и медаль царская на шее. Он растолкует вам все это. Выберите из себя грамотных, и мировой вместе с ними прочитает вам царскую волю.

Окончив свой совет, Александр Сергеевич мимоходом взглянул на меня и потом опять устремил свой упорный взгляд на толпу. Мужички знали, с кем имеют дело, знали, что теперь им осталось только убираться, и один по одному стали выходить из передней.

— Народ везде народ, — начал Александр Сергеевич, проводив глазами последнего мастерового и не обращаясь прямо ни к кому. — Мало разжевать, надо и в рот положить. Убедишь — хорошо, не убедишь — из кожи лезет.

Член конторы, маленький, толстенький человек с веселой физиономией и бойкими глазами, потирая руки, напомнил Александру Сергеевичу то время, как народ возненавидел его за то, что он не любил много толковать с ними.

Морщины пробежали по гладкому лбу моего жениха, и, устремив глаза в окно, он бесцельно засмотрелся вдаль. Конечно, в эту минуту он думал не о возмуще-

ниях народа, а о последствиях их. В то время он принимал всевозможные меры, чтобы выгородить бунтовщиков пред администрацией, но и ссылка четырех человек произвела на него глубокое впечатление. Целую неделю он ходил как убитый, и то, что не могли вынудить у него возмущения, вынудила эта ссылка: он перед всякой замышляемой им вновь мерой по заводууправлению старался убеждать народ к соглашению.

— Мне надо с вами поговорить, — сказал он члену конторы, когда тот взялся за фуражку и хотел было уходить вместе с прочими.

Тот остался.

Александр Сергеевич опять пробыл некоторое время в размышлении.

— А вчера ко мне, Иван Яковлевич, приходил Белоградский, — начал он с расстановкой и как будто в раздумьи, — и между прочим он просил меня остаться здесь управляющим еще хоть на год. Я не дал ему слова и хорошо сделал, как вижу теперь. Я хочу просить вас, — если Белоградский не представит своего управляющего, — на что трудно надеяться, — заменить меня. Половина моего капитала заложена в этом заводе, и я желал бы, чтоб он процветал.

Маленький человек оторопел от этого предложения. Он сначала покраснел, потом побледнел, но не переставал улыбаться и потирать руки.

— Обязанности... обязанности! — бормотал он. — Тут нужен ум, нужны характер, сила.

— Э, полноте, что за отговорки! — возразил Александр Сергеевич, сдвинув свои длинные брови, но дружеским тоном. — Ведь вы со мной делали дело наполовину; вас заменить некем. Пожалуйста, подумайте хорошенько; а я тем временем поговорю с Белоградским... Пускай подыскивает управляющего, найдет дрянного — отстраним; ну, а хорошего ему не найти.

Я и прежде метил на вас, а теперь вам уже не увернуться от меня. Выручайте! Свой своему поневоле брат. Через неделю я буду ждать ответа от вас.

Член конторы быстро возразил, что думать тут не о чем: если дорогой Александр Сергеевич надеется на него, то он никак не откажется от жалования в пятнадцать тысяч, и вслед за этим он начал благодарить Александра Сергеевича. К несчастью, дорогой Александр Сергеевич не понимал благодарностей; по крайней мере, по его словам, он всегда и все делал для самого себя. Поэтому признательные выражения маленького человечка заставили моего суженого покраснеть и нахмуриться. Тот заметил это и в одно мгновение переменял разговор и спросил с умилением:

— Почему бы самому Александру Сергеевичу не остаться здесь?

— А слышали вы, что тут толковалось сегодня? — спросил он в раздумьи. — Я тяну на сторону господина, обманываю их! Интересы разрознились, вот что дурно...

Последние слова он договаривал, смотря уже бесцельно в окно и окончательно погрузясь в размышление. Член конторы вынул табакерку, щелкнул по ней пальцем и понюхал аппетитно табачку; наконец он взялся за фуражку и стал прощаться, Александр Сергеевич проводил его в переднюю. Он любил этого товарища своего по службе. Я тоже любила старика за его ровный, неизменяемый характер. Какие бы ни постигли его несчастья и тревожения, никогда, по словам его жены, не изменялось доброе, веселое расположение его духа; он оживлял и учил терпению всю свою семью, которая обожала его. Отличительной чертой его характера было желание всем угодить: раскритичится ли годово́й ребенок, он бежит и к нему, берет его на руки и подпрыгивает с ним по комнате; сгрустнется ли ко-

му-нибудь из домашних, он успокаивался только тогда, когда все с улыбкой смотрели на него. Да, я очень любила этого человека и очень довольна осталась тем, что Александр Сергеевич выбрал его, а не кого-нибудь другого в управляющие!

Александр Сергеевич скоро возвратился из передней и остановился на пороге.

— Здравствуйте, Наталья Алексеевна, — сказал он вполголоса.

Глаза его, пристальные и твердые, долго рассматривали мою наружность, потом он подвинул для меня стул и, усевшись сам, повернулся ко мне лицом.

— Не подойдет Наталья Алексеевна поздороваться ко мне? — проговорил он.

После минутного размышления я нерешительно приблизилась к нему и, протянув руку, наклонила лоб к его губам.

— Вы самое недоверчивое и упрямое существо на свете, — говорил он в то время, как одна его рука горячо сжала мою руку, другая неожиданно-негаданно очутилась у меня на плече.

Пожалуй, движение это, если взглянуть на него с помощью холодного рассудка, было очень естественно, ведь он мой жених... Но все-таки в эту минуту я не приготовилась к нежностям, и потому немудрено, что, увернувшись быстро от готовившихся мне объятий, я задрожала и, кажется, побледнела. Через несколько мгновений я опомнилась; но Александр Сергеевич уже неподвижно сидел, облокотившись на стол, и, подперши щеку рукой, бесцельно глядел в окно.

— Когда же наступит конец всему этому? — сказал он после долгого молчания, не изменяя направления своих взоров.

Рассматривая свои ногти, я молчала.

— Решения вашего процесса с братом я жду со

дня на день. Неужели вы и женой станете меня встречать так же?

— Виновата, — пробормотала я.

— Виновата! — повторил он, снова облокотившись на стол. — Это я слышу уже не в первый раз и все жду, когда наступит конец этой вашей вине. Вы смотрите на меня, как на человека совсем чужого. И чем дальше, тем холоднее становитесь вы ко мне. Ведь это не может продолжаться таким образом, и я вас спрашиваю, когда же придет всему этому конец?

С последними словами, высказанными тем же ровным голосом, каким всегда отличался его разговор, глаза его твердые, как сталь, двинулись с окна на мое лицо и тяжело остановились на нем.

— Мое желание или нежелание выйти за вас замуж, — отвечала я немедленно, смотря ему на этот раз прямо в лицо, — мне кажется, предмет для вас вовсе посторонний.

Разумеется, я менее всего ожидала смягчить его этим ответом; однако ж улыбка, к великому моему удивлению, блеснула в суровых чертах моего суженого, и взгляд его синих глаз подернулся нежностью.

— Что это? колкость? — И после минутного созерцания моей физиономии он прибавил: — Да, Наталья Алексеевна, я не романтик, и разыгрывать роль жалостных героев слезных мелодрам я не умею; но скажу вам только одно: волей или неволей, а нам с вами придется обвенчаться. Если бы все девушки захотели поступать по-вашему, то... что бы вышло? Полноте, Наталья Алексеевна: страшна неизвестность, неведение, а как выйдете замуж, так и не захотите другой жизни: это закон природы.

— Вы напрасно убеждаете меня, — возразила я, вспыхнув, — я добровольно согласилась сделаться вашей женой.

Глаза его пристально смотрели на меня.

— Силой заставить меня идти замуж никто не может.

— Стало быть, вы добровольно хотите выйти за меня замуж?

— Хочу, — сказала я твердо, глубоко задетая его увещаниями.

Я чувствовала, что руки мои дрожат, щеки пылают. Не знаю, заметил ли он мое волнение; только, смотря на мое лицо, он слегка приподнял свои длинные брови и потом с невозмутимым хладнокровием занялся перелистыванием бумаг, лежавших перед ним на столе.

«Да, — убеждала я себя, — я добровольно выхожу за него замуж. Правда, год тому назад он в продолжение целой недели будто молотом выколачивал мое согласие; но потом я сама согласилась с ним. Сперва он убедил меня в том, что я ни с кем не буду счастлива, кроме него, потому что при моей гордости первая измена мужа убьет меня; я согласилась и с тем, что в девушках оставаться неудобно, что положение одинокой девушки у нас — положение печальное...»

Он уже давно не перелистывал бумаги и, скрестив на груди руки, сидел, откинувшись на спинку кресел.

— Вчера ко мне являлся Белоградский, — начал он, глядя в окно, — и просил меня объяснить ему смысл моих отношений к вам...

Я насторожила слух.

— И что же вы? — спросила я, видя, что он остановился и безмолвно созерцает меня.

— Предмет этот, — продолжал он, не спуская с меня глаз, — ни с какой стороны не может касаться Белоградского, да оно потом и объяснилось так, что лично ему никакого нет дела до вас; стало быть, он старался тут для сестры... Будь я на вашем месте, На-

талья Алексеевна, я не стал бы ходить к тем людям, которые справляются насчет меня.

— Мне кажется, лучше всего объяснить мои настоящие отношения к вам, — отвечала я, вспомнив непонятную холодность Белоградского за завтраком.

— Зачем это?

— Зачем и скрывать?

По лбу Александра Сергеевича пробежали морщины. Сколько он был равнодушен к толкам о себе, столько же не любил подавать и повод к ним; кажется, это больше всего заставило его настаивать на сохранении в тайне наших отношений.

— Свадьба все объяснит, — сказал он наконец.

— Но слухи...

— Э, полноте, мой друг! Дурно, если человек сам бросает свое имя на жертву грязным языкам, как кость собакам. Но в нашей воле поставить себя выше свиста пьяной толпы: надо знать только, зачем и в силу чего идешь по той, а не по этой дороге.

С последними словами он медленно поднялся с места и пригласил меня в кабинет. Тут он придвинул мне кресло и, подав лежавшую на столе бумагу, попросил подписать ее. Мне не раз приходилось подписывать разные бумаги после смерти моей матери. Я немедленно повиновалась, безмолвно села в кресло и, взявшись за перо, перевернула лист; но лишь только глаза мои остановились на слове «доверенность», написанном в заголовке большими буквами, как рука моего жениха протянулась через мое плечо и закрыла лист.

— Вы не доверяете мне? — раздался над моим ухом ровный голос.

— Вы не приказываете мне читать? — обернулась я быстро к нему.

Не отнимая руки от листа, он повторил с свойственной ему невозмутимостью:

— Я прошу вас подписать.

Само собой разумеется, что там, где дело касалось его чести, я верила ему безгранично. Немедленно подписав лист, я встала с кресла, но не могла удержаться, чтобы не кольнуть его.

— Мне не хотелось разуверить вас в вашем самодержавии.

Легкий румянец выступил на его щеках. Рассмотрев внимательно мою подпись, он свернул лист и, положив его в ящик, повернулся ко мне.

— Я желал бы пить чай с вами, но не хочу стеснять вашей свободы; вы можете и домой идти, и оставаться у меня пить чай.

Я улыбнулась.

— Улыбка хороша; и вполне характеризует вас, самостоятельная особа! Я приглашаю вас остаться пить чай со мной.

Я наклонила голову в знак согласия, а он, посмотрев на меня еще несколько мгновений, вынул сигару и принялся обрезать. Лучи заходящего солнца падали прямо на его суровый профиль и обливали его каким-то кровавым блеском. Долго смотреть на моего жениха я никогда не могла: он был красив, но в моем воображении рисовался всегда в какой-нибудь драматической сцене. Я отвернулась от него и стала рассматривать в углу паутину, которая серебрилась и алела на лучах солнца.

— Я очень желал бы, — начал он, взяв со стола газету и усаживаясь к окну, — чтобы вы сами распорядились чаем: ключи от шкапулок вы возьмете у Василия.

Я молча встала, чтобы идти к Василию приказать ему ставить самовар; но лишь только я взялась за ручку замка, как за дверьми послышался звонкий голосок Маши.

— Можно войти? Можно?

Я обернулась к Александру Сергеевичу. При звуках Машина голоса он слегка сдвинул брови и, положив газету на стол, пристально взглянул на меня.

— Она ждет... — сказала я.

Он наклонил голову, и я отворила дверь. Гостья, юная и блистательная, в одно мгновение озарила сиянием всю комнату. Александр Сергеевич поднялся с почтительным поклоном.

— А я к вам с просьбой, Александр Сергеевич, — начала Маша, смеясь и подходя к нему. — Наташа, знаете вы Иванова? Он бедный человек, очень бедный... Я пришла с ним. Какого вы мнения об нем, Наташа? Хорошего... так?.. Александр Сергеевич, верно, умиляется...

Слушая ее, Александр Сергеевич внимательно осматривал ее, как будто отдавая себе отчет в этом неожиданном появлении.

— Стало быть, вы за этим собственно и пожаловали ко мне? — спросил он после довольно долгого размышления.

— Но он бедный... бедный, — добавила она, покраснев.

Он не спускал с ее лица своих упорных глаз.

— Вы умилитесь над ним, — сказала она умоляющим голосом, который всегда растрогивал ее брата. Но Александра Сергеевича трудно было растрогать не только выражением глаз и тоном голоса, которые он честил кокетством, но даже словами. Опустив глаза на пол, он сидел неподвижно.

— Я пришла с ним, — продолжала Маша уже робко, — он стоит тут... в зале...

— Верно, вы не знаете, за что он сменен, — сказал наконец Александр Сергеевич ровным и тихим голосом. — А то наверное не стали бы просить за мошенника...

— Но...

— Я слушаю вас, — сказал он с невозмутимым хладнокровием, мгновенно прервав свою речь.

— Он очень бедный...

— Это уже говорили; я слушаю вас.

Маша сконфузилась и умолкла.

— Василий, — сказал он после минутного молчания, возвысив голос и медленно отвертываясь от гостя.

Через несколько мгновений сначала широкое красное лицо, а потом и неуклюжая фигура Василия появились в дверях.

— Тут в зале стоит один господин, который приходит сегодня ко мне в третий раз. Переливать с ним из пустого в порожнее мне нет времени; я это говорил ему, и ты слышал. Теперь я отдаю его тебе на поруки. Ежели я еще раз встречу его у себя, ты будешь отвечать мне. Никогда не надо, — отнесся он снова к Маше, после того как слуга вышел, — просить о том, чего не знаем хорошенько. Ходатайства и просьбы такого рода, как ваши, показывают только обидную недоверчивость к человеку, которого мы просим.

Маша закусила губку и засмотрелась в окно. Мне сделалось неловко за нее и стало жаль Иванова. Я не выдержала.

— У Иванова большое семейство, — сказала я, стараясь казаться спокойной. — Надо быть не человеком, чтобы не принимать этого во внимание... Каждая из нас может быть матерью, каждый из мужчин может быть отцом.

Он медленно повернул ко мне свое холодное лицо.

— Повторите, Наталья Алексеевна, что вы сказали.

Суровый человек! Отказ сам в себе заключает слишком много горечи, и незачем поправлять его пряностями, а он не стеснялся надавать своему слуге бесчеловечных приказаний!.. Что мне было отвечать ему?

Он не мог не слышать того, что я сказала, но если он слышал и не понял, то мои объяснения покажут только, как далеки мои мысли от его мнений.

— Что вы сказали? — повторил он так же ровно и тихо, вложив только в свой голос сильную ноту упорства и настойчивости.

— Ничего, — отвечала я, взглянув ему в лицо.

Глаза его потускнели, на лоб набежали морщины, и, облокотившись на окно, он беспокойно начал глядеть на мост.

— Всякий человек, — начал он холодно, не изменяя своего положения, — всякий человек, живущий в обществе, пожинает то, что посеет. Один живет во имя животных потребностей своей натуры, но в общем итоге мы все живем для себя. Тот согласит свою пользу с пользой общества, другой не сумеет этого сделать и пеняй на себя. Всякий по мере своих сил и способностей пользуется и благами жизни. Ежели от всех наших стараний мы получим нуль, пенять не на кого: значит, не сумели добиться единицы. Вся вина падает на нас самих, никто не виноват в том, что я не мог устроиться так, как мне хотелось. Сострадание — доброе качество в человеке, но качество слишком гибкое: стоит только потянуть ему не в ту сторону, как раз причинишь вред не только себе, но и целому обществу, — таков закон жизни.

Хотя он окончил эту тираду так же, как говорил, то есть не взглянув на нас, но я поняла, к кому она относилась; кроме меня, он никому не любил давать объяснений, и я возразила:

— Стало быть, всякий человек, который протестует против невежества, виноват в том, что не сумел согласить своей пользы с пользой общества.

Он оглянулся и пристально посмотрел на меня.

— Мне сдается, вы отвечаете на свою мысль, а не

на мои слова. Тот человек, который решится идти против невежества, поверьте, найдет и утешение в себе. Речь идет не об этих людях.

— Виновата, — сказала я, покраснев. — Я хотела спросить вот что: стало быть, женщины и дети устраивают также сами для себя жизнь в обществе?

Он безмолвно посмотрел на меня; оттенок глаз его перелился в черный цвет, ноздри раздулись, рука протянулась к фуражке.

— Что же вам угодно, — спросил он наконец, и голос его зазвенел, — чтоб я сделался соучастником в воровстве?

Я вспыхнула и промолчала.

— Я вас просил не вмешиваться не в свои дела, — сказал он твердо, но побледнел, и побелевшие губы его задрожали. — Повторяю вам еще раз: ваши просьбы утомляют и бесят меня... Мы можем этак серьезно поссориться.

И, поднявшись со стула, он закинул руки за спину, выпрямился во весь рост и встал лицом к окну, неподвижно как столб.

До сих пор я не видала его в таком раздражении, и раздражении на меня. Он и прежде сердился на меня, но сердце его было сердце любящего человека, оскорбленного холодностью любимого существа. Кроме этих вспышек, никогда я не видала ни одного холодного взгляда от него, а теперь вдруг ни с того, ни с сего... Что с ним? Не мог ли он сказать и мне так же равнодушно, как Маше, что исполнить мое ходатайство не может, а то вдруг задрожал от бешенства...

— О чем вы задумались? — спросила Маша, взглянув мне с улыбкой в глаза.

— О своей судьбе, — отвечала я после минутного молчания.

Он стоял, не обертываясь.

— Я хочу пить чай у вас, — сказала она с выразительным движением бровей.

— Я дала слово Александру Сергеевичу пить чай у него... Оставайтесь здесь; вы сделаете мне удовольствие.

— Как Александр Сергеевич...

Он повернулся к нам.

— Милости прошу, — сказал он Маше. — Наталья Алексеевна станет угощать вас чаем, а я тем временем схожу на фабрики.

— Я вас стесняю, я уйду? — пропела Маша тоненьким голоском.

— Пожалуйста, без церемоний, — сказал он, слегка сдвинув брови. — Я человек простой, мне необходимо побывать на фабриках... Вы сделаете мне одолжение, оставшись с моею гостьей.

С этими словами он поклонился Маше и, не посмотрев на меня, оставил комнату.

Лишь только он показался на мосту, Маша залилась детским хохотом.

— Что бы ему, Наташа, быть первым человеком? — вскричала она.

— Адамом? — спросила я в недоумении.

— Ну да! Он ни за что не откусил бы от яблока, поданного Евой. А как гадко у этого Адама, — прибавила она, оглядываясь. — Я ни за что не останусь здесь пить чай — очень нужно! Рассердился он на вас, Наташа? — спросила она, снова засмеявшись.

— Я тут ничего не вижу смешного, Маша.

— Простите меня, — сказала она. — А вам надо будет извиниться?.. Какая злая улыбка у вас, chère amie*.

* Дорогая подруга (фр.).

Я промолчала и стала надевать перчатки.

— Вы извинитесь перед ним? — спросила она с настойчивым любопытством.

— В чем?

— В вашей просьбе.

— Значит, и вам надо извиниться.

Улыбка скользнула по ее лицу.

— Во-первых, я ему не родственница, а во-вторых, он на меня, вы видели, не рассердился.

— А я не считаю себя виноватой, — сказала я равнодушно, отвертываясь.

— Вы думаете, он будет извиняться перед вами?

— Если сочтет себя виноватым, разумеется.

Она опять залилась своим звонким смехом.

— Он извиняться! Ха, ха, ха! Желала бы я видеть, как он станет извиняться.

Я не стала спорить с ней и молчала, пока она, закутив пахитоску, не подошла к его столу и не стала разбирать бумаги; тогда я быстро остановила ее.

— Не трогайте, Маша. Он рассердится и навсегда запрет для вас свой кабинет.

Она бросила бумаги как обожженная и, взглянув на меня, засмеялась.

— А жаль Иванова, Наташа!.. Что я могу сделать для него? Мне дают очень мало денег на расходы; все долги, долги, вечные долги! Пойдемте ко мне пить чай?

— Покорно благодарю! мне ближе домой.

— Брат будет рад вам.

«Опять брат! Что это такое?» — подумала я с неудовольствием и молча поклонилась ей.

— Какой серьезный поклон! Я говорю: вы не умеете жить. Но пойдете вы со мной или останетесь здесь? — спросила она, выбросив пахитоску за окно.

Остаться мне было незачем, и я вышла вслед за

Машей. Она подсмеивалась и надо мной, и над собой; величала себя и меня изгнанницами; наконец, выйдя на крыльцо, она протянула мне руку и еще раз позвала меня к себе.

— Благодарю вас, — сказала я еще раз, — мне нужно домой.

— Домой?

— Да.

Она взглянула в синевшую над нами глубину неба, улыбнулась, вздохнула и, протянув мне руку, кивнула головой: — *Au revoir!* *.

В одно мгновение она сбежала по ступеням, а в другое была уже за оградой. Но я, размышляя о своей судьбе, все еще стояла посреди двора. Александр Сергеевич не был вспыльчив; поэтому всякое слово его невольно взвешивалось. «Задрожал, побледнел, — думала я, — что с ним?» Учить его, показывать ему несправедливость его поступков я была не намерена, хоть и готовилась быть его женой. Он не ребенок, чуть не вдвое старше меня, и с чего бы я приняла на себя роль ментора?... Но он все-таки был несправедлив ко мне...

В этих размышлениях я вышла за ворота, но размышления не покидали меня. Я все думала, как неприятно видеть бешенство близкого человека. Бояться его я никогда не боялась и теперь могла бы очень спокойно возвратиться к нему, подождать его возвращения и сказать ему: «Мне не нравится ваше обращение со мной; я не служанка вам; да и с служанками порядочные люди так не обходятся. Если вы хотите, чтоб я уважала вас, то прошу вас не принимать со мной этого готтентотского тона». Это, я понимала, было бы очень эффектно; но я не чувствовала оскорб-

* До свидания (фр.).

ления, и самый эффект придуманных мной слов разрушал силу их истины. Да они не скатились бы у меня благополучно с языка.

Я шла по мосту, опустив голову, и не заметила, как я перешла его и как очутилась на другой стороне реки. С той минуты, как мы расстались с Александром Сергеевичем, прошло более получаса, и потому я несколько не удивилась, увидев под горой его синий сюртук. Я шла тихо, не помышляя избегать встречи с ним, но также не держа в мысли остановиться или взглянуть на него. Мы скоро поровнялись, и когда я проходила мимо его, опустив голову, он вдруг остановился и спросил с своей обычной простотой:

— Вы, стало быть, не остались у меня пить чай?

— Нет, — ответила я так же просто.

Он повернулся и прировнял свой шаг к моему. Вплоть до моих ворот мы шли молча, но тут я остановилась и спросила его, куда он идет.

— К вам пить чай, — был спокойный ответ.

Я не сказала ни слова, и мы молча вошли в комнаты.

Весь этот вечер до одиннадцати часов он просидел у меня. Я поила его чаем, как всегда. Он так же, как всегда, сидел у окна, следил за мной своими синими глазами и молчал. Одним словом, вечер этот прошел так невозмутимо и тихо, как будто между нами ничего не происходило. Я не сочла нужным напоминать ему об его вспыльчивости, а он... он и не думал извиняться передо мной. Из этого я поняла, что он имел свои основания рассердиться на меня за мое ходатайство, но в чем состояли его основания — я не могла доискаться... Правда, он предупреждал меня, чтоб я никогда не просила его ни о чем, на ветер слова бросать он не любил. Но почему мои просьбы принимались им неприязненно, отчего они заключали в себе свойство

раздражать его, — этого, как я ни ломала себе голову, не могла понять в то время, и узнала уже после, да и то он высказался сам, к слову, мельком...

VI

«Chère amie *

Я хочу вас видеть, видеть непременно, слышите! Вы пойдете ко всенощной сегодня? Я вижу отсюда ваши зеленые глаза. Они говорят: «О да, Александр Сергееч этого хочет». Бедная, зачем вы слушаетесь его? Однако я болтаю? Вы хмуритесь и пробегаете нетерпеливыми глазами листок, отыскивая дела; вот оно: чтоб искупить — не правда ли, как я обязательна? — чем-нибудь неприятность моего приглашения (не смею же я думать, что вам приятно идти ко мне), я поместилась в вашей любимой беседке, около пруда. Тихо-струйные воды плещут и льются, льются и плещут у моих ног; над моей головой раскинулась величественная лазурь; на правой стороне шумит и шепчет сосновый лес, а на левой — мост, и около моста — угадайте кто?.. Наконец, посреди всех этих обетованных прелестей сидит и ждет вас

ваша во веки веков

Маша Белоградская я».

— Когда принесли эту записку? — спросила я Лизу.

— А вот как вы пошли, значит, ко всенощной, — ответила она, подходя к окну, около которого я стояла, — вдруг слышу — стучатся. Я бросилась, смотрю — расфранченная горничная из большого дома: «Дома, говорит, барышня?» (И Лиза передразнила горничную, вздернув нос.) Я говорю: «Нет дома». «Вы, говорит, отдайте вот эту записочку ей, непременно отдайте же!» Я говорю: «Хорошо, отдам!» Ну, вот она и ушла

* Дорогая подруга (фр.).

этак. Поди, барышня-то опять зовет вас к себе, — прибавила Лиза скороговоркой, и яркое неудовольствие разлилось по ее лицу.

— Да. А что?

— Да так, и я не останусь дома, как хотите.

И, красная, как кумач, с ярким неудовольствием на лице, она стала стирать передником пыль со столиков.

— На что ты сердишься? — спросила я в недоумении.

— На что? — повторила она. — Ни одного денька не посидите дома. Вчера и позавчера все у барышни, а не то она у вас. А барин-то ваш приходит и сидит все один! Не останусь я дома, — решила она, мотнув головой.

— Когда он приходил? — спросила я с удивлением.

— Да вечер приходил. «Дома, говорит, твоя хозяйка?» (эти слова Лиза, конечно, выговорила басом); я говорю: «Как же, дома! Усидит она дома, на таковскую напали!» Он посмотрел, посмотрел да и сел вон на тот стул к окну, да и сидел целый час.

— И ты мне ничего не сказала?

— Да когда я нонче вижу с вами?

И, поджав руки, она отвернулась к окну. Это был знак сильнейшего негодования. Я задумалась: конечно, в словах Лизы была маленькая доля правды. Мои посещения Маши действительно день ото дня становились чаще. Чуть заря, она уж у меня, пьет со мной чай, потом вечером зовет к себе; а там Белоградский поет, играет на фортепиано, не отходит от меня целый вечер и потом провожает домой. Сообразив все это, я дала себе слово изменить несколько свой образ жизни.

— Я ненадолго схожу к Маше, — сказала я, накидывая мантилью, — ты в последний раз остаешься дома одна.

Но Лизаньке вовсе не хотелось остаться и на этот раз дома; поэтому мой успокаивающий ответ только рассердил ее. Мотнув головой, она убежала из комнаты, не простившись даже со мной.

Выходя из дома, я была беспокойна: мысли об Александре Сергеевиче, Белоградском и Маше путались в моей голове.

Отношения их ко мне и друг к другу казались мне чрезвычайно странными, между тем как в этих отношениях не было ничего особенного: Белоградский оставался так же вежлив, как и всегда; Маша так же болтлива и весела; Александр Сергеевич так же самоуверен и невозмутим.

Войдя на мост, я легко могла разглядеть каменную беседку с зеленым куполом и Машу, сидевшую на верхних ступеньках беседки. Увидев меня, она сняла свою круглую шляпу и с живостью замахала ею, приглашая меня, как мне показалось, не переходить мост, а спуститься прямо с крутизны берега и по желтому песку идти к беседке. Я так и намеревалась сделать, но желтая тропинка была залита водой, набежавшей из открытых вешников, и мне, волей или неволей, приходилось идти мимо домика Александра Сергеевича. Окна на мост были отворены, и синеватые струйки дыма неслись из окна. Облокотившись на окно, с сигарой в руках, он, как видно, наслаждался тишиной мирного вечера и, по моим соображениям, должен был заметить меня еще на мосту; поэтому я шла ровно, не торопясь, не избегая его взглядов и не считая за нужное смотреть ему в глаза. Поровнявшись с его окнами, я поклонилась ему. Он слегка согнул голову и немедленно вынул сигару изо рта.

— Мне надобно, Наталья Алексеевна, потолковать с вами, — сказал он.

Я остановилась.

— Где я могу найти вас сегодня?

— Вам нужно меня сейчас?

— Мне нужно только увидеться с вами перед отъездом. Я еду сегодня в ночь по волости, заеду и в город. Где я могу застать вас?

— Я буду сидеть с Машей вон в той беседке, около речки.

Он снова согнул голову, и синий дым от сигары опять полетел в окно.

«Зачем я нужна ему? Зачем он едет в город? Разве что мой процесс?.. Неужели скоро будет наша свадьба?.. Но что же такое, — опять успокаивала я себя, — судьбы не избежишь: рано или поздно, но надо же мне помириться с этой мыслью и чем меньше думать о ней, тем лучше».

Маша сказала правду: вокруг нее раскидывались обетованные прелести; вода обмывала последние ступеньки беседки, и небо с белыми облаками качалось в ней; какие-то маленькие птички чирикали в листве; ленивый ветер едва колыхал воздух. Не знаю, видела ли меня Маша, когда я подходила к желтому пригорку, но она не могла не слышать моих шагов, когда я стала спускаться с него: песок посыпался из-под моих ног, и голыши полетели в воду. Однако ж, опершись обеими руками к себе на колени, она сидела, не оглядываясь. Спустившись к самой беседке, я принуждена уже была положить ей руку на плечо, чтоб обратить на себя ее внимание.

Она обернулась ко мне; лицо ее сияло меланхолической торжественностью, и глаза были устремлены на небо.

...Земли колебатель могучий гонит меня, —
начала она, не отводя глаз с неба.

Дни же свои провожу я, сидя на прибрежном утесе,
И горем, и плачем, и вздохами душу питая и очи,
Полные слез, устремив на пучину безбрежного моря.

— Ах, — продолжала она, не изменяя своего горестного тона и сложив на груди руки, — как я любила тебя в дни моей юности, Лаэртид!.. Ты выколол единственный глаз Циклопу, спасая себя и своих несчастных спутников. Твоего мужества, царь Одиссей, городов сокрушитель, героя Лаэрта сын, знаменитый властитель Итаки, мне никогда не забыть! Ты был немножко ветрен, но зато сколько мужественной скромности при встрече с Навсикаей! И — Зевс-громовержец — зачем я не Пенелопа? Я прождала бы такого мужа тридцать лет. Было время, Наташа, я враждовала с каждым пнем, покрытым осокой, я ненавидела Посейдона, и везде мне виделась его лазурно-косматая голова. Но потом я влюбилась, угадай, в кого?.. В Тацита — этот чистый образ настоящего Римлянина, со всей доблестью древнего республиканца. Пусть сердце его разрывается на части, он останется величественно спокоен; рука, казнящая цесарей на вечные времена, не дрогнет, передавая потомству ужасы римской жизни; он считает ниже себя горячиться. О, Юпитер Либератор, — сказала она с глубоким вздохом, — скажи мне, есть ли между смертными другой человек, подобный Тациту? За Тацитом меня заняли все эти колоссальные образы древнего Рима, эти аристократы, граждане мира, перед именем которых у палачей опускались руки. В это время я начала заниматься латинским языком, выучила даже латинскую грамматику до третьего склонения. Хотите, я просклоняю вам: *jus* — право, или нет, лучше, *judex* — судья. Вот: *judex, judicis, judice, judicium*... Теперь я забыла все это, Лаэртид исчез, герои перестали занимать меня, и я? Я превратилась «в бедную пастушку, которой мил лишь этот луг; со-

бачка мне подружка; барашек милый друг». Не правда ли, какие миленькие стихи? Вы задремали под мой разговор?.. Хорошо, переменим его: поздравьте меня с радостью и с печалью. Сначала с радостью: брата развели с женой. — И черные глаза моей собеседницы бойко устремились на мое лицо.

Я, правда, покраснела: известие было слишком неожиданно. Но, встретив взгляд Маши, я выдержала его и нахмурилась; в уме у меня мелькала вчерашняя ночь со своей чуткой тишиной, с своим синим душистым воздухом. Маша с братом провожают меня. Дойдя до сада, мы останавливаемся; деревья шепчут друг другу сладкие сказки под серебряный гром и треск соловья.

— Нравится вам эта ночь? — говорит Белоградский.

— О да!

И мы идем, но уже безмолвно. Он, проникнутый холодным достоинством, я со смущением.

— А печаль моя, — продолжает Маша с грустным вздохом, — что брат едет отсюда.

Облегчающий душу вздох вырвался у меня из груди, и как будто бремя скатилось у меня с сердца.

— Когда? — спросила я после минутного молчания.

— Через две недели после дня моего рождения. А вот и он!.. — вскричала она радостно. — Да, это его белый конь, он мчится на мост. О! он увидел нас, снял свою шляпу. Душка, сюда! Сюда!

И она обеими руками замахала к себе.

Стройный всадник поворотил свою белую лошадь с моста и поехал шагом по берегу пруда: как послушен и красив был белый конь с пригнутой к груди головой, с раздутыми ноздрями и чутко поднятыми ушами, какая ловкая рука управляла им, как хорош был этот всадник в желтых перчатках и в своем изящном вер-

ховом костюме песочного цвета! Наружность Белоградского не столько была мужественна, сколько благородна; не столько сильна, сколько горда. Этот стройный стан, смуглый цвет лица, томный взгляд темно-серых глаз... да, он был очень изящен. Бросив поводья на шею лошади, он ловко соскочил с нее и привязал ее к дереву.

— В какую даль вы забрались, — говорил он, оставившись перед нами и опустив свой мягкий взгляд на меня.

— А мы судили о твоём разводе, — сказала Маша, повернув к брату свое смеющееся личико.

— О моем разводе? — И черные брови его поднялись с приличным изумлением.

— Я и говорю, — продолжала Маша, сложив свои руки одна на другую, — что ты такой же идеалист, как вот эта госпожа. Я никогда не разошлась бы с мужем из-за таких пустяков, как измена.

Холодное достоинство разлилось по прекрасному лицу Белоградского, и задумчивый взор его спокойно устремился вдаль.

— А женщина чем же грешнее? — продолжала она, не смотра на брата и с личиком уже ярко горевшим. — Что вы извиняете самим себе, того смешно не извинить и женщине. Это не либерально.

— Не поражают вас ее понятия? — обратился Белоградский тихо и с достоинством ко мне.

Не зная его мнений насчет этого предмета, не зная, что он хочет сказать, я ответила ему прилично вопросительным взглядом.

— То легкомыслие, — продолжал Белоградский, обращаясь с серьезным тоном к сестре, — с которым ты относишься к семейным связям, меня всегда возмущало. Ты унижаешь в этом случае достоинство женщины, унижаешь самое себя... Мне, говорю тебе прямо, весь-

ма тяжело видеть в сестре эту умственную не скажу развращенность, а скорей путаницу.

Белоградский, кончив речь, взглянул на меня, я сидела молча и потупившись.

Маша между тем при потоке слов брата присмирела.

— Я ненавижу всех мужчин, — решила она наконец, опираясь локтями к себе на колени, — и никогда не выйду замуж.

При виде этого бессилия, заявленного так открыто, снисходительность блеснула в глазах Белоградского, и, наклонившись к сестре, он протянул ей руку.

— Девушка, и не хочет выходить замуж! Есть ли на свете образованный мужчина, который мог бы, не оскорбляясь, слышать это? — сказал он преувеличенно обиженным тоном. — Я предаю все это забвению, но с условием немедленного примирения.

И во взгляде, обращенном на сестру, было столько симпатии, в его улыбке столько мягкости, что Маша, хмурясь и улыбаясь, приняла наконец протянутую руку и тихо выговорила:

— Садись, Joseph, с нами.

Он поднял голову и выразительно взглянул на меня, как будто спрашивая моего разрешения. Я принуждена была подвинуться и уступить ему место подле себя.

— Этот год, — начал он тихо, усаживаясь подле меня, — навсегда останется для меня светлым воспоминанием в моей жизни.

Это было очень приятно слышать, но отвечать на это очень трудно, и я сочла за лучшее молчать.

— Я никогда не любил лихорадочной жизни Петербурга, — продолжал он, ударяя хлыстиком повода. — Но в то же время вне столиц мне трудно найти себе деятельность. Через две недели я еду отсюда, вероят-

но, навсегда; может быть, нам никогда не придется с вами встретиться. Будете ли вы иногда вспоминать меня?

С последними словами он быстро поднял голову и погрузил свой глубокий взгляд в мои глаза.

— Я буду помнить вас, — ответила я, подумав и отвертываясь от него.

Маша вдруг соскочила и, сделав прыжок, очутилась в два мгновения на пригорке. Это меня несколько удивило, и я опять взглянула на Белоградского, который сидел, задумавшись и не поднимая головы.

— Я не благодарю вас, — начал он снова, не отводя глаз от воды, и голос его был уже взволнован, — слова ничего не скажут; я видел у Маши ваш портрет...

— Да?

— Другой женщине я не сказал бы этого, но вы умны и не сочтете мою просьбу за дерзость. Почему портрет, — спросил он уже шепотом, наклонив голову к воде, — который находится у Маши, не может перейти в руки того, для кого он делается святыней?

От слова «святыня» меня покорило; но я промолчала; я смотрела на дремучий сад, который, отдаляясь от нас, убегал в темноту ночи.

— Для одного лица эта вещь, — продолжал он тем же звучным шепотом, бегло взглянув на меня, — игрушка, для другого она счастье, драгоценность. Кто имеет больше прав на нее?

— Но я уже отдала Маше свой портрет и не могу взять его обратно.

— Она отдаст его мне...

Я посмотрела сбоку на благородный профиль Белоградского и задумалась. «Что такое мой портрет? Кажется, ничего... По крайней мере для меня, но для Белоградского? Да, он придает ему огромную цену:

какое право я имею сомневаться в его словах? Он хороший человек. Бог с ним, пусть владеет моим портретом, если он так дорог для него...»

— Я не стану ничего говорить против желания Маши, — проговорила я.

Он быстро поднял изумленный взгляд на меня и сделал движение, как будто хотел протянуть руку ко мне, но в это мгновение Маша снова, Бог знает какими судьбами, очутилась подле нас; она ударила меня легонько по плечу, и звонкий голосок ее прозвучал над моим ухом:

— Александр Сергеевич на горе.

В звуках этого голоса было столько тревоги, что я невольно улыбнулась. Машинально отодвинувшись от Белоградского, я подняла голову. Сумерки давно уже сгустились; молоденький месяц стоял над горами; желтый холм осеребрился, и в прозрачной синеве ярко обрисовывалась мужественная фигура Александра Сергеевича.

— *Soyez le bien venu* *, — сказала Маша, кивая головой.

Александр Сергеевич постоял еще, как будто дожидаясь чего-то, и наконец молча стал спускаться. Он привык ходить по горам, и я не боялась, что он упадет. Вступив на каменный пол, он поклонился с своим невозмутимым равнодушием Маше и обратился, не взглянув на меня, к Белоградскому.

— Я к вам, Осип Александрыч: пришел узнать, приискали ли вы управляющего?

Белоградский поднялся с холодным достоинством.

— Так вы окончательно решились? — спросил он тоном человека, который не знает, что отвечать на вопрос, и начинает тянуть разговор.

* Добро пожаловать (фр.).

Длинные брови Александра Сергеевича слегка сдвинулись, и глаза бесцельно устремились на мост. Он молчал.

— Отчего вам не остаться у нас? — сказала Маша смеясь. — Мы погибнем без вас!

— Я уже говорил вашему брату, почему я не могу остаться здесь, — ответил он, опустив глаза на Машу.

— Но я не знаю...

Он прислонился спиной к беседке и долго молчал.

— Нет у меня никакой охоты служить здесь, — начал он наконец. — Интересы разрознлись; всякий тянет в свою сторону. Вам лучше самой, Марья Александровна, остаться здесь, да и брату вашему также. Без жертв, разумеется, не обойдется; но что же делать? Вы русский дворянин, — отнесся он к Белоградскому, — и понимаете это дело лучше, чем кто другой.

Белоградский при словах «вы русский дворянин» выпрямился.

— Да, мы надеемся, — отвечал он с достоинством, и в голосе его зазвучало волнение, — что все это дело кончится мирно. Мы, русские дворяне, оставляем одну привилегию за собой: память о себе в потомстве.

Брови Александра Сергеевича сдвинулись. Фраза Белоградского не должна была прийтись ему по сердцу. В крестьянском деле он видел вовсе не великодушие со стороны дворянства, а простую историческую необходимость.

— Так как же, Осип Александрыч, — начал он опять с невозмутимым равнодушием, — управляющего-то ведь все-таки надо.

— Я завтра дам вам окончательный ответ, — сказал Белоградский.

При этом обещании Александр Сергеевич чуть заметно улыбнулся и, бесцельно посмотрев на мост, повернулся к Маше.

— Вы посылали за мной?

— Да, — отвечала она с увлечением, — я хотела благодарить вас за Иванова. Вы сделали доброе дело. Он с этими деньгами найдет себе занятие, вы очень добры!

Александр Сергеевич, пробормотав, что все это не стоит благодарности, снова обратился к Белоградскому.

— Сегодняшнюю ночь я еду в город. Вы свой ответ передайте члену конторы Косаченку. А я приду домой и дам знать ему... — И, помолчав немного, он обратился ко мне:

— Готовы вы, Наталья Алексеевна?

Зная, что Александр Сергеевич ведет мои дела, Маша и Белоградский нисколько не удивились этому приглашению. Маша даже вызвалась проводить меня до опушки сада. Брат последовал за ней. Но Александр Сергеевич заметно остался не совсем доволен этими проводами; по крайней мере, в продолжение всей дороги, пока они шли с нами, он не поднимал головы и не расправлял сдвинутых бровей. Он любил быть со мной наедине; но мне было приятнее, когда с нами был кто-нибудь третий. В присутствии посторонних самое чувство мое к Александру Сергеевичу делалось как-то теплее. Теперь так же: идя подле Маши, я думала, что хотя он делает все только для себя, для своего удовольствия, но натура у него хорошая, и ее требования большей частью добрые. Изредка взглядывая на его суровое лицо, я начинала надеяться, что авось мы заживем с ним мирно.

— Процесс ваш с братом кончен, — сказал он, проводив глазами Белоградских и подавая мне руку. — На вашу долю пришлось пятнадцать тысяч, — это весьма немного. Но совесть моя спокойна; я сделал все, что было в моей власти. Вначале процесс велся не мной, запрещение на продажу имущества вашего брата ни-

кто не позаботился наложить, и он распродал все, что мог.

Я хотела что-то сказать, но опустила голову и промолчала. Еще за минуту пред этим я восхищалась его добрым делом; но теперь все прежние мысли выскочили у меня из головы при словах: процесс кончен! Неужели я сделаюсь его женой, неужели это неизбежно, и я чувствовала, как руки и ноги у меня холодеют. Весь мост я прошла, не поднимая глаз; у меня из ума не выходила безвозвратность того шага, который мне предстоял. И что-то вроде презрения к себе, ненависти к тому человеку, который с спокойным духом приобретает меня в свою собственность, шевельнулось в моей душе... Заметив, что мысли мои начинают путаться, я быстро подняла голову и взглянула в лицо своему спутнику. Он не смотрел на меня, лицо его было сурово, спокойно и даже несколько печально.

— Брата вашего оставили в подозрении, — начал он опять, не смотря на меня. — Это весьма малое возмездие за его поступки. Но явных улик не было. Он мерзавец с ног до головы. Последний его поступок завершил все остальные: жену и дочь он бросил без куска хлеба, а сам подхватил какую-то француженку и ускакал с ней в Петербург.

— Вы говорите, она без куска хлеба? — спросила я с живостью, в одно мгновение почувствовав всю цену своих денег.

Он медленно повернул ко мне свое лицо и молча посмотрел на меня.

— Она хорошая женщина, — сказала я, — матушка очень любила ее; брат не стоил ее мизинца.

Он нагнул голову в знак согласия.

— Для меня одной будет десяти тысяч; это вполне обеспечит мою личность, а треть своих денег я желаю отдать им.

— Это ваше дело. Но от кого вы думаете обеспечить вашу личность? — прибавил он, пристально взглянув на меня.

Я сжала рот.

— Верно, от мужа! — продолжал он тем же ровным голосом. — Это вопрос модный.

— Не модный, а очень естественный: брат мой может служить доказательством тому.

— И вы меня в этом случае смешиваете с вашим братом? — спросил он, смотря на меня без всякого выражения.

Увидев свою опрометчивость, я покраснела и нахмурилась.

— Это хорошо, — пробормотал он отрывисто.

— Я отказываюсь от своих слов в том смысле, в каком вы поняли их.

— Напрасно! Лишний труд! — сказал он после некоторого размышления. — Слова эти до того не походят на вас, что я им не придаю никакого значения.

И в самом деле, остановившись у моих ворот, он уже с своей обычной простотой подал мне руку.

— Вы подпишете бумагу, которую я пришлю к вам с Василием, — сказал он.

Я молча поклонилась ему, но он не выпускал моей руки и не сводил своих синих глаз с моего лица. «Долго ли это будет продолжаться», — подумала я, не зная, куда девать свои глаза и лицо.

— Вы не скажете мне ничего на прощанье? — спросил он наконец.

— Желаю вам счастливого пути, — ответила я.

— И только?

«Чего же больше», — подумала я в недоумении.

— Вижу, что нечего, — сказал он холодно. — Полно-те ломать голову; прощайте!

И, медленно повернувшись, он пошел к мосту.

Я провожала его глазами вплоть до его дома, но он ни разу не оглянулся. Это было его обыкновение: возвращаться к старому и оглядываться назад он не любил.

VII

С самого утра Лиза была не в духе. Во время чая она смотрела в разные стороны, упорно избегая всякой встречи с моим взглядом. Это недовольство заняло меня тем более, что видимых причин к нему не было никаких. Напротив, в последнее время мы поладили с ней как нельзя больше: целые полторы недели я сидела дома, и каждый час, каждую минуту она могла видеть меня и разговаривать со мной.

— Если ты, Лиза, здесь останешься, — начала я наконец мягко, — то я отдам тебе свою черную корову и все обзаведение; с этим приданым тебя возьмет славный жених.

Однако ж мои слова попали не туда, куда метили. Лиза вспыхнула и, поджав руки, принялась глядеть в окно; но я не хотела отступать.

— И кур отдам, и петуха тоже, — добавила я.

— Пересмешницы вы, Наталья Алексеевна, известные пересмешницы.

— Извини меня, Лиза, но я не понимаю тебя! По моим понятиям, тебе лучше пристроиться (глаза ее искосились) — выйти замуж за какого-нибудь мастерового или зажиточного крестьянина.

Лиза повела плечом.

— Не пойду я за крестьянина, насмотрелась житья-то крестьянского.

— За кого же ты пойдешь? Ведь сколько ни живи в девушках, а сердце потребует ласки, — проговорила я с невольным вздохом.

Лиза начинала смягчаться и раза три взглянула на меня с охотой.

— Да вон хошь Василий Петрович!.. — сказала она, разглядывая что-то на дворе с большим вниманием. — Он, пожалуй, не прочь жениться на мне.. Да не пойду я за такую образину.

— Про какого это Василия ты говоришь? — спросила я с замиранием сердца.

— Что вы уставились на меня? Служитель барина вашего. Чем он не жених? Все уж не мастеровому чета.

Я не смела всплеснуть руками и скромно опустила глаза.

— Помилуй, Лизанька, на какое ты тут счастье надеешься? Ведь он старше тебя вдвое. Ну, а что до наружности, — добавила я в смущении, — ты сама знаешь...

Но едва успела я выговорить эти слова, как Лиза выпрямилась в страшном негодовании.

— И ваш-то барин не ровесник вам, как же вы с ним сговорились? — почти вскричала она и потом, помолчав, каким-то ожесточенным голосом прибавила: — Барышня-то из большого дома опять заходила, значит, к вам. Пришла сегодня ни свет ни заря да так и лезет в комнату. Я говорю: спит, спит. Ну так, говорит, скажи ей, пусть она беспременно зайдет ко мне; мне, говорит, очень нужно.

«А, так вот что было твоей левой ногой сегодня, — подумала я. — Но зачем, однако, Маша зовет меня? Я, кажется, говорила ей, что с гостями ее мне нечего делать; ходить мне к ней каждый день также невозможно, потому что у меня дома есть дело, и она согласилась со мной. Разве что Белоградский.. Да, он изменил неожиданно свое аристократическое обращение со мной и заходил на этой неделе, к великому моему

удивлению, два раза ко мне. Но звать меня?.. Нет, он не станет звать меня к Маше или через Машу, он слишком для этого деликатен». Взглянув на часы, я увидела, что стрелка стоит на десяти, между тем Александр Сергеевич обещался прийти ко мне в двенадцать; стало быть, времени у меня оставалось довольно, и я молча вышла из комнаты.

Еще издали, далеко не доходя до цели своего странствования, я была поражена шумом, который несся из ворот и окон большого дома. Весь двор был наполнен людьми, экипажами, лошадьми; в открытых окнах мелькали нарядные женщины, черные и серые сюртуки мужчин; далее по длинным коридорам бегали, изогнув локти, лакеи с большими подносами в руках, в белых перчатках и белых галстуках. Еще дальше я встретила служанок Маши — молоденьких девушек, в барежевых платьях, разноцветных сетках на головах и пышных кринолинах. В залах — разряженные барыни, барышни, пестрые жилеты, блестящие мундиры, аксельбанты, эполеты, и целый поток шуток, смеху, говору, фраз русских, французских, английских, немецких. Если я шла сюда с желанием пройти незамеченной, то теперь, заглядевшись на праздничный шум, я остолбенела, как деревенская босоногая девочка, приехавшая в первый раз в многолюдный город на ярмарку. К счастью моему, никто не заметил ни меня, ни моего неприличного удивления. Что, если бы Белоградский увидел меня одну у дверей залы в сереньком холстинковом платье с открытым ртом? О! одна эта мысль при виде его изящной фигуры (он в это время разговаривал у окна с молоденькой женщиной, брюнеткой, очень красивой, которую я нередко видала у Маши), одна эта мысль привела меня в себя и заставила поспешно убраться в Машину комнату. Здесь я начала рассуждать сама с собою о том, как мало гожусь я для этого светского

кружка; что путь мой совершенно отделен от всех этих блистательных дам и кавалеров. Я не умела отозваться беспечным смехом на звонкий смех; вызвать улыбкой шутку, острое слово; не умела я весело болтать, увлекать за собой, и наконец, мне казалось, я не умела даже любить как женщина любит мужчину. Смотри на девушек одних лет со мной и оглядываясь на себя, я начинала казаться чужой самой себе; все во мне было не так, как в других. Свое положение на место Маши я не променяла бы ни за какие блага, я не сумела бы ничем распорядиться, а если бы и привыкла к этой обстановке, то все-таки не внесла бы в нее ни оживления, ни увлечения. А Маша? На балах, под перекрестным огнем взглядов, ей было ловко, как утке в воде.

В настоящее утро Маша была, кажется, лучше, чем когда-либо. Глаза ее сверкали заодно с бриллиантами, в улыбке ее было только самоупоение, в движениях столько лени и бархатистой мягкости кошки, что я загляделась на нее. Она заметила мое удивление и перетолковала его по-своему.

— Скажите мне, Наташа, — обратилась она ко мне, — вы счастливы?

— Да.

— Жизнь ваша полна?

— Полнее этого я не испытала.

— И ни к чему не стремитесь?

— Нет человека, который бы ни к чему не стремился.

— А вы чего желаете?

Смотря в ее любопытные черные глаза, я улыбнулась.

— Что значит эта улыбка? — спросила она с нетерпением.

— Я вспомнила о своей черной корове.

— Ну?

— Было бы недурно, если б она нам с Лизой давала побольше молока.

Она откинулась на спинку кресел и, смотря на меня с величавым укором, закачала головой.

— И вы можете так отвечать мне? Мне, владельнице всего этого необозримого пространства, царице гор и полей? — Глубокий вздох вырвался у нее из груди, и, опрокинув головку, она устремила глаза на потолок. — А мы едем кататься сейчас, и мне скучно. Что за глупые там девчонки, что за бессмысленные фаты! Ни одной свежей мысли, ни одного живого слова. С вами хотелось бы мне отдохнуть. Знаете, Наташа! Возьмите назад слово и приходите ко мне чаще. Слышите, я требую от вас этой услуги, а не то... не то я стану кокетничать с Зарятым, — заключила она до того неожиданно, что остановилась сама, как будто в удивлении от этой мысли, и вдруг залилась своим увлекательным смехом.

Она хохотала долго, хохотала до слез.

— Одно только, — продолжала она как бы раздумав, — Зарятин не ходит ко мне; как бы это устроить?.. О чем вы задумались? — обратилась она вдруг ко мне.

— О том, что если Александр Сергеевич влюбится в вас, так вам не разыграть с ним комедии, — ответила я, чувствуя, как бледность разливается у меня по лицу.

— *Enfant que vous êtes!* *

Я встала.

— Куда? Не домой ли? Не бывать этому! Вы должны остаться у меня.

— Это невозможно.

* Вы как ребенок (фр.).

— Как?

Я помолчала, подумала и начала прощаться с ней.

— Вам не хочется? — Она задумалась. — Ну так за Зарятина примусь!

Маша засмеялась, потом, дружески-вкрадчиво сжав мне руки и с умилением взглянув на меня, прибавила с лукавой улыбкой:

— Устройте это как-нибудь!

— Как могу я это устроить, Маша? Он человек не светский.

— Чудовище идеализма, — вскричала она, вся покраснев и открыв свои жемчужные зубы. — Вы тут ничего не смыслите, — шепнула она, наклонившись к моему уху. — Конфеты надоели мне, а Зарятин? Тут-то вся и прелесть... Я скажу ему: *Was ist ohne Liebe die Erde, was der Himmel ohne Lust**, и он согласится со мной. Но, Наташа, — прибавила она утомленно-скорбным тоном, — я не шучу; пришлите Зарятина.

— Как прислать? — спросила я быстро.

— Скажите, что я приглашаю его, и только. Неужели вам это трудно?

— А дальше?

— Дальше — ничего!

Разумеется, передать Александру Сергеевичу приглашение Маши для меня ничего не стоило, но пойдет ли он — это другой вопрос.

Я была уверена, что он не пойдет, но Маша, кажется, думала напротив.

Покинув большой дом, я все думала, отчего это Маше пожелалось видеть у себя Зарятина. Правда, она всегда жаловалась на пустоту светского общества, скучала в нем; но почему же Зарятин, к которому она

* Что без любви земля, что без желаний небо (нем.).

не чувствовала до сих пор ни малейшей симпатии, оказался вдруг способным заменить его.

В этих размышлениях я вышла за ворота. Солнце жгло кровли, улицы, рассыпалось на площади, отражалось от гладкой поверхности пруда. Остановившись за воротами, я поглазела на площадь, на флигель Белоградского, на сад, спускавшийся к реке, и, пройдя мимо флигеля, свернула в первую калитку сада. Здесь знойное царство солнца исчезало. Густые деревья бросали от себя длинные тени, свежесть от речки поила воздух, и в густоте листвы щебетали птицы, в траве звенели кузнечики.. Я обогнула шпалерник розовых кустов, прошла две длинные аллеи и наконец, рассчитав, что выйду прямо против моста, спустилась к последней калитке, которая выходила на речку.

— Нет, тетушка, — раздался вдруг около меня голос Белоградского, — вы судите неосновательно.

Я стремительно бросилась к густому вязу, и ветви его закрыли меня со всех сторон. Притаив дыхание, я ждала... шаги идут... замедлились... вот они остановились на перекрестке аллей.

— Нет, тетушка, — продолжал Белоградский сухо, после некоторого молчания, — вы несправедливы: увидев ее дневник, вы обязаны были не читать его, а передать его ей. Я не хочу знать, что там написано и из какого источника вы почерпнули убеждение о ее любви к Зарятину; но если бы вы потребовали моего мнения насчет этого предмета, я сказал бы вам то же, что сказал ей: мне было бы очень лестно предложение Зарятина. Я скажу даже больше: когда вы были моложе, и вы думали иначе: по крайней мере, я ничем иным не могу объяснить себе ваш брак с Горским. Зарятин — человек богатый; он покупает пять тысяч десятин на границах здешней губернии, он будет такой же землевладелец, как мы все, — чего же больше?

Последние слова донеслись до моего слуха уже из другой аллеи. Племянник и тетушка прошли мимо, и шаги их, мало-помалу удаляясь, замерли вдали. Я еще долго стояла, не будучи в состоянии опомниться от всего слышанного мной. Маша любит Александра Сергеевича, — пробегало у меня в голове, — ей хочется за него замуж? — вот какую игру затевает она! Хочет замуж! Теперь я отчетливо понимала только одно: Александр Сергеевич жених мой, но не муж еще, и я не имею никакого нравственного права отстранять его от Маши. Пусть он идет куда хочет, при первом холодном слове его я возвращу ему слово. Если Маша думает за него выйти замуж и он вздумал бы на ней жениться, я не шевельнула бы пальцем, чтоб удержать его за собой. Хоть, может быть, мне было бы и жаль его: ведь все-таки он целый год был моим женихом; шесть лет я жила около него...

Лиза выбежала ко мне далеко, за ворота, навстречу.

— Уже вы вечно так, Наталья Алексеевна, уйдете да и утонете; вас барин дожидается.

— Давно он ждет меня?

— Чуть не целый час! — вскричала она, мотнув головой, и без оглядки убежала назад.

В другой раз мне, может быть, сделалось бы неприятно оттого, что я заставила Александра Сергеевича ждать себя; но теперь, думая о Маше, я равнодушно отворила дверь и вступила в комнату.

Он сидел, по своему обыкновению облокотившись на окно, и смотрел в огород; но при первых моих шагах в комнату он повернул голову.

— Я заставила вас ждать себя, — проговорила я.

— Вы были у Белоградской?

— Да.

Он внимательно посмотрел на мой лоб, потом

взгляд его прошелся по моему носу, рту и, наконец, по всей фигуре. После этого исследования он еще раз взглянул мне в глаза и, медленно отвернувшись от меня, снова облокотился на окно.

Ясно, что он был не в духе. Я не знала, зачем он пришел ко мне. Увидев накануне за оградой Лизу, он велел ей передать мне, что зайдет ко мне завтра, утром, в двенадцать часов. Если б он думал провести со мной досуг, то выбрал бы, конечно, вечер, а не утро.

— Маша звала меня к себе, — сказала я.

Он повернул ко мне голову, и взгляд его врезался в мое лицо.

— Она скучает, — продолжала я, — скучает оттого, что никого из ее друзей нет на ее балах; она звала меня к себе.

Ирония блеснула в его глазах, пристально глядевших на меня.

— Ну дальше-то что же, сестра милосердия?.. Ведь сердце у вас пресострадательное, — проговорил он.

— А дальше то, что я пойду к Маше, если вы не замените меня.

Александр Сергеевич долго молчал, как будто соображая что-то, наконец медленно отстегнул сюртук и, вынув из кармана знакомый мне исписанный листок, обратился ко мне.

— Вы в последнее время, — начал он ровно и медленно, — похудели, подурнели и побледнели. Я помню вас четыре года назад здоровой, румяной девочкой. Я хочу вас видеть сытой, довольной, нарядной, а главное — здоровой. Как только мы обвенчаемся, я повезу вас лечиться; а потом уже выберем место, где бы навсегда поселиться. На днях я посылал к вам швею; вы заказывали ей платье и белье, но, как заметно из этого списка, вы и не помышляете, где мы поселимся.

Мы станем жить далеко от городов; вам следует за-
пасться всем необходимым.

— В этом списке все необходимое.

— Стало быть, из четырех платьев будет состоять
весь ваш гардероб, и на триста рублей вы думаете со-
строить себе все приданое?

— У меня нет состояния делать лучше.

— Состояние есть у меня.

— Ваше и мое состояние две вещи разные, — ска-
зала я.

Он при этом постарался улыбнуться.

— По обыкновению прежнее упорство и отчужде-
ние, — начал он. — Я очень хорошо знаю, что вы не
удостоите меня ни одной просьбой, ни одной жалобой.
Живите, как находите лучшим для себя; стеснять вас
я не стану. Но дело в том, что у нас могут быть дети;
для них потребуется воспитание и бодрствующая, здо-
ровая мать.

— Я не ленива от природы. Но покамест еще этих
детей нет, да, может быть, их и совсем не будет, —
ответила я и покраснела.

— Будут! — сказал он твердо после минутного со-
зерцания моей физиономии. — Я не романтик по приро-
де, но от одной мысли о ваших детях сердце мое за-
мирает; эти дети свяжут нас. Нынешней весной я по-
нес убытков тысяч на пятьдесят. В былое время это
только подстрекнуло бы меня; дела будили у меня
нервы; но нынче я думал об вас, о том, что я дела-
юсь семьянином, и я решился бросить дела.

— К убыткам вам не привыкать, — проговорила я,
вспомнив, что он раз до десяти был на краю гибели.
Морщины набежали на его лоб.

— Разумеется, — пробормотал он, — мои интересы
не касаются вас.

Я промолчала.

— И если мы даже разоримся совсем, вы не поморщитесь?

«Мы», что за «мы!» — подумала я, — как будто тут есть что-нибудь мое!»

— Я ко всему приготовилась, — ответила я равнодушно, отвертываясь от него.

— Ну да, — решил он, вставая, — вздумайся вам еще на год отложить нашу свадьбу, и я совсем разорился бы. Но этого не может быть. Через две недели мы обвенчаемся.

Я побледнела и, быстро обернувшись, взглянула ему в глаза.

— Я человек, — сказал он в ответ на мой взгляд, — и в жилах у меня течет тоже кровь.

Я не спускала с его неподвижного лица глаз и видела, как румянец мало-помалу разливался у него по щекам.

— Я ломал себя, как осел, без всякой разумной цели, целый год, — продолжал он, понизив голос, — и ждать дольше у меня не хватает сил. В это время у меня только и заботы было, как бы поддакивать вашим прихотям. Задумалось вам дожидаться конца вашего процесса с братом — я покорился. Показались вам предосудительными мои ласки, я воздерживался от них; нежные слова — и они вычеркнуты мной из нашего словаря. Я чувствую, что вы деспотически схватили меня за голову, за сердце и без всякой пощады тиранствуете надо мной.

Я покраснела и с досадой посмотрела на него.

— Это так должно быть, — сказал он и, взяв со стола фуражку, вышел из комнаты.

Проводив его глазами, я заглянула в свое будущее, вздохнула и принялась за работу, которая состояла в шитье и кроеньи разных мелочей ко дню нашей свадьбы.

VIII

Весь мой гардероб состоял из четырех платьев, двух будничных и двух праздничных, из которых одно я носила по воскресеньям, а другое, светло-голубое, кисейное, приберегалось мной для торжественных случаев. Стало быть, затрудняться в выборе наряда мне было нечего. Лиза еще накануне готовила мне пышные юбки и теперь, смотря, как я одеваюсь, любовалась мной.

Только головным убором своим я не могла удовлетворить ее. Собирая волосы постоянно в одну косу, я до того приучила их к этой прическе, что всякой другой они решительно сопротивлялись. Я могла только переменить старый гребень на новый. Золотых украшений у меня также не было никаких, кроме одного опалового колечка, которое Александр Сергеевич подарил мне, сделавшись моим женихом. Это колечко не столько было дорого для меня по своей ценности, сколько потому, что оно принадлежало некогда его матери. Подумав, я надела его в этот раз. В день рождения Маши мне решительно невозможно было не быть у нее; к тому же накануне она сама приходила за мной; я могла отказаться только от ее бала, но должна была обещаться ей прийти после обеда и просидеть у нее вплоть до вечера. На этом мы порешили, и теперь, разодевшись, я отправилась к ней.

В жизнь свою я не испытала такого недовольства и затруднения, как в этот раз, пробираясь в саду между деревьями. Сначала до моего слуха донесся говор. Я отошла в сторону. Потом предо мной между деревьями замелькали голубые и розовые платья: я опять в сторону и неожиданно для себя самой очутилась у самых крайних деревьев перед террасой. Отсюда в одно мгновение передо мной открылось все, чего я так опа-

салась. Здесь находился весь окрестный beau-monde *. Впереди всех, облокотившись на чугунные перила, стоял Белоградский и разговаривал с той же брюнеткой, с которой я видела его в первый раз. Во взгляде его теперь замечалось больше лени, чем спокойной задумчивости, в позе более распушенности, чем сдержанного достоинства. Он курил сигару, и не трудно было угадать, что он находился в послеобеденном настроении духа. У самых дверей Маша, в светло-зеленом платье, болтала с Александром Сергеевичем. Для того, чтобы осмотреть все это, требовалось не больше двух-трех мгновений, и я могла бы, конечно, отретироваться с большим удобством, если бы розовые и голубые платья не появились вдруг подле меня. Несколько пар бойких глаз устремились на меня, и потом все это, продолжая смеяться и разговаривать, направилось к террасе. Теперь мне ничего уже не оставалось делать, как вмешаться в эту веселую толпу и последовать за ней.

Смушение мое, впрочем, значительно уменьшилось, когда я очутилась около Маши.

— Наконец-то! — вскричала она, сжимая мне обе руки. — А где брат? Josephе, вот и она! Сколько труда стоило мне привести ее сюда.

Этими словами она привлекла на меня общее внимание; мне сделалось очень неприятно; но, к счастью, Josephе не заставил себя ждать, подошел ко мне со своей приветливою улыбкой и дружески подал мне руку. В его поклоне было столько симпатического, в его покровительственном приветствии было столько дружественного и ободряющего, что я в одно мгновение забыла толпу и сосредоточила внимание на нем. К Маше подошла в эту минуту какая-то молоденькая девица, блондинка с карими глазами, и, шепнув ей что-то

* Знаменитости (фр.).

на ухо, увела ее за собой. Белоградский один остался подле меня. Предложив мне несколько обыкновенных вопросов и выслушав с улыбкой мои ответы, он выразил желание, чтоб я не скучала у них, и, оглядевшись, занял место около меня.

Я хорошо поняла, для чего Белоградский сел подле меня. В душе я очень оценила его тонкую вежливость, но пользоваться ею мне было не совсем ловко. Целый цветник дам, кроме меня, наполнял террасу, и каждая из них, казалось мне, имела гораздо больше прав на его внимание, чем я. Все они смотрели на меня, а брюнетка с острым носиком, с которой он говорил до моего появления, даже злобно улыбнулась. Я стала отвечать односложно на слова Белоградского и наконец при первой паузе встала и тихонько убралась от него в угол террасы.

Если мне прежде казалась удобной роль забытого лица, то в первый раз, как мне случилось разыграть ее, я почувствовала и невыгодные ее стороны. Белоградский не переменял своего места, и вскоре молоденькая брюнетка заменила меня около него. Александр Сергеевич не имел обыкновения узнавать меня при посторонних, а тем более вступать со мной в какие бы то ни было разговоры. Даже при Маше и Белоградском он не любил ни смотреть на меня, ни разговаривать со мной. Эта перемена в его обращении со мной при людях произошла в нем, я заметила, с той поры, как он воспылал ко мне нежной страстью. Сначала это, конечно, огорчало меня; но потом я привыкла к его обращению и ни малейшим знаком не предъявляла на него своих притязаний. Теперь также он не имел ни малейшего желания заметить меня, и я, стоя в углу, равнодушно следила за ним. Он был, как мне показалось, знаком со всем этим миром. Правда, женщины не обращали на него внимания; зато мужчины все до

одного знали его и относились к нему с уважением. В особенности один господин, лет пятидесяти, с полным лицом, наружности не только приятной, но и благородной, с прекрасными каштановыми волосами и такой же бородой, ухаживал за моим женихом. Это был, как я узнала потом, разорвавшийся владелец Т-ских заводов.

— А вы, я слышал, торгуете земли в N-ском уезде, — сказал он между прочим Александру Сергеевичу. — Что это вам вздумалось уходить в такую трущобу? Там ведь на тысячу верст нет никакого жилья — все леса?

— Я не покупаю никаких земель, — отозвался равнодушно Александр Сергеевич.

Неописанное изумление изобразилось на лице бородатого господина.

— Правда, я сторговал пять тысяч десятин там, по десяти рублей десятина, но это по доверенности от одного лица, а для себя покупать я не намерен, — прибавил Александр Сергеевич.

Слова эти не пропали для меня даром: ясно, он купил землю, но для кого? По доверенности?.. неужели?.. Да нет, этого не может быть. Ведь должен же он хоть сколько-нибудь принимать во внимание желание другого лица. Но как бы то ни было, я знаю одно, что мы едем после свадьбы куда-то далеко в глушь, но куда именно?.. Это не мое дело. Он берет меня с собой, как вещь, куда ему вздумается. Да и что такое жена? Не принадлежность ли она мужу? Куда она пойдет от него? Как она разойдется с ним? Не должна ли она следовать за ним повсюду? Везде, где ему хорошо, там и ей должно быть хорошо; на что роптать?.. Конечно, стой я в других отношениях к своему жениху, будущему мужу, я не позволила бы ему распоряжаться собой, но теперь... да я не хочу расспрашивать

его, заявлять пред ним свои желания. Если ему когда-нибудь вздумается бросить родину, я также без малейшего ропота должна буду следовать за ним: ни родины, ни дома, ни имени своего, ни малейшего признака самостоятельности... Так вот оно, замужество!

— Я давно смотрю на вас, — прервал мои размышления Белоградский, — и убежден, что вы скучаете. Я не виделся с вами около двух недель, и, если бы вы отказались от приглашения Маши, я непременно явился бы сам к вам. Могу ли я предложить вам руку и проводить вас до сестры?

Подумав, я молча подала ему руку и последовала за ним. Он повел меня через залу и гостиную. В последней мы встретили Горскую, она восседала с пожилыми дамами на диванчике. Когда мы поровнялись с ней, она обратилась к племяннику и сказала ему что-то. Тот отвечал ей легким поклоном, но не остановился и, с улыбкой продолжая разговаривать со мной, довел меня вплоть до Машиной комнаты.

Здесь на первых порах меня оглушили смех, говор и крик; пахитосовый дым бросился мне в рот и в глаза. Комната была наполнена девицами, и все хохотали и жгли пахитосы. Если б они курили, как курят вообще, то, мне кажется, дыму было бы меньше, а то они жгли табак и достигали своей цели: дым стоял столбом. Впрочем, мрак мало-помалу рассеялся, и я увидела Машу с пылающим лицом посередине комнаты на маленьком столике. Она ораторствовала с величайшим одушевлением, а девицы, окружив ее, слушали с криком и хохотом. При виде меня Маша раскрыла глаза и, соскочив со своей импровизированной кафедры, протянула мне руки.

— Mesdames *! Это мой друг Наташа; прошу лю-

* Дамы (фр.).

бить ее, — сказала она, взяв меня за руки и представляя молодой публике.

Девушки в одно мгновение окружили нас. Все они показались мне очень миленькими, приветливыми и веселыми, а блондинка с карими глазами, которая увела Машу с террасы, протянула мне руку и, смеясь, рассказала, что Маша предлагает позвать цыганку из табора, который остановился около завода.

— И мы все согласны. А вы? хотите вы гадать?

Мне, конечно, не о чем было гадать; но отделяться от веселой толпы я не сочла удобным и с удовольствием согласилась.

В это время вдруг в коридоре послышались шаги, и вслед за этим мерно раздалось в дверь: стук, стук.

Все переглянулись и замерли как стояли; только Маша вспыхнула и, подобрав платье, скакнула к двери. Замок в одно мгновение перевернулся под ее рукой, и, обратившись ко мне, она кивнула головкой.

Я приблизилась на носках башмаков.

— Окна открыть! — шепнула она мне.

Только одно среднее окно было отворено, а потому дым медленно выходил из комнаты, но распоряжение Маши мгновенно разнеслось по всем углам, и все четыре окна, открывшись за один раз, пустили сквозной воздух. Платки были вынуты из карманов, кто схватил веер, кто букет, и все девушки до одной принялись выпроваживать дым. А Маша между тем, стоя у дверей, вела переговоры.

— Кто там? — спрашивала она, смотря заботливо на дым.

— Я, ваш брат.

— Здесь царство стихийных духов, где нет ни братьев, ни сестер.

— Иосиф Александрович Белоградский.

— Что нужно здесь Иосифу Александровичу Белоградскому?

— Он хочет взглянуть, что вы тут делаете, прелестные феи.

— Мы пускаем, прекрасный царевич, в свой замок простых смертных с условием.

— С каким?

— С тем, чтобы вы позволили завязать себе глаза и поймали бы которую-нибудь из нас.

— Какой вздор! — был ответ, и шаги немедленно удалились.

Смех, говор, шум опять возобновились, но теперь уже с удвоенной силой: одни из девиц советовали Маше пустить брата, если он возвратится; другие, напротив, уговаривали ее выдержать характер. В минуту этих совещаний за дверьми послышался тоненький голосок, и молоденькая брюнетка с острым носиком вплыла в отворенную Машей дверь. Оглядев комнату и попеременно каждую из нас, она как будто разочаровалась в чем-то, но звонкие мужские шаги раздались в коридоре, и улыбка появилась на ее лице.

Стук, стук, стук, — снова слышится за дверью.

— Кто там? — спрашивает Маша, смотря на нас с улыбкой.

— Я, Белоградский.

— Что вам угодно?

— Отворите.

— Вы знаете условие?

— Но...

— *Sans phrases* *!

Молоденькая женщина нашла Машу жестокой и невыносимой.

Маша, в звании хозяйки, с безмолвной улыбкой, не

* Никаких «Но» (фр.).

отходя от дверей, выслушала гостью, но бойкая блондинка с карими глазами не выдержала и резко возразила:

— Если вам не нравится, уйдите; мы не оставляем вас силой.

Маша грациозно склонила головку и тоненьким и тихим голосом прибавила:

— Один немецкий историк сказал, что то правительство самое лучшее, под которым большинству лучше.

Молодая женщина умолкла и пожелала уйти, но в эту минуту за дверью опять раздался стук, и Маша, вежливо поклонившись оскорбленной гостье, положила руку на медный замок дверей.

— В последний раз, пустите ли вы меня? — послышался голос, смягченный уже улыбкой.

— С условием?

— С каким хотите!

— Два вы знаете; третье: вы нам споете вечером перед балом одну из тех арий, которую вы так чудно поете.

— Отворяйте, Сивилла Кумейская. Тарквиний побежден!

Замок щелкнул, и Белоградский появился в дверях при звонком смехе, раздавшемся со всех сторон. Впрочем, это не смутило его, он вошел с видом, исполненным достоинства; рот его был сомкнут, но в глазах скользила улыбка. Маша стояла перед дверьми с платком и, не дав брату времени оглядеться, завязала ему глаза. В продолжение всей этой церемонии он стоял не шелохнувшись и только позволял себе делать гримасы, как будто усиливаясь выгримасничать себе побольше света.

— Готово?

— Поймите, мой благородный рыцарь, — вскричала Маша со звонким смехом и отскочила в сторону.

Девицы рассыпались по углам, но я осталась под померанцевым деревом на своем прежнем месте. Мне казалось невозможным, чтобы Белоградский прилично выпутался из этого положения: как он размахнет руками и как пойдет ощупью ловить девиц?

«Надо развязать его», — слышалось из разных углов. «Нет, не надо», — вскричали другие. Я присоединила свой голос к последним. Наши переговоры оскорбили джентльмена с завязанными глазами, и он прямо направился вдоль по комнате. Девиц было очень много, все в пышных кринолинах, и поймать которую-нибудь из них не представляло затруднений; однако ж Белоградский, к великому удивлению всей публики, не хотел протянуть даже руки, а все шел, шел и свернул прямо к померанцевому дереву, под которым я сидела. Мне показалось это очень странным, тем более что играть мне не хотелось; но он приближался, и мне оставалось или объявить себя в числе неиграющих, что произвело бы всеобщее неудовольствие, или оставить свое убежище. Я выбрала последнее и, выскочив из-под дерева, бросилась на диван, с дивана на стол, со стола в кресло и отсюда уже на середину комнаты. Он преследовал меня, как будто был с открытыми глазами. Я одета была против других вовсе не пышно и сначала надеялась спрятаться за чей-нибудь кринолин. Однако ж надежда оказалась тщетной. Он сторонился от пышных девиц и гнался за мной; шаги его были самоуверенны и тверды. Я не сомневалась, что он видит, но высказать этого не успевала, он не давал мне отдыха: я брошусь в угол — он за мной, я в другой — он опять тут как тут. Наконец все уже остановилось и с хохотом смотрели на нас. Минут десять я бегала от него, но силы начали покидать меня, я задыхалась и, с последним отчаянным усилием прыгнув в угол, закричала:

— Он видит: я не играю.

Он сбросил платок с глаз и весело вскричал:

— Прочь повязка слепого бога! Никогда я не верил в твою слепоту!

— Он видел, видел, — закричали со всех сторон. — Завяжем его опять.

— Этого не было оговорено в условии, прелестные феи, — отозвался он, быстро оглянувшись.

— Верно, у вас были свои резоны поймать известную особу, а не другую, — проговорила злобно молоденькая женщина.

Я только теперь вспомнила об ней и взглянула на нее. В жизнь свою я не встречала такого презрительно-злобного взгляда, с каким смотрела на меня эта молодая, незнакомая мне женщина. Белоградский при звуках ее голоса как будто обжегся и весь красный, как огонь, обернулся к ней. В продолжение всего нашего знакомства я не видала его в таком крайнем замешательстве; на него как будто вылили ведро горячей воды, и, обваренный, обожженный, он не знал куда деваться. Он, видимо, не ожидал встретить здесь эту женщину, и гнев и стыд избородили черты его прекрасного лица. Мне сделалось неловко за него.

— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, — отозвался он наконец и с невероятной сухостью отвернулся от нее.

— Кто это такая? — спросила я тихонько у блондинки.

— Вдова генерала N. Она очень богатая. Белоградский у нее бывает очень часто, — добавила она с лукавой улыбкой, — это все знают.

Я опустила глаза и перестала спрашивать.

«Вот он, свет, — промелькнуло у меня в голове, — а какой приличный человек этот Белоградский. Зачем я отдала ему свой портрет?..»

Между тем он уже совершенно оправился и, тихий, свободный, с своим спокойно-задумчивым взглядом, с легкой улыбкой на устах, предлагал девицам ехать кататься. Получив от них согласие, он повернулся ко мне и, немного возвысив голос, сказал с легким поклоном:

— Могу ли я просить вас ехать со мной?

Не ответив ему ни да ни нет, я молча поклонилась.

— О чем вы задумались? — спросил он, подойдя ко мне и принизив голос.

— Я много услышала и увидела нового, — ответила я, взглянув ему в глаза.

Он не возразил ни слова и, предложив одну руку мне, а другую блондинке, стоявшей подле меня, повел нас в залу.

IX

Отъезд был очень шумный. Густые и тоненькие эполеты, мундиры с аксельбантами и без аксельбантов; желтые и пестрые жилеты; сюртуки различных покровов; старые и молодые женщины в бедуинах и амазонках, мантильях и шляпах, все высыпали в коридоры, и все это суетилось, толкалось, говорило, шумело. Белоградский, на время оставив меня, объяснялся в стороне с брюнеткой-вдовой. Разговор их, по-видимому, был очень серьезен. Молодая женщина возражала с горячностью, а Белоградский отвечал ей сухо; в глазах его блестело презрение; на губах скользила ироническая улыбка. Судя по выражению лица его, я не сомневалась, что он, по своему обыкновению, режет беспощадно собеседницу, а та отвечает ему невпопад. Мне было жаль молодую женщину: противник был, очевидно, сильнее ее. Девицы, узнав о приглашении,

сделанном мне Белоградским, крайне удивились, а блондинка с карими глазами даже спросила меня простодушно: «А madame N. с кем поедет?» Я просила ее объяснить мне этот вопрос и узнала, что madame N. постоянно каталась с Белоградским. Если б я знала это прежде, то отказалась бы наотрез от приглашения Белоградского. Конечно, я и теперь могла это сделать, но отказаться при всех как-то неловко... Впрочем, сообразив все, я стала к стене коридора, так чтобы Белоградскому непременно пришлось проходить мимо меня, и стала поджидать конца его разговора.

Маленькая Аня, воспитанница Горской, привлекла на себя мое внимание. В розовом платьице и широких вышитых панталончиках, она перебегала от одной барыни к другой и о чем-то слезно умоляла их. Из беспокойства ее я поняла, что ей смертельно хотелось ехать, но все ее просьбы и барынь, внявших ее мольбам, оставались пред Горской тщетными. Старуха оставалась непреклонной. Большие глаза Ани, вращавшиеся с отчаянием во все стороны, подернулись наконец слезой. Я сделала было шаг к ней, но, взглянув на Белоградского, остановилась: пропускать его мне не хотелось.

Кто подсказал ребенку, что в этой толпе женщин есть одна, которая сочувствует ей? Аня взглянула на меня и начала пробираться в мою сторону. Я выдвинулась и окликнула ее:

— Что с вами, Аня?

— О, mademoiselle, — был ответ, полный горя, — ils vont se promener tous *, — и рыдания заглушили ее маленький голосок.

Я огляделась. Маша стояла подле Горской, в дверях, против Александра Сергеевича, и что-то болтала

* О, барышня, все девушки идут гулять (фр.).

с ним с большим увлечением. Разве подойти к Маше, мелькнуло у меня в голове, и попросить ее походатайствовать за Аню пред теткой? Но Горская вряд ли уважит просьбу Маши. Вот Белоградский другое дело, и, не выпуская из рук крошечной ручонки Ани, я взглянула на Белоградского. Он стоял на прежнем месте, но молодая дама ушла уже от него. Поразмыслив, я сочла за лучшее попросить его за Аню и вместе с тем отказаться от его приглашения. Задумано — сделано: я взяла Аню и пошла к нему вместе с ней.

Я заметила ясно, что он еще не успокоился от недавней беседы: в глазах его блестел холод, в улыбке, с которой он обратился ко мне, было больше учтивости, чем дружественности: однако ж отступить было поздно, и, выдвинув Аню, я проговорила:

— Извините меня. Но вы всегда были очень добры ко мне. Я желала бы, чтобы вы попросили вашу тетушку взять Аню кататься.

Он обратил на Аню рассеянный взгляд и еще раз поклонился мне.

— Я всегда рад служить вам.

И, не дожидаясь моей благодарности, он безмолвно взял Аню за руку и подошел с ней к тетке. Провожая их глазами, я встретила взгляд Маши. Она засмеялась и кивнула мне головой, как будто подзывая меня к себе. Я приблизилась.

— Скажите нам, Наташа, — вскричала она с блистающими глазами, — не помните ли вы число того дня, как тетя застала вас вечером у брата?

Этот вопрос крайне удивил меня; почему Маша знает, что я была у ее брата, и зачем она спросила меня об этом при Александре Сергеевиче? Однако ж, поразмыслив, я ответила спокойно:

— Ваша тетушка никогда не заставляла меня у вашего брата.

Маша вспыхнула и устремила вопросительный взгляд на тетку; но та разговаривала с племянником и не слышала моего ответа.

— Так вы не были у брата? — спросила Маша уже робко.

— Я была у брата вашего, но ваша тетушка не заставляла меня у него, — отвечала я, отвертываясь.

Маша быстро схватила меня за руку и, с ласкающей приветливостью заглянув мне в глаза, объявила, что я должна ехать с ними. Белоградский, услышав ее слова, повернулся к нам и сказал гордым, решительным тоном:

— Она едет со мной!.. — И вслед за этим, обращаясь ко мне, он мягко прибавил: — Ваша protégée * едет кататься.

Я молча поклонилась и отступила, давая дорогу Маше и Горской, которые, вместе с Александром Сергеевичем, направились к выходу. Пестрые наряды женщин начинали редеть, молоденькой вдовы я не могла уже отыскать в коридоре, а между тем отказаться от предложения Белоградского я все еще не успела. Он опять отвернулся от меня и разговаривал с каким-то господином. «Положим, — думала я, — мне нет никакого дела до его отношений к молодой женщине, до того, что он постоянно говорил с ней, катался (я еще прежде мельком слышала об интриге Белоградского в городе), положим, мне нет до этого никакого дела, но мне неприятно накликать на себя злобу незнакомой женщины, накликать ни за что ни про что». Отблагодарить Белоградского за его любезность и отправиться домой я решила непременно, и мне жаль было немного только моего портрета. И к чему он просил его у меня?..

* Протеже (фр.).

— И нам пора, — сказал он наконец, обращаясь ко мне.

Мое неумение отказываться оказалось и здесь образцовым. Я тупо смотрела в глаза Белоградскому и молчала. Он вынул из кармана часы, взглянув на них, прибавил с улыбкой:

— Уже семь часов.

Я видела, что из женщин никого не оставалось на террасе. Мой отказ выходил теперь грубым и глупым; однако ж я не захотела отступить и, собравшись с духом, решительно сказала:

— Мне не хочется ехать.

Я приготовилась стерпеть сухую учтивость и, в ожидании ее, смотрела на брови Белоградского; но, к великому моему удивлению, в глазах его блеснула тонкая улыбка.

— И вы меня решились оставить одного без дамы? — спросил он с преувеличенным удивлением.

Я смотрела на носки своих башмаков и молчала.

— Я требую вознаграждения, — продолжал он, протягивая мне руку. — Вы должны идти на террасу и скучать со мной до их возвращения.

Отказать ему и в этом мне показалось уже решительно неделикатным. Посидеть с ним полчаса, даже час, куда ни шло; а потом уберусь преспокойно домой, подумала я, и подала ему руку.

Проходя через залу мимо цветущих олеандров и камелий, он спросил меня: люблю ли я цветы. Я ответила утвердительно, и он, наломав очень огромный букет, подал его мне с словами:

— Я сожалею, что не знал этого раньше; иначе у вас не переводились бы цветы.

— Но вы оборвали все цветы... Маша будет сожалеть...

— Если только она узнает, что для вас, она будет рада.

Я промолчала, и мы вошли на террасу.

Рассматривая букет цветов, я не могла выкинуть из головы мысли о молодой вдове, об ее отношениях к Белоградскому. Странное чувство, похожее на оскорбление, закипело у меня в сердце, между тем рассудок мне говорил, что Белоградский всегда был только вежлив со мной, и потому оскорбляться мне было решительно нечем. Еще другая странность: прежде предупредительность и любезность Белоградского, если и не всегда, были приятны мне и частенько приводили меня в смущение, но оскорбления от них я не чувствовала никакого; а теперь каждое его слово, сказанное нотой ниже против обыкновенного голоса, раздражало меня. Стоя подле меня, облокотившись на чугунную решетку террасы, он указывал мне на облака, качавшиеся в реке, на темную зелень сада, на сиявшие вдали горы, — все это я еще слушала равнодушно; но лишь только он наклонялся ко мне слишком близко, негодование захватывало мне дух. Я чувствовала желание бросить букет цветов ему в лицо и уйти домой.

— А как красиво переливаются оттенки гор, — говорил он полушепотом. — Год тому назад, отправляясь из Петербурга в эту даль, я никак не мог вообразить себе, что в этом глухом краю найду клад, что в этих глухих горах скрывается бесценнейший алмаз.

Он умолк. Не зная, что подумать об его словах, я взглянула ему в глаза и встретила неожиданно такой взгляд, от которого сердце мое сильно забилося и исполнилось невыразимого негодования.

— Я получил хорошее место в Петербурге, — продолжал он, смотря на темную зелень сада, — и на днях уеду отсюда. Сестра и тетка проживут здесь до зимнего пути. Я, может быть, приеду к осени в эти края,

может быть, и нет... Я никогда не гонялся за роскошью, — прибавил он после минутного молчания сдержанно-гордым тоном, — никогда не чувствовал к ней влечения; я желал в жизни только одного: встретить женщину, которую бы я искренно полюбил и которая также полюбила бы меня. Но где найдешь такую?..

Я смотрела на его встревоженное лицо, и в сердце у меня восставал ответ: «Об этом надо посоветоваться с опытными женщинами, вроде той вдовы-брюнетки, с которой вы вели такую жаркую беседу».

— Ваше дело искать! — отвечала я вслух, не спуская глаз со своих ногтей.

— Я нашел! — сказал он тихо, и рука его коснулась моей руки, лежавшей на перилах.

Я шевельнула легонько пальцами, подумав: «Примет ли он свою руку?» Он принял.

— Я радуюсь за вас, — проговорила я, подняв голову и смотря ему прямо в глаза.

— Я выбрал эту женщину, — сказал он, напрасно усиливаясь скрыть волнение голоса. — Мое счастье в ваших руках, — прибавил он едва слышно и склонив голову.

Я очень хорошо понимаю, что для всякого честного и не глупого мужчины выговорить слова: «я хочу жениться на вас» — не легко. Произнести в этом случае резкий отказ тяжело. Но что сказать, если это предложение обращается в оскорбление? Я видела только одно: этот человек ведет интригу с одной женщиной и делает предложение другой. Если б я любила его и от соединения с ним зависела моя жизнь, я и тогда отвергла бы с негодованием его предложение.

— У вас так много родных, — сказала я после минутного молчания и едва владея собой, — что они, вероятно, не допустят подобного неравного брака.

Он с гордостью поднял голову:

— Я не ребенок и могу сам знать, что мне следует делать и что нет.

— Это слишком большая честь для бедной девушки, — продолжала я, опуская глаза. — Я не считаю себя достойной принять ваше предложение.

Наступило долгое и тяжелое молчание.

— Я не понимаю вас! — выговорил он наконец.

— Поймете, когда я вам скажу, что мне неприятно слушать вас, — ответила я, не выдержав своей смиренной роли, и отвернулась от него.

Я не знаю, что он думал в эту минуту, но я уже презирала его. Облокотившись на перила, я стала смотреть на реку, на горы и старалась успокоиться. Одно мгновение мне страстно хотелось высказаться перед ним прямо и потом уйти домой; но мысль, что он сочтет меня за сумасшедшую, удержала меня в границах приличия. Отвернувшись от него, я осталась на террасе. Если за полчаса перед этим я шла сюда с твердым намерением уйти от Белоградского при первой возможности, то теперь я уже не помышляла о том. Если б я ушла от него, он мог бы подумать, что я верю его чувству, что мне больно и тяжело сказать ему: «нет!» Но я не хотела оставлять его в заблуждении насчет себя и через несколько минут прерывающе взглянула ему в лицо. К моему горю, он не смотрел на меня и, устремив глаза в глубину сада, стоял будто окаменелый. Я опять отвернулась и начала рассматривать даль. Желтый песок спускался уступами от террасы к реке, облака, отражавшиеся в ней, темнели; из-за гор поднималась туча, одним крылом опершись на горы, она вытягивала другое на завод; лучи солнца обливали ее кровавым блеском. Но над нашими головами небо было ясно и, отделяясь от тучи, уходило в бездонную глубину. Деревья стояли не шелохнув-

шись... Не помню, долго ли мы оставались на террасе: только ропот стемневшей воды все явственнее доносился до моего слуха; цветы испускали душистые испарения; наконец и густой сад подвинулся темным сумраком к террасе. Из-за тучи выглянул месяц и, осеребрив крайние облака, рассыпался таинственным сиянием по саду, по воде, по горам, протянулся фантастическими тенями по тропинкам и лужайке. Какая-то птичка чирикнула в гуще дерев; и опять все смолкло. Месяц, поколебавшись между тучей и небесной синевой, снова юркнул в темную бездну. Над нами замерцали родимые созвездия Медведиц... В прозрачном воздухе раздался грохот экипажей; ночная тишина оживилась; веселое общество возвращалось с прогулки. В зале давно уже горели огни; на террасе, в густоте зелени, также засветилась лампа, и ночь, откликнувшись на этот свет еще мрачнее и таинственнее, вползла сквозь зелень со всех сторон на террасу.

Я не забыла, что Белоградский стоит подле меня, но уже не думала о нем. Александр Сергеевич и Маша стояли у меня в голове на первом плане. Где они теперь, о чем они говорили дорогой? Александр Сергеевич не походит на Белоградского; он человек нравственный и не способен оскорбить женщину так, как оскорбил этот. Прислушиваясь к отдаленному гулу шагов и говору, я ждала, что вот он и Маша появятся в зале; однако ж мужчины вошли, а Александра Сергеевича не было между ними. При звуке шагов входивших в залу Белоградский направился было к дверям, но вдруг обернулся и уселся на диван под лампу. Двери из залы на террасу были отворены. Аня, вбежав в залу, огляделась кругом и бросилась в отворенные на террасу двери. Заглянув в угол, где светилась лампа, она увидела Белоградского, засмеялась и прыгнула к нему.

— *Mersi beaucoup, mon cousin!..* * — И, неожиданно понизив голосок, она начала что-то шептать ему.

— *Que dis tu la, mon enfant?* ** — спросил он, слегка сморщив брови и, видимо, недовольный болтовней ребенка.

Девочка наклонилась к его лицу и начала уже шептать ему в рот; но он опять не услышал и, отстранив ее от себя, спросил с едва заметным нетерпением:

— Ну *monsieur* *** у меня, потом кто?

— Кузина Мери... — ответил ребенок робко.

— И она ушла ко мне? Зачем?

Аня замолчала.

Маша и Александр Сергеевич ушли во флигель к Белоградскому. «Зачем это?» — подумала я.

Он подождал ответа от девочки и потом, обернув ее ко мне, сказал равнодушно:

— Иди, поблагодари *mademoiselle* ****. Она хлопотала о твоей прогулке.

Аня только теперь разглядела меня. Не спуская с меня своих больших черных глаз, она притихла на мгновение, как будто не зная, каким образом исполнить приказание дяди; потом вдруг бросилась и обвила своими ручонками мою шею; поцелуям и благодарностям не было конца. Я также поцеловала густоволосую девочку и попросила ее сказать мне, вместо благодарностей, что я могу еще сделать для нее. Аня не была из отъявленных скромниц. Она задумалась на мгновение и, быстро сообразив, ответила мне, что ей очень хочется поесть сосулек. Из дальнейшего объяснения я уразумела, что под этим названием она разумела белые пряники, которые продавались в лавчонках

* Спасибо, мой кузен!.. (фр.).

** Что ты говоришь там, мое дитя? (фр.).

*** Господин (фр.).

**** Варышня (фр.).

у нас в заводе, но редко попадали в большой дом. Я еще раз поцеловала девочку и дала ей слово принести на другой день, в десять часов, сосулек. Местом нашего свидания мы назначили беседку в саду.

— А вот и Зарятин! — сказал Белоградский, спокойно смотря в залу. — Маша, верно, тоже возвратилась!..

И, повернувшись ко мне, он, уже приличный, вежливый, как всегда, отнесся с вопросом: может ли он проводить меня до комнаты сестры?

Если б я задавала себе вопрос, в какие отношения станет ко мне Белоградский после моего отказа, то, наверное, никогда не придумала бы, в какие. Смотря на его спокойное лицо, задумчивый взгляд, я видела, что и мне ничего не остается делать, как последовать его примеру, показать вид, что я также ничего не помню. Я молча подала ему руку. Проходя через залу, мы встретили Александра Сергеевича, но он стоял, повернувшись к окну, неизвестно что рассматривая в темноте, и не заметил даже, как мне показалось, ни меня, ни Белоградского.

Х

Доискаться настоящего смысла в поведении Маши было чрезвычайно трудно. Что у нее было на сердце, какой взгляд она имела на того или другого человека, никто почти не угадывал. Она постоянно болтала, но почти никогда не раскрывалась. В случае нужды она говорила в аристократическом духе; в другой раз она выглядела отъявленной демократкой; она была религиозна, но иногда у ней срывались с языка такие вещи, что я с ужасом отвертывалась от нее. В этот день также, сколько ни следила за ней, я решительно не могла понять, довольна ли она моим сужением или

нет. Войдя с Белоградским в ее комнату, я застала ее в довольно странном положении: она сидела, опрокинув голову на спинку кушетки, и смотрела в потолок. Она была бледна как смерть, и на лице у нее выражалась тоска и отчаяние, но лишь только она услышала голос брата, как вскочила, вспыхнула и, встряхнув локонами, показала нам два ряда маленьких жемчужных зубов.

— Угадайте, кто будет сюда? — спросила она лукаво, смотря на меня. — Я посылала за вами. Где вы были? Вы останетесь у меня, так? Теперь только девять часов или половина десятого. Через час я буду одеваться к балу, но прежде я хочу, чтобы вы и Александр Сергеич поздравили меня — согласны? Брат также не откажется, да?

И, сжав мне руки, она кивнула головой. Потом опять улыбнулась и позвонила в колокольчик.

— Позови Александра Сергеича и принеси шампанского! — сказала она вошедшему человеку.

— К чему это? — спросил брат сухо и холодно, после того как человек вышел. — К чему эта странная комедия?

— О Joseph! — сказала она с умоляющим видом, подойдя к брату и положив обе руки к нему на плечи, — Александр Сергеич через полторы недели едет отсюда. Я хочу благодарить его, он для меня много сделал, и ты, Joseph, поблагодари его.

Белоградский тихонько отстранил ее от себя и, перейдя на другой конец комнаты, уселся в кресла к окну, выходящему на балкон.

— Значит, я могу проститься с вами? — обратилась я к Маше.

— Нет, не значит, — возразила она с комическим ужасом, в котором проглядывало, однако ж, неподдельное волнение. — А я с кем останусь? Или пригласить

которую-нибудь из этих овечек? Но они все разболтают, и матушки их заговорят, что я развращаю их невинность, — как можно!

— Но...

— Опять это несносное «но». Я не отпущу вас и все тут!.. Однако постойте (она насторожила слух и покраснела). — Joseph, — обернулась она с живостью к брату, — идет Александр Сергеевич!.. Я прошу тебя, прими его и устрой все это хорошенько, по-мужски — я не умею.

Я с любопытством смотрела на Машу. Она казалась оживленнее обыкновенного; глаза сверкали ярче, движения были порывистее. Она смеялась, болтала, но в ее смехе и болтовне замечалась лихорадочная живость и веселость. Не зная, что подумать об этом, я посмотрела на Белоградского, но он, холодный и исполненный достоинства, стоял, устремив глаза на дверь и поджидая Александра Сергеевича...

Я видала Александра Сергеевича в продолжение шести лет чуть не каждый день; я видала его в тоске, в грусти, в раздражении, но никогда я не видала его до такой степени бледным, гневным и злобным, как в этот раз. У людей слабых всякий сильный порыв души является смешным, но у людей с волей и характером подобный порыв редко не бывает страшен. Он стоял в дверях почти зеленый, глаза его открылись неимоверным образом и, черные как уголь, блестящие как огонь, смотрели в комнату, не останавливаясь ни на ком. Но суровые черты лица были, как всегда, неподвижны. Он умел владеть собой, и все, что находилось в его власти, он подчинил своей воле. Я не спрашивала себя: что с ним; но голова моя инстинктивно повернулась к Маше. Она смотрела на меня и улыбалась. Этот смех так дурно гармонировал с тем, от чего глаза мои отвернулись, что Маша показалась мне злым,

лукавым чертенком: над чем она смеется?.. Не знаю, заметил ли Белоградский зеленое лицо Александра Сергеевича, только он, со свойственной ему вежливостью, вышел навстречу к моему жениху и предложил ему тост за новорожденную. В ответ на это Александр Сергеевич медленно нагнул голову и, переступив порог, устремил тяжелый взгляд на Машу. Между тем Белоградский позвонил в колокольчик, и, когда слуга принес на подносе четыре стакана, он приказал ему подвинуть четыре кресла к столу. После этого распоряжения он отнесся сначала к нам, потом к Александру Сергеевичу с приглашением занять места. Все это делалось мерно, чинно, с соблюдением всевозможного достоинства и приличия. Маша, краснея и улыбаясь, уселась первая за стол, за ней Александр Сергеевич. Зеленоватый цвет не сходил с его лица, но шаги были тверды, голос, которым он отвечал на вопросы Маши, ровен. Взяв в руки маленький стакан, Маша обратилась к брату с выражением благодарности; но он, отклонив все от себя, сказал, что в шесть лет своего опекунства над ее именем ничего не мог бы сделать для нее без Александра Сергеевича и что поэтому вся ее признательность должна быть обращена к тому, кто управлял ее именем. За этим, вычислив все заслуги Александра Сергеевича, намекнув, что они не останутся без вознаграждения, он поднял стакан и поздравил Машу с совершеннолетием. В продолжение всей этой речи Александр Сергеевич сидел со стиснутыми зубами, не спуская глаз с лица Белоградского, и как только тот умолк, он взял спокойно стакан и, слегка поклонившись хозяевам, осушил его в одно мгновение. Я вздрогнула. Больше полустакана он не пил никакого вина. Ему нельзя было, по его словам, пить вино, потому что умеренности не было в его натуре: стоит ему пуститься в разврат, он удивил бы мир своим развра-

том, точно так же, стоит ему только начать пить, он станет запиваться; последнее было испробовано им один раз. Пьяный муж! Страшнее этого мне ничего не могло представиться. Белоградский между тем преспокойно наполнил снова стакан своему гостю. Я возненавидела его в эту минуту всеми силами своей души и готова была выцарапать ему глаза за этот наполненный стакан. Маша, глядя на меня, смеялась и, коснувшись губами краев своего стакана, заставила меня чокнуться с собой.

— Скажи мне, Joseph, — сказала она, — отчего у англичан женщина выходит из-за стола раньше мужчины? Что это за глупости?

При этой легкомысленной выходке сестры Белоградский слегка наморщил лоб и объяснил, что обычай этот истекает из того уважения к женщине, которым отличается англосаксонское племя.

— И вы того же мнения? — обратилась она к Александру Сергеевичу, видимо, желая вовлечь его в разговор.

— Нет, не того! — ответил он после долгого молчания.

Она наклонилась, как будто желая выслушать его объяснение.

— Я не понимаю нравственного лакейства, самоотречения, — проговорил он своим ровным голосом, не спуская с нее глаз, — и не умею всякую грубость возводить в идеал. Женщина мешала чувственным варварам напиваться и валяться под столами, вот они и выталкивали ее, когда это было нужно!

Говоря это, Александр Сергеевич не смотрел на Белоградского, но тот побледнел и начал было вставать, Маша быстро схватила его за руку.

— Хорошо, — сказал он, взглянув на сестру и снова усаживаясь в кресла, — смысл ваших слов, Александр

Сергеевич, мы найдем время разобрать, а теперь, — прибавил он, наливая себе стакан, — мы выпьем за ваше здоровье.

— Да, да, — вскричала Маша, — мы выпьем за здоровье Александра Сергеевича. Наташа, я хочу чокнуться с вами.

Мы чокнулись. Потом она повернулась к Зарятину и предложила ему чокнуться с ней. Он мельком, но с невероятной злобой и презрением взглянул на Белоградского и, медленно протянув руку со своим стаканом к Маше для чоканья, снова осушил его. Он пил, хотел пить — это было видно. Каждый выпитый им стакан проходил по мне раскаленным железом; но когда он наконец выдвинул свой опорожненный стакан чуть не в седьмой раз на середину и Белоградский снова наполнил его, я не выдержала и встала из-за стола.

— Теперь мы станем пить за ваше здоровье, — сказал Белоградский, обращая ко мне со своим возмутительным хладнокровным достоинством.

— Если для этого нужно мое желание, то я не желаю! — ответила я холодно.

Глаза Александра Сергеевича, большие и блестящие, следили за мной, он хорошо знал, что значит в моем мнении пьяный человек, и между тем он не затруднился сказать мне:

— Я стану пить за ваше здоровье, Наталья Алексеевна.

Я побледнела от негодования.

— Пейте, — сказала я, овладев своим голосом, — пейте, только за свое здоровье.

— Как, вы отказываете брату? — вскричала Маша с лихорадочным блеском во взгляде и с пылающим лицом.

Я нахмурилась; но Белоградский предупредил меня.

— Я не настаиваю, — сказал он сухо.

Я отошла к окну. Тяжесть воздуха начала раздражаться раскатами грома и крупными каплями дождя; но у меня на сердце с минуты на минуту становилось тяжелее; какое-то предчувствие томило меня. Александр Сергеевич следил за мной; Белогородский хмурился, Маша судорожно веселилась. Мне казалось, у меня над головой собираются тучи...

— Куда же вы ушли, — начала опять Маша, повернув голову ко мне, — садитесь сюда. Хорошо, если вы не хотите пить за ваше здоровье, выпейте за счастье брата — согласны? Мы пьем, Joseph, — сказала она весело, — за счастливый исход твоего развода с женой. Александр Сергеевич, ваш стакан полон!

Он сидел, опустив глаза на стакан, и молчал. Она повторила свои слова.

— Я не так короток с вашим братом, чтобы сочувствовать ему в таком деле, которого я совершенно не знаю, — был равнодушный ответ.

— За его счастье?

Он отодвинул от себя стакан.

— За его здоровье?

— Я не могу пить больше. Ваш брат будет здоров без моего желанья. Послезавтра я сдаю управление заводом одному своему знакомому и скоро еду отсюда. Верно, я у вас в последний раз — прощайте!

Слова эти он говорил уже стоя.

— Готовы вы, Наталья Алексеевна, идти за мной? — спросил он меня с особенным выражением в голосе.

Маша побледнела и, схватив меня за руку, прошептала: «Оставайтесь!» Я, разумеется, не послушалась бы ее и пошла за Александром Сергеевичем, если б он не был взбешен или, по крайней мере, если б я понимала причину его гнева; но я видела только его бешенство и сочла более благоразумно пропустить его предложение мимо ушей.

— Я вас спрашиваю, Наталья Алексеевна: решились вы остаться здесь или следуете за мной?

Теперь голос его звенел уже металлическими нотами. Я взглянула на Машу; она сидела вся побледнев, только глаза ее сверкали да руки судорожно сжимали мою руку.

— Дождь, гром, ветер, — сказал Белоградский, учтиво относясь ко мне. — Позвольте мне предложить вам экипаж?

— На два слова! — проговорил Александр Сергеевич уже явно бешеным голосом, обращаясь к Белоградскому.

На этот раз я, однако, решилась предупредить готовящуюся бурю.

— Я иду с вами! — сказала я, обращаясь к своему жениху.

В ответ на это он сначала взглянул на меня, а потом без всякой церемонии взял меня за руку.

— Если я еще раз увижу вас около этой девицы, — прибавил он Белоградскому, — то сочту для себя долгом переломать вам ребра.

Белоградский слегка побледнел, однако ж ответил очень спокойно:

— Вы завтра получите ответ на все ваши слова.

Тот и другой обменялись этими словами по-английски, и смысл их я узнала после, но в эту минуту, слушая их, поняла только то, что причина бешенства Александра Сергеевича — Белоградский.

Рука Александра Сергеевича, твердая как железо, прижала мою руку с силой железного обруча. Я попробовала было освободиться от нее, но мой спутник утратил, кажется, способность чувствовать и, шагая огромными шагами, тащил меня за собой. Я сказала ему, что моя мантилья на террасе, но он оказался глух и нем. На дворе была страшная темь; только од-

ни молнии, бороздя время от времени небо, указывали путь. В воздухе кружился резкий и даже холодный ветер; дождь с минуты на минуту грозился превратиться в ливень, а я была в одном кисейном платье, без калош, без мантильи — но что за дело до этого моему жениху? Он деспотически тащит меня за собой — я вещь в его глазах... Впрочем, выйдя на крыльцо и почувствовав перемену воздуха, он как будто машинально оглянулся на меня, потом мгновенно сбросил с себя верхнее пальто и накинул его мне на плечи. Но за этим я должна была уже беспрекословно подчиниться всем его велениям. Возмущенная до глубины души его поведением, я хотела отвергнуть его услугу, сбросить с себя его пальто; но он молча снова накинул мне его на плечи и, захватив в одну руку оба его рукава, лишил меня таким образом всяких средств к сопротивлению. Если бы в эту минуту ноги мои отказались следовать за ним, он, вероятно, взял бы меня на руки и донес вплоть до ворот моего жилища.

Всю дорогу мы шли молча, под проливным дождем. Я задыхалась от боли и негодования. Я знала, видела, что он разгневан, но вымещать этот гнев на мне я находила с его стороны делом безбожным. Несколько раз он останавливался, открывал рот, как будто намереваясь что-то сказать, но вместо слов выпускал какие-то звуки, какое-то мычание, похожее на стон, и умолкал. Через минуту опять возобновлялись эти глухие стоны, и опять все умолкало. Проходя через мост, я подумала, что если б ему вздумалось бросить меня в пруд, это не стоило бы ему никакого труда; да нет, так легко он не расстанется со мной; он не столько ценит свою жизнь, сколько свои страсти, и так как мне пришлось попасть в этот жернов, то он прежде вытянет из меня всю жизнь, высосет всю мою кровь, а потом бросит. Я начинала ненавидеть его. Мы молча прошли мост и

молча остановились у ворот моего дома. Он не выпускал из своей руки рукавов пальто.

— С завтрашнего дня не смей ходить к Белоградским, чтобы нога твоя не переступала порог их дома! — сказал он наконец хриплым голосом.

В это мгновение молния разрезала темноту, и черты лица моего жениха под ее синим блеском так изменились, что он показался мне безобразным до отталкивающего ужаса. Он хочет — странное самообольщение! Неужели ему представляется, что он в состоянии сделать то, что хочет? Когда его приказания имели силу? Безумец, он может подчинить только тело человека, но не волю; труп, но не душу. Я молчала. Он отыскал мою руку в рукаве пальто и, сжав ее, повторил свое приказание. Молния опять блеснула. Я взглянула ему в лицо и засмеялась.

— Сегодня ты была в последний раз у Белоградских!.. — прошипел он, и пальцы мои, неловко лежавшие один на другом, захрустели в его железных тисках.

— Мне жаль вас!.. — сказала я, не скрывая своего презрения и не трогаясь с места.

Он испустил какой-то звук, ни на что не похожий, и рука моя омертвела от боли в его руках, в ушах затрещало, из глаз посыпались искры.

Я долго стояла молча: сначала усиливалась оправиться от боли; потом прислушивалась к этой боли; и наконец, промокнув до костей, я начала дрожать от холода.

— Ноги мои промокли, — сказала я.

Рука его мгновенно ослабла, и у меня снова посыпались искры из глаз от боли.

— Я не знаю, что вы говорили с Белоградским, но теперь я вижу, что у вас ссора с ним. Вы замешали меня в какой-то скандал — стыдитесь! Если у вас толь-

ко выйдет с ним что-нибудь из-за меня, то клянусь вам, что я никогда не буду вашей женой.

С последними словами я вывернулась из пальто и, не оглянувшись ни разу, взбежала к себе по лестнице. Прошло более получаса с той минуты, как я вошла в свою комнату: я успела уже переменить мокрое платье на сухое, разбудить Лизу, послать за стаканом воды, выпить эту воду, и тогда уже подошла к окну, освещаемому непрерывной молнией. Но лишь только взгляд мой упал на улицу, как я задрожала и с ужасом отступила от окна. Под проливным дождем, под ударами грома, Александр Сергеевич стоял у моего крыльца в той самой позе, в какой я оставила его: надвинутая на глаза фуражка, голова, наклоненная вперед, и пальто на протянутых руках!

XI

В былое время, прочитывая историю всех народов и всех веков, я постоянно видела господство сильного; грубая материальная сила всегда держала в рабстве все, что было слабее ее. Я никогда не любила мужчин, даже в детстве всегда принимала сторону слабейшего, а когда стала приходить в сознание, симпатии мои резко обозначились: мать свою я любила больше, чем отца, брата я вовсе не любила; но будь у меня сестры, я с ними, наверное, жила бы в дружбе; невестку свою, несчастную жену брата, я горячо любила. Я не испытала материнского чувства, но когда думала, что у меня могут быть дети, то желала иметь дочерей, а не сыновей. Наконец, сердце мое откликалось на все страдания женщины; к страданиям же мужчин я была гораздо равнодушнее. От мужчин вообще я никогда не видала ничего доброго; в отцовском наследстве я была обделена, брат захватил и материнское имя... если

бы не мать, меня оставили бы без всякого образования... Один только человек не походил на всех, этого человека, было время, я любила больше, чем всех женщин, взятых вместе. Но и этот человек кончил тем, что изломал мне руку!..

Эти мысли забегали у меня в голове, лишь только я открыла глаза. Левая рука моя опухла, средний палец ее был вывихнут. Осмотрев руку, я послала Лизу за старушкой-соседкой, которая выправляла различные вывихи и изломы. Припоминая вчерашнюю сцену, я несколько не сомневалась, что бешенством моего жениха я была обязана старухе Горской. Боль в руке у меня была сильна, но оскорбление в сердце еще сильнее. Пусть Александр Сергеевич знал меня ребенком, пусть в продолжение четырех лет он смотрел на меня как на сестру, пусть, наконец, он дал слово матери не оставлять меня, и пусть я обещалась помнить все, что он сделал для моей матери, но все же поступать со мной таким образом он не имел ни малейшего права. Правда, целые года прошедшего говорили за него, но я покамест была свободна и могла разойтись с ним.

За этими мыслями у меня в голове вставала его ссора с Белоградским. Если он вчера сходил с ума, отчего ему не сойти сегодня, когда я откажусь от него? На Белоградского обрушится вся его ярость; но и теперь Бог знает еще чем кончится их ссора. Белоградский не из тех людей, которые легко забывают обиды. Что из всего этого выйдет? Приехала старушка-костоправка и мучила меня недолго: в несколько минут палец был выправлен и рука перевязана. Перевязывая мне руку, старушка все допытывалась, где это угораздило меня вывихнуть так мудроно палец. Я горела со стыда и молчала. Лиза, смотря на меня, также ахала и урезонивала меня, приговаривая:

— Вот не слушались меня, все ходили да ходили в

большой дом, вот и доходились, вывихнули вам там руку!

— Ради Бога, замолчи, Лизавета Ивановна.

— Вы уж вечно такая, Наталья Алексеевна! Кабы послушались меня, ничего бы этого не было.

Я не в силах была спорить с ней в эти минуты и молча отвернулась от нее к окну.

— Лизанька, — сказала я ласково, вспомнив об Ане и обрадовавшись случаю развязаться с своей неугомонной наставницей, — сходи, пожалуйста, за белыми пряниками в лавочку; вон там в шкатулке возьми и деньги.

В этот день мне следовало бы сидеть дома; но слово, данное накануне Ане, я не желала нарушать. Одно меня смущало несколько: проходить в сад мне доводилось мимо дома Александра Сергеевича. Он в двенадцать часов возвращался домой с фабрики и занимался у себя в кабинете; мысль, что он станет следить за мной, возмущала меня. Однако ж я подавила в себе это чувство и, взяв от Лизы пряники, отправилась на место свидания. Я не ошиблась: окно его кабинета было открыто; из окна неслись синеватые струйки дыма; он был дома и должен был видеть меня. Поровнявшись с его окнами, я опустила глаза и прошла, не подняв их. Сердце у меня сильно билось; голова кружилась и трещала; в глазах летали черные мухи; никогда я не чувствовала себя столь разбитой и расстроенной, как в этот раз. Подходя к саду, я решила, если не застаю Аню, оставить пряники в беседке и уйти поскорее домой.

Длинные кедровые и лиственные аллеи вели к небольшой площадке, на которой была построена, в виде башенки, беседка. Узкая лестница вилась от нижней комнаты до самой верхней. Верхняя комнатка была отделана наподобие корзинки с цветами, другая, сред-

няя, тоже была устлана ременными рогожками, уставлена диванчиками и зеркалами. Обе эти комнаты обыкновенно запирались на ключ; в них редко кто входил; но самая нижняя комната, большая, круглая, была по вечерам местом отдохновения Белоградского. Здесь во всякое время можно было найти какую-нибудь забытую им книгу, графин с водой и сигарный пепел. Под круглыми окнами, едва-едва возвышавшимися над землей, росла пушистая трава, далее разрастались светлой зеленью кустарники: переход от мрака к светлой зелени был очарователен. Но теперь я была не в таком настроении духа, чтобы наслаждаться красотой местоположения. Я поспешно вошла в беседку — никого нет, обошла кругом около кустарников — также никого. Рассудив, что Аня или не пришла, или ей наскучило ждать меня, я возвратилась в беседку и, положив завернутый фунт на стол, обернулась было, чтобы выйти, как в кустарниках раздался тоненький голосок:

— Mademoiselle *?

Я выглянула из окна. Грациозная фигурка, с мохнатой, как у медвежонка, головой, подходила осторожно, на цыпочках к беседке; но, увидев меня, она в одно мгновенье очутилась подле окна, а потом уже и у меня на коленях.

— C'est cela, c'est cela! — кричала она, смотря влажными глазами на пряники и глотая слюнки, — oh! que veris êtes charmante! oh que je vous aime! **

И, не зная, что делать, пряники ли есть, или целовать меня, она с пряником во рту бросилась мне на шею. Наконец, после многих поцелуев, она кое-как угомонилась, но это было мгновенье, после которого, взглянув на меня, она вдруг спросила:

* Барышня? (фр.).

** Так, так! О, как вы прелестны, как я вас люблю! (фр.).

— Connaissez vous, M-lle, ce Monsieur, qui est si grant et beau aux cheveux chatins?.. Tenez, notre intendant! c'est comme ça, que ma tante l'appelle? *

— Ну? — сказала я, видя, что ребенок опять занялся пряниками.

Но мысли маленькой девочки перебежали уже с одного предмета на другой; она вдруг пожелала сказать мне что-то по секрету; для этого потребовалось непременно участие моего рта. Она наклонилась к нему и, между тем как глазенки ее смотрели в разные стороны, начала чуть слышно:

— Si mon cousin vous épouse?.. **

И в одно мгновенье, нырнув мне под плечо, она спрятала за меня свою густоволосую головку в полной уверенности, что находится там в совершенной безопасности.

Я оглянулась: шагах в десяти от нас, прислонившись к дереву, стоял Александр Сергеевич. Он был несколько бледен, как будто от бессонной ночи, но совершенно спокоен: лицо его выражало железную решимость.

— Малютка, тетка целый час ищет вас в саду, — проговорил он тихо, без всякой интонации.

Аня выглянула у меня из-под плеча, забрала пряники и в одно мгновенье юркнула в кусты.

Вчерашняя сцена живо пронеслась в моем воображении; голова у меня сильно болела; думать, соображать я ничего не могла; но внутренний голос шептал мне: он, который ненавидит бесправность, явился нарушителем всех прав, и негодование захватывало мне дух. Как только Аня скрылась, я встала на окно и

* Знаете ли вы этого господина с темными волосами, который так красив и статен? Это наш интендант, так зовет его моя тетя (фр.).

** Мой кузен женится на вас? (фр.).

приготовилась прыгнуть на землю... В два шага он был подле меня и протягивал мне руку. Но я с негодованием отвергла эту помощь, соскочила на землю и пошла куда глядели глаза. Впрочем, скоро я опомнилась и увидела, что иду по тропинке, которая ведет на пруд. Густая зелень кленов и вязов сменила хвойные деревья и закрывала от меня свод небесный; в густоте листья чирикал целый хор птичек, в траве звенели кузнечики, солнечный луч, пронизывая зелень, рисовал тени на желтом песке. Распутывая кусты и зелень, я шла вперед; за мной двигались ровные, неизменные, как бой маятника, шаги. Тропинка несколько раз перекрещивалась аллеями, раскидывалась в разные стороны; но, зная дорогу, я наверное бы вышла прямо к пруду. К моему несчастью, передо мной мелькнуло зеленое шелковое платье и большие глаза Горской. Не имея ни малейшего желания встретиться с этой госпожой, я быстро обернулась, свернула с тропинки и через несколько мгновений очутилась перед живой изгородью кустарников. Идти некуда: я снова обернулась и на этот раз встретилась уже лицом к лицу с Александром Сергеевичем. Он молча дал мне дорогу, но пошел подле меня. Я чувствовала, как кровь прилиwała мне в голову и била в виски; я хорошо помнила его оскорбление, но сосредоточить свою мысль ни на чем не могла. Рассудок оставлял меня. Дойдя до скамейки, я остановилась и, став лицом к нему, взглянула ему в глаза.

— Вы оскорбили меня вчера, — были первые слова мои.

Он стоял неподвижно, прислонившись головой к дереву.

— Я никогда не сомневался в вашей чистоте. Наташа, — сказал он спокойно после долгого молчания.

Я вспыхнула.

— Вы могли сомневаться или не сомневаться, мне до этого нет дела. Я говорю: ломать мне пальцы, тащить меня за собой вы не имели никакого права.

Я видела, как глаза его опустились на мою перевязанную руку, как румянец выступил на его щеках и по лбу пробежали морщины, но в то же мгновение лицо его приняло свою обычную неподвижную простоту, и твердые, прямые глаза опять поднялись на мое лицо.

— Я никогда не сомневался в вашей чистоте, — повторил он тихо, но с силой страсти, которая требует себе слова. — Не умею сказать вам, за что я люблю вас, потому что в вас мне все дорого и мило; но помню, что полюбил вас за чистоту ваших понятий, за вашу честность и прямоту. Прежде я считал вас за девушку вполне развившуюся; в этом моя ошибка, это свело меня с ума вчера. Вы ребенок; на мир божий вы смотрите ребяческими глазами; хорошенько разглядывать людей вы не умеете; легко примете мишуру за золото и как раз броситесь в петлю головой. Вы нуждаетесь в твердой руке, которая могла бы поддержать вас. Мать ваша, умирая, отдала мне вас, и пока я жив, я не допущу вас ни до одного легкомысленного поступка, который решил бы вашу судьбу. Вы не способны ни на что низкое, бесчестное, безнравственное, я верил и верю вам, Наташа. Через четыре дня мы с вами уедем отсюда.

— И вы станете ломать мне пальцы, оскорблять меня? — вскричала я в негодовании. — Кто поручится мне, что вы не станете бить меня?

Он покраснел и долго молчал.

— Верите ли вы моему честному слову? — сказал он наконец просто. — Я отрублю ту из своих рук, которая коснется вас. Верите ли вы мне, Наташа?

На это я не нашлась ничего ответить и молчала, но чувство оскорбления стихло во мне.

— Я сходил вчера с ума, Наташа, — продолжал он тем же простым убедительным голосом, садясь подле меня на скамейку. — Когда вы сделаетесь моей женой, наши отношения изменятся. Страсть моя по естественному закону должна умериться; сумасшествие пройдет, останется одна любовь. Мы уедем далее на север... подальше от этого бессмысленного общества, подальше от этой прокислой цивилизации. Там мы найдем себе жизнь и сумеем жить с пользой... Я жил до сих пор одним настоящим, но с вами стану жить будущим. Вы все это понимаете, Наташа. Мои симпатии — ваши симпатии. Ваши радости будут моими радостями, мои — вашими. Мы станем жить одним духом. Это непременно должно быть. Вы во мне станете находить, так же как я в вас, и радость, и блаженство, и тревогу. С другой женщиной я не уживусь, характер у меня тяжел... другую женщину я сделаю рабой, сделаю несчастной... Я не хотел вовсе жениться, но судьба распорядилась по-своему, и через четыре дня я сделаю вас своей женой, и вы будете счастливы со мной.

«Сделает своей женой! Какое деспотическое выражение!» — подумала я.

— А ваше приказание не смей мне ходить туда, куда вам не угодно, — тоже должно быть отнесено к особому счастью моему, — проговорила я с пренебрежением.

— Я не так выразился, — отвечал он, подумав, — я должен был сказать: «Прекратите, моя дорогая невеста, все свои отношения с Белоградскими, этого я требую во имя нашего взаимного счастья».

Смотря ему в глаза, я долгое время не знала, что говорить.

— В вашем требовании я ничего не вижу разумного, — проговорила наконец я.

— Разумного? — повторил он, пристально взглянув на меня и как будто взвешивая мои слова. — Разве непременно нужно разумное в этом?

— Непременно.

Морщина улеглась между его бровями.

— Я не люблю Белоградских, — сказал он.

— Это ваш личный вкус.

— И вам нет дела до него?

— Я готова многое сделать для вашего удовольствия, но не расходиться с людьми, которых я уважаю.

Он долго думал, потом встал, сделал несколько шагов от меня, наконец повернулся ко мне и сел.

— Я имею основания думать, — сказал он после заметной борьбы с собой, — что эта Марья Белоградская решительно бросается на шею к мужчинам.

— Это до меня не касается, — сказала я, вспыхнув.

— Не касается? Бросься она даже на шею к вашему мужу?

— В муже своем я предполагаю настолько нравственной твердости, чтоб отстранить ее от себя.

— С вами не сговоришь, — решил он с заметным неудовольствием, — вы смотрите на все своими глазами. Наконец, я не люблю Белоградского: ему только говорить эти карикатурные спичи. Он ездит в город к любовнице, а здесь отбирает портреты от молоденьких девушек. В одно время ставит свечки и сатане, и богу. Я изломаю ему ребра.

— Я сама отдала ему портрет, — сказала я.

Александр Сергеевич немедленно повернул ко мне свое лицо.

— Я в то время не видела в этом ничего дурного, но если б я только знала!..

— Оставим это, — прервал он спокойно, но побледнев, — я не расспрашиваю.

— А я расскажу. Портрет я делала для Маши; он лежал у нее больше недели. Потом Белоградский пожелал иметь его. Я подумала, почему не сделать невинного удовольствия человеку, и человеку хорошему. Но если б я знала...

— Что бы ты знала?

— Что он ведет интригу в городе.

— А тебе какое дело до этого?

— Я никогда не отдала бы своего портрета в такие грязные руки.

— Наташа! — проговорил он и вдруг, сверх всякого ожидания, хотел, кажется, обнять меня.

Я отскочила от него.

— Не прикасайтесь ко мне! — проговорила я.

— Моя Наташа! Моя радость! — говорил между тем он.

Я еще сделала шаг от него. Он был взволнован, бледен; пот крупными каплями выступил у него на лбу. Подобное волнение было мне знакомо. В эти минуты он сидел не шелохнувшись, делался кроток и тих, как ягненок, а главное, все готов был сделать для меня. Я знала, что на его честное слово можно было положиться, как на каменную гору, и поспешила воспользоваться его настроением.

— Во-первых, дайте мне слово, что никогда, ни при каких обстоятельствах, вы не станете пить вино.

— Честное слово, мое сокровище!

— Потом, вы должны извиниться перед Белоградским: я не хочу, чтоб у вас вышла с ним какая-нибудь ссора из-за меня.

— Ничего не выйдет. За все один поцелуй, моя Наташа, моя невеста, мое счастье!

«Неужели я опять сошлась с ним? — мелькнуло у

меня в голове. — Как же это так?.. Но, — опять думалось мне, — когда же я расходилась с ним? Не имел ли он права в продолжение года обнимать и целовать меня? Могут ли стереться его поцелуи? Не горят ли они до сих пор у меня и на лбу, и на щеках, и на губах?» При этом воспоминании я вспыхнула и опустила голову.

— Не мучь же меня, Наташа, и поцелуй меня поскорее! — прошептал он едва слышным, замирающим шепотом.

Я опять взглянула на него. Конечно, мне не стоило большого труда поцеловать его. Если б он умел сидеть смиренно во время моих ласк, я поцеловала бы его даже не один раз. Но он владел собой до тех только пор, пока мы находились на приличном расстоянии; а там за один поцелуй награждал меня целой сотней. Он вовсе не умел быть нежен. Стоило попасть только в его медвежьи лапы, чтобы почувствовать себя изломанной на целый день: целуя и обнимая, он готов был задушить меня. Я боялась его в эти минуты и давно перестала отвечать на подобные желания. Теперь также, стоя перед ним, я соблюдала всевозможную осторожность. При малейшем его движении я делала шаг назад; если б ему вздумалось встать, я убежала бы от него без оглядки. Но он, не спуская с меня глаз, сидел не шелохнувшись, и я с любопытством, смешанным с каким-то странным волнением, рассматривала черты его лица и блеск больших синих глаз... Но за мной вдруг послышался шорох. Я обернулась. Горская с Аней проходила мимо беседки. Черные глаза старухи при виде нас с ужасом отвратились, как от преступников. Негодование вспыхнуло во мне, одно мгновение, и я, обвившись руками около шеи Александра Сергеевича, поцеловала его в лоб и в щеки. В этом моем увлечении я не приняла в расчет лич-

ности своего жениха, поступила с ним как с машиной, с неодушевленным предметом, оскорбила его и как мужчину, и как любящего человека. А он между тем, как нарочно, сидел не шелохнувшись и добровольно позволял разыгрывать с собой комедию. Не выпуская его шею из своих рук, я взглянула ему в лицо.

— Еще, еще, Наташа! — вырвался страстный, едва слышный шепот из его груди.

У меня руки опустились сами собой, и я тихонько отошла от него. Он быстро встал и со страстным движением подошел ко мне; но я отстранилась и, нахмурившись, прошептала, что мне не хочется больше. Он переломил себя. Да, я сделала дурно, и не только потому, что оскорбила его, но ввела его в заблуждение насчет своих чувств... Я открыла уже рот, чтобы во всем покаяться перед ним, но при взгляде на его счастливое лицо, блиставшее чуть не блаженством, на порывистое дыхание, на полуоткрытый рот, который как будто говорил: «Бесценная девушка!», на его лоб, открытый и чистый, без всякого следа помысла о будущем или прошедшем, я невольно опустила глаза и замолчала. Он жил настоящим, это очевидно; слепая случайность сделала его совершенно счастливым, зачем же я стану отравлять его счастье? Нет, если б он был моим смертельным врагом, и тогда не поднялась бы моя рука на него, не открылся бы мой рот. Пусть он думает что хочет; может быть, когда-нибудь и я люблю его. Я для него, по его словам, единственный интерес в жизни, мне он хочет посвятить всего самого себя; в его года хорошему человеку жить для одного себя действительно скучно: он и задумал переменить свой образ жизни, но для этого потребовалось мое содействие; нет, не содействие, а просто моя личность, и он не затруднился обратить меня в тунгусского божка... Он меня непременно сделает своей женой, стало

быть, об этом и говорить больше нечего, я должна привыкать к нему. Конечно, сначала это будет трудненько, но потом у нас, как он говорит, будут дети, которых я, естественно, стану любить, а любя детей, я не могу не любить и отца их.

Дорогой он, не помню, что-то говорил мне, но, занятая своими мыслями, я не отвечала ему и не смотрела на него. Вся задача, по моему мнению, состояла только в том, чтобы привыкнуть к нему как к мужу, а там все устроится само собой. Итак, я возвращалась домой, связанная с ним больше, чем когда бы то ни было. Он был сильнее меня характером или, может быть, страсть делала его сильнее, только он более или менее умел заставить меня соглашаться с ним. Спорить не о чем. Он скоро уедет отсюда, я также уеду с ним; Лизу мы увезем с собой... и я видела, как в глазах у меня летают черные мухи, как все идет около меня кругом, и руки, несмотря на жаркий день, не могут согреться.

Лишь только мы вышли из сада, как он, по своему обычаю, перестал смотреть на меня и, в последний раз прижав мою руку к своей груди, выпустил ее совсем из своих рук. Далее мы шли молча друг подле друга, как люди совершенно посторонние; на мосту мы также молча расстались: он вошел к себе, а я отправилась домой. Еще издали я разглядела у ворот своего дома respectable наружность слугителя Белоградского. Он сидел на скамейке, сложив ноги одна на другую, и с важным хладнокровием слушал школьного сторожа, который с большим жаром что-то объяснял ему. Ходить запросто к моему сторожу в гости слугитель, читающий газеты, живший с барином долгое время за границей, никогда не ходил. Он был для этого слишком аристократичен; стало быть, он пришел ко мне за чем-нибудь от Белоградского, и сердце мое

сильно забилося перед неизвестностью. Я замедлила шаг и опустила голову, раздумывая, зачем он мог послать его ко мне? При моем приближении respectable лакей поднялся и вручил мне маленький изящный конвертик с гербом Белоградских. Распечатать этот конвертик я не решилась тут же, при слугителе, и, войдя уже к себе в комнату, прочла несколько слов изящного почерка:

«Позвольте мне выразить вам мое искреннее сожаление о том, что я, по своей недогадливости, осмелился принять от вас ваш портрет и мог таким образом ввести вас в ответственность перед людьми, близкими вам. Конечно, мне нечего уверять вас в неизменности моего глубокого уважения к вам. Оно-то еще раз побуждает меня попросить у вас позволения оставить у меня ваш портрет.

Прошу принять уверение в искренности уважения от всегда готового к услугам вашим

Ж. Белоградского».

Читая эту маленькую записочку, я несколько раз краснела. Она показалась мне слишком сухой, слишком официальной, а главное, слишком колкой: он указывал мне, со всевозможной учтивостью, на легкомысленность моего подарка. Я схватила перо и на обороте его записки написала:

«Я никогда не придавала никакой цены своему портрету. Если вам угодно оставить его у себя — оставьте; если не угодно, разорвите и бросьте. Это зависит совершенно от вас».

Наложив облатку, я завернула опять конвертик и после минутного раздумья вручила его Лизе для передачи слуге.

«Все устроено, все кончено», — подумала я, следя глазами за сухим и тощим слугой. Вот его серое паль-

то и желтые панталоны мелькают на мосту, далее он свернул к большому дому, не о чем, значит, и думать! Дай Бог счастья человеку, так неудачно остановившему свой взгляд на мне; между нами никогда ничего не было общего. Пусть он идет своей дорогой и вспоминает обо мне... если хочет; а не то пусть вовсе забудет, это еще лучше!

ХII

Рука моя болела, но вчерашнее оскорбление Александра Сергеевича, после его раскаяния, сгладилось. Я понимала его гнев, понимала его раскаяние, и совесть моя не могла выставить это оскорбление основательной причиной к разрыву. Что такое любовь? Не вытекает ли она из самого человека, из его природы, не подвержена ли она тем же психологическим законам, как и всякое человеческое чувство. Александр Сергеевич у меня пред глазами: не внес ли он и в эту страсть своей личности? Страсть не очистила его, а разорвала только узкие пути утилитарности. Я чувствовала хорошо, что год тому назад, давая ему слово сделаться его женой, я легче вступала на тот путь, по которому шла теперь тяжелыми, медленными шагами; он тащил меня за собой; ослабей его сила на мгновение, и мне казалось, что я оторвусь от него. Но он страстно любит меня, силы в это время не слабеют, и я верила, что он дотащит меня до церкви и поставит под венец. Не прав ли он, говоря, что сделает меня своей женой, и чем я тут возмутилась? Отказываться от него? Но разве это легко сделать? Может быть, Маша и сумела бы это сделать; но я знала, с кем имею дело: знала, что за личность мой жених, и отступить от него без всякой причины я не могла; я не умела этого сделать; совесть моя возмущалась

против всякого нечестивого поступка. В этот день он был счастлив и счастлив выше всякой меры: не прошло полчаса с минуты моего возвращения домой, как я получила от него огромный букет цветов. Лиза внесла его в комнату обеими руками. По ее торжествующему виду я узнала с первого раза, от кого эти цветы, и только спросила:

— Кто принес?

— Да Василий Петрович, — ответила она, разрознив глаза. — Чайком бы его напоить.

— Это совершенно по вашей воле. Он ничего не говорит?

— А вот ужo расспрошу. Этакая громада! — дивилась она, устанавливая цветы.

Я дивилась не меньше Лизы, только другому, — Александр Сергеевич, посылающий букеты цветов! Кто бы мог это подумать? В жизни каждого человека есть мгновенья, когда он делается ребенком. Образ моего жениха, посылающего букеты цветов, представлялся мне в каком-то неестественном виде. Ясно, он теперь был мне не тем, чем три дня тому назад; вчера эта гневная вспышка, сегодня странное явление букета: приближение нашей свадьбы, видимо, сводило его с ума, а мой поцелуй свернул ему голову окончательно. Разумеется, он, как и всякая сильная натура, чувствовал сильно, и в минуты сильного чувства мог, что называется, выходить из берегов. Но чем все это кончится?..

Голова у меня сильно болела. Я чувствовала боль во всех членах. Мысль об Александре Сергеевиче сильно занимала меня; мне хотелось узнать от Василия, где он теперь находится; но спуститься вниз для этого стоило бы мне больших усилий, и я предпочла на этот раз улечься в постель. Часа два я лежала в забытьи, спать не спала, но не слышала ничего, что происходило

вокруг меня, и только присутствие Лизы в комнате заставило меня понять, что я лежала довольно долго.

— Наталья Алексеевна, а, Наталья Алексеевна, — начала она, скорчив прежалостную гримасу, — вы словно того...

— Что того? — спросила я, быстро подняв голову, и почувствовала сильный удар в виски.

— А я уж было думала, — начала она, веселее после осмотра моей физиономии, — как бы вы не заболели. Вот что, Наталья Алексеевна: вам бы покушать маленько да и уснуть, так бы все и прошло — а?

— Нет, благодарю вас, Лизавета Ивановна.

Она исподлобья взглянула на меня и, встретив мою улыбку, засмеялась.

— А барин-то из большого дома ведь сам ходит везде с вашим баринном, — сказала она, подойдя ближе. — Значит, как вы обвенчаетесь с Александром Сергеевичем да уедете отсюда, здешний барин сам, сказывают, будет управляющим.

— Кто это наговорил тебе таких диковинок? — спросила я неохотно, но, увидев, что мой вопрос вызвал недовольную гримасу на лицо Лизы, поспешно прибавила: — Видишь ли, Лизавета Ивановна, Александр Сергеевич вчера говорил, что управление заводом он передает одному своему знакомому, поэтому я и не могла поверить тебе.

— А коли тот захворал? — спросила она, искосив глаза и склонив шею на один бок. — Тогда как?

— Тогда будет значить, что ты знаешь больше меня.

— А коли барин из большого дома, — продолжала она с вразумительностью, делая ударение на каждом слове, — поедет в Петербург по осени, тогда как?

Я признала себя побежденной и молча уложила голову на подушки.

К вечеру Лиза, заметив, что я ничего не ем, еще более встревожилась о моем здоровье. При виде ее заботы я заставила себя пройтись несколько раз по комнате, поговорить с ней, посмеяться и таким образом успокоила ее. Но сама я не спала целую ночь: бродила, несколько раз вставала пить воду и только уже перед утром забылась тяжелым сном, который не освежил меня, а утомил. Пробудившись, я начала сознавать, что со мной делается что-то не совсем обыкновенное; однако ж, не будучи еще совершенно уверена в своей болезни, я встала, умылась и, не подавая Лизе никакого вида, начала пить с ней чай. Впрочем, я надеялась еще пересилить свое расстройство. В то время как Лиза ушла стряпать вниз, я спустилась в свой маленький садик и начала пересаживать измятые накануне дождем цветы. Голова у меня кружилась, силы ослабели, я несколько раз бросала работу и ложилась на траву. Из гор, прилегавших к моему огороду, бежали ключи; вода, пробегая по гольшам, звенела; надо мной синело бездонное небо; над горами летела по бесконечному пространству цепь белых облаков; в траве раздавался треск насекомых; но все это не вызвало никакого отрадного представления в моей душе. В одну из этих минут отдохновения Лиза взглянула из окна и закричала мне во весь дух: «Наталья Алексеевна!» Голос ее был встревожен более радостью, чем испугом. Мне показалось, что она поражена и удивлена донельзя чем-то приятным. Я вскочила с травы и ждала.

Она скоро показалась в комнатке с пунцовым лицом и торжествующим видом. В руках у нее находилась шкатулка черного дерева, отделанная серебром, с перламутровыми инкрустациями. Эту шкатулку она несла со всевозможной осторожностью, и чем ближе подходила ко мне, тем торжественнее делался ее шаг.

— Это вам, Наталья Алексеевна, гостинец от жениха, — сказала она, поставив шкатулку на скамейку и подобрав губы с подобающим приличием.

Я стояла молча, плохо понимая, что все это значит; но нетерпение Лизаньки скоро привело меня в себя. Не дожидаясь позволения, она отомкнула шкатулку маленьким ключиком, который тут же висел на серебряной цепочке, и, открыв глаза, остановилась в ребяческом удивлении.

— Лиза!

— Что? — спросила она с сияющим от радости лицом.

— Мне очень жаль...

— Чего жалеть-то?.. — продолжала она тем же тоном.

— Что я не попросила Александра Сергеевича прислать мне мышь.

Лиза рассердилась и отошла прочь.

Я подошла к скамейке. В эту минуту на башне начали бить часы, и двенадцать ударов, раздавшихся мерно один за другим, напомнили мне вчерашнее известие Лизы. Я покраснела и заглянула в шкатулку. Тут были ожерелье, диадема, браслеты, брошки, серьги, цепочки, наконец, маленькие часы; все это горело разноцветными огнями на солнечных лучах. Смотря на эти драгоценности, я невольно стала припоминать свое бледное лицо с большими глазами, свою фигуру, худенькую, грустную, как будто что-то потерявшую. Золото и бриллианты, возвышающие красоту женщины, я видела ясно, не годились для меня. Всякая вещь имеет цену только тогда, когда соответствует потребностям своего обладателя; эту старую истину завещали нам еще баснописцы: и я не носила даже серег, а тут была диадема и ожерелье! если бы я была в другом настроении духа, то, может быть, улыбнулась

бы, но теперь я попросила только унести все эти вещи в комнату и, усевшись на скамейку, стала размышлять о подарке Александра Сергеевича.

Я получала в былое время постоянно гостинцы от Александра Сергеевича, и получала их с живейшим удовольствием; но с тех пор прошло много времени; подарок утратил в моих глазах свой естественный, первоначальный характер. Александр Сергеевич давно перестал тешить меня, как ребенка, разными игрушками и с тех пор никогда ничем не дарил меня. Мне даже казалось до сих пор, что ценные подарки не в его характере. На наряды он не обращал никакого внимания: я могла нарядиться во что угодно, с полной уверенностью, что он не заметит моей одежды. А теперь, вдруг, ни с того ни с сего, он посылает мне целую груду дорогих вещей — и к чему мне все это? По его собственным словам, мы станем жить в глуши; для чего же, для какой цели, я стану наряжаться в эти бриллианты? Он, видимо, об этом не думал и посылал блестящие украшения как плату мне за вчерашние ласки. Чем иначе может мужчина выразить свое чувство к женщине?.. И, размышляя таким образом, я краснела, голова и щеки мои горели, мысли начали путаться, и одна бессмысленнее другой втиралась мне в голову: то представлялось мне, что он заплатил мне за мой вчерашний поцелуй, то опять думалось, что он догадался о моем невольном обмане и захотел уколоть этим подарком. Я начинала бредить с открытыми глазами, и как ни отгоняла от себя эти мысли, занявшись пересаживанием цветов, но они неотступно лезли мне в голову.

В этих болезненных размышлениях работа подвигалась у меня очень медленно: над одной небольшой грядкой цветов я старалась часов около трех и не успела посадить даже половины цветов; силы начинали

изменять мне, но вдруг мускулистая рука протянулась над моим плечом к цветнику и захватила луковицу с горстью земли. Вслед за этим знакомый голос ласково проговорил:

— О, какая же ты невежда в этом деле! Разве годится для лилии такой грунт земли? Вот ужю на досуге я покажу тебе это мастерство.

Я быстро взглянула на рукава и манишку своей рубашки; она была вся в грязи, и я осталась на месте, размышляя, встать ли мне, или сидеть так, как он застал меня, спиной к нему. Однако же он на этот раз не позволил мне долго думать. Взяв меня обеими руками за голову и наклонив к себе мое лицо, он поцеловал меня в лоб. Невыносимая боль ударила мне в виски. Я вскочила и в одно мгновение стояла перед ним, смотря ему в глаза. Он улыбался.

— Уши, лоб и нос, все у тебя в грязи, мой несравненный гном, — сказал он, заключая меня в свои объятия, — пожалуйста, не рвись; в этом виде ты во сто раз милее.

И, склонившись к моему лицу, он опять прижал к нему свои губы.

Увертываться от него в эту минуту я не думала, но я уперлась лбом в его жилет и закрыла таким образом лицо от его поцелуев. Пока Александр Сергеевич не высказывал предо мной своей страсти и позволял мне держаться в приличном от него расстоянии, я еще мирилась с мыслью о своем замужестве. Брак казался мне святыней, которая может переродить человека; но теперь я дрожала, задыхалась и ясно понимала, какой бестолковый поступок я сделала, введя его в заблуждение насчет моих чувств.

— Отпустите меня, — вскричала я, не выдержав. — Я хочу спросить вас, — прибавила я немедленно, — были вы у Белоградского?

— Да, ведь ты просила меня об этом! — И рука его ослабла, но глаза глядели со страстью.

— Я не понимаю, что хотите вы этим сказать?

— То, что мне стоит всегда невероятных усилий отказать тебе в чем-нибудь. Я был вчера у Белоградского и дал ему вволю вылить на меня всю желчь, которая накипела у него с того проклятого вечера. Я был не прав не столько перед ним, сколько перед тобой. От дуэли я наотрез отказался, это не христианский обычай и не мой, да и не в наших нравах... Но здорова ли ты? — спросил он быстро, увидев, что я, освободившись из его рук, пошатнулась и схватила себя за голову.

— Ничего, — ответила я поспешно, — у меня закружилась голова, но это пройдет.

Он хотел было взять меня за руки, как будто намереваясь проверить мои слова, но я закинула руки назад и, не взглянув на него, направилась к калитке. Он последовал за мной.

Возвратясь в комнату, я открыла шкатулку, посмотрела на вещи, потом опять закрыла ее. Когда я подняла глаза, он сидел уже у окна подле букета и следил за мной влажными глазами. Никогда я не видела его в таком упоении, как в этот раз, и, может быть, если б я была совершенно здорова, то перенесла бы терпеливо его ласки, и его подарок, и его заблуждение, стала бы стараться помириться со всем и, кто знает, авось достигла бы своей цели; но теперь я не была в состоянии владеть собой: счастье его раздражало меня, ласки его причиняли мне боль, а подарок сводил с ума. Повертев шкатулку, я взяла ее и решительными шагами подошла к нему.

— Зачем вы это прислали мне? — спросила я с негодованием, поставив шкатулку подле него на стол.

Я видела, как лицо его вдруг окаменело; но глаза

не переставали с нежностью смотреть на меня, и я настойчиво продолжала:

— Мне не нужны эти вещи!.. Что я за ворона в павлиньих перьях!.. Куда я стану надевать их!

Он смотрел на меня; глаза его холодели.

— Разве я стану надевать их на крестьянские сиделки!.. Возьмите их назад.

Он еще долго молчал, пристально рассматривая мое лицо, и наконец выговорил с видимым спокойствием:

— На что же мне-то все это?

— А мне на что?

— Стало быть, я ошибся, — сказал он опять спокойно и бесстрастно, но слегка побледнев. — И подарок мой ничего не значит в ваших глазах?

— Ничего.

— Мое счастье выразить вам свою любовь не имеет в ваших глазах никакой цены?

— Никакой.

Длинная-предлинная пауза. У меня кровь колотила в виски, веки тяжелели, как будто наливаясь свинцом. Он, бледный как мертвец и не поднимая глаз от полу, сидел неподвижно.

— Что же делать, — сказал он наконец, уже с своим обычным бесстрашием. — Я был глуп, поддавшись нелепой надежде; я должен был знать, что мои чувства и желания не имели и не имеют в ваших глазах никакой цены. Я должен был знать это хоть потому, что мне уже за тридцать лет и я доживаю до седых волос.

И медленно, опустив руки в ящик, он вынул оттуда золотую цепочку чрезвычайно тонкой и изящной работы. Сложив ее в три раза, он в мгновение ока разорвал ее на шесть частей. За цепочкой он вынул часы и бряк! Маленькие часы разлетелись вдребезги. За

часами последовали брошка, ожерелье, диадема и другие вещи, все это коверкалось и мялось с ужасающим бесстрашием.

«А, так вот он какой! — бродило у меня в голове. — Ясно, он привык удовлетворять только своим чувствам, исполнять только свои желания. В нем нет ни капли нежности, никогда не бывать ему ни преданным мужем, ни любящим отцом».

Отвернувшись от меня и облокотившись на окно, он сидел довольно долго; наконец, взяв со стола фужажку, встал и, не посмотрев на меня, вышел из комнаты.

Увидев уходящего Александра Сергеевича, Лиза вбежала ко мне в комнату. При виде переломанных вещей она ахнула и всплеснула руками.

— Убери весь этот сор! — сказала я довольно равнодушно; но лишь только она вышла из комнаты, я закрыла лицо руками и зарыдала.

ХIII

Проводив Александра Сергеевича, я лежала часов до шести, не поднимая головы. Наконец Лиза явилась ко мне с известием, что какая-то госпожа спрашивает меня. Я поспешно встала и вышла в угловую комнату. Здесь действительно дожидалась меня модистка, которую Александр Сергеевич полторы недели тому назад привозил с собой из города. Она привезла мне венчальное платье. Остальные платья, по ее словам, будут готовы не раньше как через неделю, а зимние салопы пошлются мне по адресу, куда я прикажу. Я никогда не воображала тратить большие деньги на венчальное платье. Я желала только, чтобы оно было ново и чисто, но и ничуть не роскошно; между тем привезенный мне наряд превышал, по моему взгляду, ценность

всего приданого, которое я заказывала для себя. Я хорошо понимала, кому я обязана этим великолепием. Платить за это платье, думалось мне, я не стану, а то мне придется совсем разориться и жить на его счет; он, верно, так и хочет; но этого не будет, за платье я не заплачу и не надену его. Завтра же схожу в лавку, куплю себе белой кисеи и сама сошью себе платье, а из этой белой материи пусть он наделает себе рубашек, если хочет.

Однако ж, размышляя таким образом, я не подала никакого вида модистке и отказалась только примеривать платье по причине головной боли. Она оставила меня с низкими поклонами, обещая не замедлить доставкой и других вещей. Эта невольная участница затей моего жениха показалась мне ненавистной.

После ее ухода я не ложилась уже в постель и просидела над венчальным платьем без всякой мысли, прислушиваясь к шуму в голове вплоть до всенощной. Но лишь только раздался удар в колокол, я встала и по привычке начала одеваться ко всенощной. Мне помнится, что Лиза несколько раз заходила ко мне в комнату, ахала над моим венчальным платьем; но как я вышла из ворот школы, каким образом ноги мои донесли меня до церкви, это выскочило у меня из головы. Не знаю также, как я вошла в церковь и что я делала в продолжение всенощной; но помню, что при выходе, на паперти, я встретилась с Машей. Несмотря на то, что я была далеко не в наблюдательном настроении духа, бледность Маши бросилась мне в глаза. Меня также поразила надменный взгляд, которым она оглядела меня, как свою подчиненную, с ног до головы, и потом, с равнодушным презрением отвернувшись от меня, как от жалкой твари, обратилась к тетке. У Маши с братом было фамильное умение карать людей, которые не приходились им по нраву.

Я увидела, что впала в немилость; но делать было нечего; я не считала себя виноватой перед ней и только пожалела об ее заблуждении. Она шла скорыми шагами, опередила тетку и, остановившись на крыльце, снова повернулась лицом ко мне. Большие черные глаза ее горели огнем, а надменное выражение ее личика придавало ей необыкновенную красоту.

Сделав несколько шагов от церкви и намереваясь уже завернуть за угол, я услышала звонкий, но отрывистый голосок Маши: она называла меня по имени. Я остановилась и обернулась к разгневанной владычице. Она, опустив глаза, быстро подошла ко мне, но презрительное выражение не покидало ее лица.

— Я вас не стала бы затруднять своим разговором, — начала она надменно, — если б это только касалось меня; но тут замешан брат и этот... управляющий, кажется, ваш жених. Он сегодня был у брата и требовал вашего портрета. Когда вы отдавали его брату, вы должны были предупредить его, что у вас есть господин, который может взыскать с нас за вашу легкомысленность и отнять у брата портрет. Это вы обязаны были сделать.

«А, значит, он ходил к Белоградскому!» — мелькнуло у меня в голове, и негодование, глубокое негодование с примесью ненависти, против этого эгоиста, который видит только всегда самого себя, охватило меня. Последнему его поступку я в эту минуту не могла найти извинения.

— Я не понимаю, с чего вы взяли, что он мой жених, — сказала я. — Я его никогда не любила и не люблю.

— Вы лжете!

Я вспыхнула.

— Подобными фразами порядочные люди не говорят, — сказала я.

— Вы обманывали меня целый год, и я имею право сказать вам это, — возразила Маша.

— Если б я не считала вас помешанной, то назвала бы ваши слова низкой клеветой.

— И вы смеете мне так говорить?

— Не принимайте, пожалуйста, той роли, которая вам не идет. Вы не устршите меня; вы хорошо знаете, что я всегда смела и смею называть вещи по их именам. Мне стыдно за себя, стыдно за вас: мы, женщины, девушки, и ссоримся из-за кого? Загляните в себя и краснейте! В заключение, если вам угодно, я успокою вас: я не выхожу замуж за Зарятина и не выйду никогда. Вы можете приглашать его снова к себе, но только я никогда уже не буду между вами посредницей. Прощайте!

С последними словами я отвернулась от нее; но она быстро схватила меня за руку и, положив руку на плечо, заглянула мне в глаза.

— Я не ссорюсь с вами, Наташа, поцелуйте меня, помиритесь. Я виновата перед вами.

И, не дожидаясь моего ответа, она начала целовать меня.

Я была утомлена, нездорова; к тому же она была выше и сильнее меня; овладеть мной ей ничего не стоило. Однако ж я сделала усилие отстранить ее от себя.

— Пожалуйста, Маша, без нежностей; вы знаете: они мне никогда не нравились.

— Вы сердитесь на меня? — проговорила она, отстраняясь от меня. — Но все равно, я мирюсь с вами. Вам тоже надо забыть ваш гнев. Я не все вам сказала. Зарятин был сегодня у брата, не застал его дома и оставил у него записку, в которой требовал вашего портрета. Брат в негодовании от этого требования и

никогда не отдаст портрета. Зарятин не спустит ему, и они подерутся.

— Пусть дерутся, пусть сломят друг другу головы, я очень желаю этого.

— Наташа, вы ли это?

— Это я. Что мне за дело до них обоих. Я не считаю себя причастной их безумию; ни тому, ни другому нет дела до меня. Какое же мне-то дело до них.

С последними словами я взглянула ей в глаза; но она, бледная, как смерть, дрожала.

— Вы не сделаете этого, Наташа. Ради Спасителя, пойдите к брату. Возьмите у него портрет — для меня! Какой ужасный характер у Зарятина! Какой он деспот! Если б я только знала это!

И, не выпуская моей руки, она довела меня до террасы. Здесь, оставив меня с мольбой ждать ее возвращения, она убежала в залу. Я осталась одна. Все чувства у меня были напряжены, мозг страшно работал, и я не чувствовала почти никакой боли.

Маша, впрочем, скоро обделала все дело; Белогородский, холодный как лед, учтивый как китаец, явился на террасу.

— Вы требовали меня? — спросил он, сухо и спокойно склонив голову. — Чем я могу служить вам?

— Я пришла просить у вас портрет, — сказала я твердо, с той отчаянной храбростью, которая идет вперед зажмуря глаза!

— Портрет? какой портрет? — спросил он с удивлением.

— Мой портрет — тот, что я вам отдала.

— Вы приводите меня, я должен признаться вам, в крайнее удивление!.. — выговорил он с прегадкой улыбкой притворного соблезнования.

— Я это знала и знаю. Но все же мне нужен порт-

рет. Если вам угодно услужить мне, а вы всегда предлагали мне свои услуги, — то отдайте мне портрет мой, и за этим только я просила вашу сестру пригласить вас увидаться со мной.

— Я хотел бы знать, по крайней мере, — начал он с сарказмом в глазах, — какие причины заставляют вас действовать с таким самоотвержением.

Увидев, что он начинает говорить со мной тем же тоном, которым говорил с молодой вдовой, я не нашлась ничего другого сделать, как только отвернуться от него и проговорить:

— У меня голова болит.

— Очень сожалею!

Я быстро оглянулась и взглянула на гадко-ироническое выражение его лица, но еще раз переломила себя с отчаянным усилием и спросила:

— Вам не угодно отдать мне мой портрет?

— С полной готовностью, если вам угодно объяснить те причины, которые заставляют вас действовать таким образом.

— Я не могу вам объяснить их.

Он весьма почтительно, низко и безмолвно поклонился мне.

Я посмотрела ему в глаза.

— Простите, что беспокоила вас, — пробормотала я и пустилась бегом с террасы.

На опушке сада Маша догнала меня. Поровнявшись со мной, она обвила мою шею и прошептала:

— Наташа! я во всем одна виновата. Он сердится на Зарятина, я уговаривала его до вашего прихода отдать вам портрет. Но он чуть не поссорился со мной. Вы правы: он тщеславен, самолюбие у него на первом плане. Теперь он не хочет спустить Зарятина. Я ошиблась в нем; я думала, он любит вас. Простите меня.

— Бог вас простит!

— Не нужно, чтобы они поссорились. Через час я приеду к вам, можно?

— Зачем?

— Наташа!

— Приходите!

Она еще раз поцеловала меня и скрылась в тенистых деревьях.

Подходя к своему дому, я находилась в страшном волнении; мне казалось, что я горела в огне: такого ужасного состояния я никогда не испытывала. Поровнявшись с домом, в котором жил Александр Сергеевич, я заглянула в одно из окон его кабинета, с намерением сказать ему два слова. К моему горю, в кабинете не оказалось никого, и, повесив голову, я пошла домой.

Придя домой, я узнала от Лизы, которая, по обыкновению, дожидалась меня у ворот, что он сидит у меня. Я поспешила в комнату. Когда я отворяла дверь, мне показалось, будто кто ударил меня по голове, и с такой силой, что в глазах потемнело и память выскочила на несколько мгновений. Опомившись, я увидела, что стою в дверях угловой комнаты, около меня никого нет, на столе стоит зажженная свеча, а далее сидит Александр Сергеевич и смотрит в стемневшее окно. Я подошла прямо к нему. Он встал.

— Я хочу спросить вас, — начала я, и голос мой дрожал от гнева, — вы были у Белоградского?

— Я сейчас от него, — отвечал он мне равнодушно.

— И виделись с ним?

— Виделся.

— И требовали у него моего портрета?

Он внимательно посмотрел на меня и спокойно сказал:

— Требовал.

Я вся задрожала.

— Где же ваше слово?

— Мое слово? — повторил он с гордостью, и брови его сдвинулись. — Разве я давал вам слово не ходить к Белградскому?

— Вы давали мне слово не заводить с ним историй насчет меня.

— Ну, так я разве завел? Он при первом моем слове наговорил мне бездну дерзостей, так что я принужден был объяснить ему, зачем пришел. Он успокоился, увидев, что я пришел не переломать ему ребра, а говорить дело. Однако ж портрета он мне не отдал, и я ушел.

— И вы не постыдились требовать моего портрета? О! какой стыд!

Он посмотрел мне в глаза совершенно спокойно и без всякого зазрения совести.

— Пять тысяч из ваших денег, — начал он, не обратив ни малейшего внимания на мои слова, — я отдал вашей невестке, а на остальные купил для вас земли — пять тысяч десятин в N-ском уезде. Вот и крепостной акт.

С последними словами он преравнодушно отстегнул сюртук и, вынув из кармана бумагу, положил ее на стол.

Эта последняя, как казалось мне, дерзость приняла в моих глазах громаднейшие размеры. На мгновение у меня блеснула мысль выбросить ему свои деньги в плату за то время, которое мы с матерью прожили у него; но, слава Богу, я не привела в исполнение этой скверной мысли и только, отбросив от себя бумагу, сказала, смотря ему в синие глаза:

— Какое право имели вы распоряжаться моими деньгами? Не нужно мне ваших земель; отдайте мне мои деньги.

— У меня там есть винокуренный завод, я поправ-

лю его, отстрою, и мы поселимся там жить, — проговорил он равнодушно, не отводя от моего лица своих скверных, упорных, синих глаз.

— Отдайте мне мои деньги, я вам говорю!

— Вас опять затормозило! — проговорил он с невозмутимым равнодушием.

Это окончательно меня взбесило.

— Я не отдам вам из моих денег ни гроша, ни полшки, а этим, — я схватила бумагу и, не владея собой, бросила ее под ноги ему, — владейте сами!

Он слегка попятился.

— Давайте мне мои деньги! — кричала я в самозабвении. — Мои деньги, где они?

— Успокойся, Наташа, что с тобой? Ты с ума сходишь, — и он протянул мне руку.

Я ударила его по руке.

— Мои деньги! Давайте мои деньги! Я ничего не хочу слышать. Мои деньги! деньги! деньги! — кричала я, приложив руки к ушам.

Но вдруг я опять почувствовала удар, который вышиб у меня память из головы и свет из глаз на несколько мгновений. Я схватилась за стол. За этим мне показалось, что рука Александра Сергеевича, протянутая ко мне, удлиняется страшно, а комната делается шире и больше, потолки поднимаются, открывая черное-пречерное небо...

— Откуда я возьму тебе сию минуту деньги? — заговорил он, и голос его, заколотив барабаном в моих ушах, разбивал мою голову. — Завтра наша свадьба. Ты не понимаешь сама, что говоришь.

— Я ненавижу вас, ненавижу! — закричала я, усиливаясь перекричать этот страшный голос, и, снова покачнувшись, схватилась за его же руку, все еще протянутую ко мне; эту руку, стараясь удержаться на ногах, я крепко сжала. Потом все заскакало и закружи-

лось вокруг меня, я перестала видеть его руки, ноги, одна голова его носилась вокруг меня в тумане, но и та скоро скрылась. Свет от огня погас, наступила темнота, большие зеленые круги пошли вертеться, блестящие звезды полетели в них из мрака... Я опять открыла глаза: в комнате огонь, голова моя лежит на плече ненавистного человека, а он, весь синий, наклонившись над моим лицом, обливает его холодной водой и кричит с отчаянием:

— Доктора! доктора!

Я еще имела в себе настолько силы, чтобы оттолкнуть его от себя и вскричать:

— Никогда вам не купить меня! — Но за этим я ничего уже не помню: темнота, мрак, зеленые круги, блестящие звезды, и наконец сознание отлетело от меня...

XIV

Со мной сделалась тифозная горячка. Девять дней я лежала без памяти. Между прочим мне снилось, будто кто-то из окружавших меня в то время предложил позвать священника с дарами. Я согласилась, и священник вырос как будто из земли. Впрочем, это несколько не удивило меня, и я стала исповедоваться. Все шло как следует до тех пор, пока он не заговорил о забвении обид и прощении врагов. Тут я быстро возразила, что человек может делать только то, что не превышает его сил, а я, прощая всех, не могу простить Зарягина, которого я ненавижу всеми силами души. Священник стал уговаривать меня. Я отвернулась и, отказавшись от даров, перестала отвечать ему. Этот сон казался мне всех ужаснее. Я готовилась предстать перед очами Всевышнего нераскаявшейся грешницей. Но это был сон, по крайней мере так уверяли меня, когда я пришла в сознание. В первый раз после девяти-

ти дней я пробудилась ночью. На столе горела свеча. Я лежала в своей угловой комнате. У дверей стояла рыдающая Лиза. Перед столом сидели двое незнакомых мужчин в черных сюртуках; один из них пожилой, с седыми волосами, другой человек лет двадцати пяти; за ним виднелось мне лицо нашего заводского доктора. Они все молчали, сомнительно качая головами. Наконец, из-за моего изголовья послышался отчаянный шепот: «Доктор, доктор, спасите ее!» — голос был Александра Сергеевича. Я попробовала было встать, чтобы успокоить его, но сделать этого мне не удалось; я снова упала на подушки и могла только выговорить: «Священника!» Слова мои произвели суматоху: все зашумелись; незнакомые мужчины подошли ко мне. Один старик самовластно взял меня за руку, потрогал голову и потом, обратившись к другому, молодому человеку, попросил его послушать. Этот, к ужасу моему, подойдя ко мне, взял меня за плечи, поднял и приложил голову к моей груди. Я сидела в оцепенении, не смеядохнуть, не имея силы выговорить слова. Наконец, он переменял положение и приложил голову к моей спине. Я опять закричала: «Священника!» Старик взял меня за руку и ласково сказал, что священник сейчас будет. После этого он спросил меня, хочу ли я пить, и дал мне чего-то с ложки, но чего — я не могла разобрать. Скоро пришел священник с святыми дарами. Припомнив ужасный сон, я прежде всего пожелала видеть Александра Сергеевича. При первом моем слове он приблизился ко мне. Как я ни была больна, но меня поразило его лицо. Красивого мужчины как будто не бывало; он казался худым, морщинистым, с поседевшими волосами: я едва узнала его. Он наклонился ко мне, глаза его горели, но были сухи: он не мог и не умел плакать. Я поцеловала его и просила простить меня, молиться об отпущении моих грехов: кроме не-

го, у меня не было родственников, которые стали бы молиться обо мне. Он, ни слова не отвечая, быстро поднял голову. Мне сделалось жаль его. Рука его лежала на моей подушке. Я повернула голову и поцеловала эту руку. Потом все ушли из комнаты. Я осталась одна с священником. Он исповедал меня, причастил, и глубокая живая вера в лучшую жизнь закипела во мне. Я спокойно закрыла глаза и спокойно ждала страшного перелома: смерти и возрождения. Это, казалось мне, не должно было замедлиться: с минуты на минуту мне делалось тяжелее, дыхание прерывалось, во рту смягчалось. Я творила молитву. Какие-то страшные образы проносились предо мной. Наконец все закружилось. Я куда-то понеслась, понеслась в какую-то черную бездну и лишилась сознания.

Не помню, долго ли я лежала в бреду; только глаза открыла уже днем. Маша в белом кисейном платье стояла около моей кровати. Дверь в другую комнату была полуотворена. Оттуда несся говор; но понять в нем я ничего не могла. То были, как я узнала потом, доктора, которые приезжали к нам два раза в неделю, а молодой человек и наш заводской доктор лечили меня постоянно. Кроме Маши, в моей комнате находилась еще Лиза, и я попросила у них напиток. Лиза подала мне чего-то на ложке. Маша также осталась в комнате. Увидя себя посреди двух своих приятельниц, я почувствовала невыразимую отраду и успокоение. Я тихонько подозвала Лизу и велела ей поставить предо мной образ Спасителя, так чтобы во всякое мгновение я могла останавливать глаза на нем. Когда Лиза это исполнила, я совершенно успокоилась и стала надеяться, что Он, милосердный, простит меня во всех грехах и примет мою душу. То мне казалось, что я без сожаления оставляю этот мир, то опять делалось невероятно грустно: ведь в этом мире, думалось мне, бле-

стит снег, в нем роскошные зимние ночи и замирающий в снежных полях звон колокольчика; а там опять придет весна, снег будет распускаться, с гор побегут ручьи, наступит Пасха: загудит полуночный торжественный и радостный звон колокола; все в эту дивную полночь оживет, церкви осветятся, народ поедет, пойдет; запоют пасхальные ирмосы канона. «Христос воскресе», — скажет священник, и громкий шепот разнесется по церкви ему в ответ: «Воистину воскресе!» Все станут христосоваться. А эти пасхальные куличи со свечами, занимающие половину церкви, а торжественный гул праздничных колоколов, благоухание в воздухе, хор ласточек; синеющее весеннее небо, солнечные лучи, все говорит: «Христос воскресе!» Нет, мне жаль было расставаться с этим миром, в котором столько радости и чудес.

Через неделю, наконец, я выразила желание умыться и переменить постельное белье. Лиза сбегала к докторам справиться насчет удобоисполнимости моего желания и, получив разрешение, перевела меня в кресла. Голова моя кружилась, ноги мои были слабы, но я заботилась о себе, сознавала, что я — я. Скоро пришла Маша, меня умыли и опять уложили на свежую постель. Я как теперь помню: Маша подвинула кресла к моей постели и, усевшись в них, долго смотрела мне в глаза.

— Вы как будто хотите что-то сказать мне, Маша? — спросила я.

— Да! Можете ли вы выслушать меня?

— Могу.

Она опять помолчала с минуту, как будто колебалась, и, наконец, наклонившись ко мне, прошептала:

— Все забыто между нами — так?

— О да, я ничего не помню, простите меня, если я вас обидела.

— Это не все, — начала она тихо, — у меня есть просьба до вас. Я отделала наверху комнату для вас. Позвольте перевести вас ко мне. Не отказывайтесь. Я говорила с доктором, он сказал, что дня через три это можно будет сделать. Вам у меня будет спокойно и удобно; а сюда на ваше место переместится скоро новая учительница.

— Но...

— Может быть, вы думаете о тетушке, — прервала она меня с улыбкой, — тетушка и подала мне эту мысль. Она только кажется недотрогой, а так — предобрая. Она жалела вас. Я сказала ей, — прибавила моя собеседница, уже покраснев, — что вы были невестой Зарятина. Она хорошо думает о вас. Согласны?

— Но...

— Верно, брат вас заботит, — продолжала она, — он был очень огорчен вашей болезнью. Портрет ваш у вас, вы этого еще не знаете? Я тогда, как только пришла и сказала ему, что нарочные поскакали в город за докторами, он, по первому моему слову, отдал мне ваш портрет. Я принесла его к вам. Он добрый человек и будет рад видется с вами. Так что же, Наташа?

Я задумалась и покраснела. Конечно, мои маленькие комнатки опротивели мне, я рвалась куда-нибудь из них, и предложение Маши с этой стороны мне очень нравилось: но что скажет Александр Сергеевич о моем перемещении?

— Я дам вам ответ, Маша, не раньше как через неделю; к тому времени учительница еще не приедет, а я поправлюсь. Я очень благодарна вам за ваше участие. Бог вас наградит за это.

Лиза, стоявшая у дверей и слушавшая внимательно весь наш разговор, сказала мне по уходе Маши:

— Значит, Наталья Алексеевна, это она вас зовет к себе? Гм... Ведь вы, поди, от них и захворали? Опять

станете с ними связываться, опять захвораете. Ишь, какая подлизеня, я бы плюнула на нее!

Говоря это, Лизавета Ивановна, пунцовая, как кумач, поправляла мои подушки.

— Ты опять за свое, Лизанька, — сказала я с грустью, — стыдно тебе учить меня на неблагодарность и на зло. Она приходила ко мне, как я была больна, ходила за мной.

— Ходила, как же! придет да и уйдет. Вот, поди, ваш барин, Александр Сергеевич, значит, ходил за вами, можно сказать, что ходил. Целые девять дней живмя жил здесь. Почитай, что не спал, не ел, не пил. Пусть, говорят, готовят все к смерти и не встать ей; либо сегодня в ночь, либо завтра, все непременно умрет. Ляжет этак, значит, лицом-то на вашу подушку да и лежит от зари до зари. Я так и полагала, что умрет вместе с вами...

— Замолчи, пожалуйста.

— Чего мне молчать?

— Я тебе говорю, что не хочу слушать твоих глупых слов о Маше.

— Я говорю о барине, а не о ней. Плевать мне на нее!

Дрянная девчонка! Непременно за ней останется всегда последнее слово.

XV

Я ждала Александра Сергеевича с тревогой и томлением один день, другой, третий; он не шел. Я думала было послать за ним Лизу; но опять раздумала: как? с чего? И я снова решила терпеливо ждать его, считая секунды, минуты, часы. Дни проходили за днями, а его нет как нет. Между тем от предложения Маши, обсудив его хорошенько, я почти решила отка-

заться; но накануне дня, назначенного к моему перемещению, между мной и Машей произошел длинный разговор, который перевернул все мои мысли. Она призналась мне откровенно, что любила Зарятина, но теперь не любит его больше; что у ней в то время были закрыты глаза на него... Я не стала больше отказываться от ее предложения и, поручив Лизе продавать хозяйство, так как я не рассчитывала ни в каком случае оставаться здесь, переехала в большой дом.

Маша очистила для меня одну из верхних комнат, и комната эта, чистая, высокая, с большими светлыми окнами, выходившими на площадь, устланная коврами, обитая светло-голубыми обоями, произвела на меня впечатление чрезвычайно отрадное. А главное, что было хорошо здесь, — это то, что кровать моя, загороженная ширмами, стояла так, что я, не поднимая головы, могла любоваться синеющими на горизонте лесами, которые длинной, причудливо вытканной лентой вытягивались по багрянцу заходящего солнца, могла видеть реку, блестящую как серебро в плавке, и наконец слышать свист пароходов. По утрам Маша приносила мне цветы, новые журналы, нередко садилась у моей постели и читала вслух. Вообще в это время я всех, кажется, любила, и в особенности мне пришлось по сердцу старуха Горская. Она два раза заходила ко мне. В первый раз она с своей бесцветной физиономией подошла к моей кровати и, оправляя одеяло, спросила о моем здоровье. Я не знала, как выразить ей свою признательность, и только проговорила: «Я никогда не забуду вашей доброты». Мои слова произвели действие. Она поцеловала меня в лоб и после минутной задумчивости сказала: «Мы сами, мое дитя, не из богатых дворян. Бог велел помогать ближним». На это я не нашлась уже ничего ответить и благоразумно промолчала. В другой раз, придя ко мне, она говорила со

мною больше, расспрашивала о моей матери, о моих родных и так понравилась мне, что я тысячу раз упрекала себя в том, что не понимала ее. Наконец, я стала вставать с постели и одеваться в свои обыкновенные платья. Маша притащила от тетки предлиннейшую, теплую, но тонкую шаль, с приказанием не подходить к окну без этой шали до тех пор, пока я не поправлюсь. В это время попросил однажды позволения навестить меня и Белоградский. Не без трепета я ожидала встречи с ним. Однако ж при первом взгляде на его лицо я успокоилась; в нем не было прежней холодной вежливости, формальной учтивости, которая всегда задевала меня. На этот раз он был ни холоден, ни говорлив, ни слишком внимателен, без особенного участия ко мне, но без всякой тени неприязни. Напротив, когда я подходила слишком близко к окну, он напоминал мне, чтоб я берегла себя, свое здоровье. В продолжение его визита, продолжавшегося, впрочем, не более получаса, я ни разу не смутилась перед ним и ни разу не вызвала холодной учтивости на его лицо. Проводив его, я невольно перебрала свои старые счёты с ним. Я во многом обвинила себя; мне нечем было оскорбляться, ведь не обязан же он знать мои убеждения и взгляды на мир божий, и своим резким отказом я, конечно, оскорбила его больше, чем он меня, потому что в его уме не было намерения оскорбить меня. Но, как бы то ни было, я все же дала себе слово никогда не дарить своих портретов мужчинам, никогда не увлекаться участием к их нежным чувствам. Белоградский был моим первым и, я надеялась, последним уроком.

А время шло и шло. Я стала уже выходить на балкон, стоять здесь по целым часам, любуясь не только снопами красноватых лучей, которые бросало заходящее солнце на леса, но и синим небом с его бесчислен-

ным хором светил. Правда, по ночам оставаться долго на балконе мне еще не позволяли; я сидела еще на диете; но все-таки я была совершенно здорова, и Лиза, приходя ко мне по вечерам, звала меня переехать куда-нибудь на квартиру, по той причине, что приехала новая учительница и ей, Лизавете Ивановне, деваться некуда. От распродажи хозяйства у нас, по моим соображениям, должны были остаться кое-какие гроши, и я посоветовала ей нанять маленькую квартиру вблизи большого дома.

— А между тем, — прибавила я, понизив голос, — снеси вот эту записочку к Александру Сергеевичу.

— А он ходит, значит, сюда? — спросила она с любопытством.

— Это не твое дело, мой друг! — ответила я, покраснев, но в то же мгновение прибавила: — Снеси записку и, может быть, скоро все узнаешь.

Как только Лиза ушла, я опять закуталась в длинную шаль и уселась на балконе. Сердце мое билось от тревоги и ожидания. Я не виделась с ним около полутора месяцев. Сколько горя и усилий стоила мне эта записка, один Бог знает. А между тем вся она состояла из четырех слов: «Милостивый государь, Александр Сергеевич! Мне нужно видеться с вами».

Но вот Лиза бежит, открыв рот, и сердце мое хочет выскочить из груди навстречу ей. Но, подавив волнение, я с наружным спокойствием сижу на балконе и, заслышав ее шаги за собой, так же спокойно оборачиваю к ней голову:

— Ну, что, Лиза?

— Сию минуточку придут, — говорит она, запыхавшись и едва переводя дух.

— Ты сама видела его?

— Нет, значит, Василий Петрович относили.

— Хорошо, — сказала я после минутного раздумья, — ты теперь ступай, нанимай квартиру. А там Бог знает как я еще устроюсь: и со мной ли ты поедешь, или останешься здесь.

— С кем же бы я, значит, осталась здесь? — возразила она.

Я тоже думала, что не с кем. Но беседу с ней насчет этого предмета я отложила до другого раза, успокоив ее только тем, что расставаться с ней ни в каком случае не рассчитываю, если только она сама не захочет оставить меня.

Лиза ушла, а я, опершись на чугунные перила балкона, не спускала глаз с площади. Синий сюртук моего бывшего жениха не замедлил показаться в воротах маленького домика. Я начинала зябнуть и плотнее закутывалась в шаль. Я не видала уже, как он вышел на площадь, как приблизился к большому дому, и только горничная Маши, доложившая мне о приходе его, заставила меня встать и сделать несколько шагов навстречу Александру Сергеевичу. Да, наружность его очень изменилась в это время; каштановые волосы превратились в пепельные, щеки осунулись, и около век проходили глубокие морщины. Но за всем этим в выражении его лица сохранилась прежняя спокойная самоуверенность, и синие глаза смотрели прямо и твердо.

— Я поджидал вашего выздоровления, — начал он тихо и просто после некоторого молчания, смотря на пальцы моих рук, лежавших на перилах балкона, — чтобы повидаться с вами и переговорить о ваших делах. Остаетесь ли вы при прежнем намерении взять от меня ваши деньги или нет?

— Мне кажется, — ответила я, краснея, — будет лучше, если вы освободите меня от земель.

Он опустил глаза и долго смотрел неподвижно на пол.

— Это можно будет сделать! — проговорил он наконец. — Желаете вы получить свои деньги пятипроцентными облигациями или векселями на Белоградско-го... Чем лучше?

Он бегло взглянул на меня и, облокотившись на чугунные перила, устремил глаза на закат солнца. Красноватые лучи пали прямо на его лицо и придали ему прежнюю сурово-спокойную красоту.

— Я могу, — начала я, — увидаться с вами в городе, и там вы продадите ваши земли.

Я заметила, как он вздрогнул; однако ж овладел собой и с невозмутимым равнодушием ответил:

— Этого нельзя будет сделать. Я не поеду больше в город. Мой поверенный купит у вас земли.

— Стало быть, вы остаетесь здесь? — спросила я после некоторого молчания, заметив, что беспокойное безмолвие опять овладевает нашей беседой.

Он быстро взглянул на меня, во взгляде его блеснула прежняя страстная нежность, но в то же мгновение он взял со стула фуражку и встал.

— Прощайте, Наталья Алексеевна. Деньги вы получите завтра утром, часов около одиннадцати.

«Неужели это все!» — мелькнуло у меня в голове; однако ж он поклонился и направился с балкона. Я вышла провожать его. В коридоре он еще раз оглянулся и, приподняв фуражку, бросил на меня такой взгляд, которого мне никогда не забыть. Шаги его, мало-помалу удаляясь, замерли совсем, а я все еще стояла, размышляя о том, что это очень мало для первого свидания. Но ведь будет же второе, третье, и когда-нибудь да он выскажется. Я видела ясно, что он не переставал любить меня, и с успокоенным сердцем возвратилась на балкон.

В этот вечер я уснула спокойно и встала на другой день очень рано. Думая о нем, я с внутренней улыбкой

распивала чай, расстановливая цветы и с нетерпением поджидала одиннадцати часов. Около этого времени я вышла на балкон, но, кроме Василия, который, возвратившись откуда-то, опять вышел из ворот куда-то, я никого не видала. Наконец, горничная Маши появилась у меня в спальне. В ожидании радостного известия я покраснела, но она сказала мне только, что меня ждет в коридоре какой-то человек. Я поспешно, с замиранием сердца, вышла в коридор. Оказалось, что это был Василий, и какой у него мрачный вид! С низким, но молчаливым поклоном он подал мне запечатанный пакет. Развертывая его, я увидела, что руки мои дрожат. В пакете были три векселя на Белоградских, по пяти тысяч каждый, и маленькая записка следующего содержания:

«Деньги за Белоградскими верны. Вы станете получать с них по восьми процентов. Невестка ваша обеспечена и не нуждается в настоящее время в ваших деньгах».

Я перевернула записку, но больше ровно ничего: ни здравствуй, ни прощай. Я не могла поверить, чтоб этим ограничились все наши отношения. Он, верно, сам придет, подумала я и, обратившись к Василию, сказала:

— Кланяйся Александру Сергеевичу.

Он исподлобья, с каким-то странным выражением взглянул на меня, но сказать ничего не сказал и, неповоротливо повернувшись, удалился.

Я опять пересмотрела векселя и пошла отыскивать Белоградского, чтобы уговориться с ним насчет получения процентов.

Спускаясь с лестницы, я услышала голоса Маши и Белоградского, ускорила шаги, но на предпоследней ступеньке, пораженная словами Маши, машинально остановилась.

— О, Joseph, — говорила она умоляющим тоном, —

ведь ты мужчина, попробуй еще раз. Я убеждена, она пойдет за тебя.

Наступило долгое-предолгое молчание, я хотела было уже соскочить в галерею, как Белоградский возразил:

— Ты судишь как женщина. Оставим, пожалуйста, этот разговор. Я один раз навсегда сказал тебе, что неспособен ухаживать за бульдогом.

«Кого это он под бульдогом понимает», — подумала я и спустилась к Маше. Она была уже одна и стояла, прислонившись к колонне, и задумчиво смотрела на площадь. Увидев меня, она тряхнула своими пышными локонами и улыбнулась.

— Мне нужно, Маша, поговорить с вашим братом, — сказала я.

— С братом? — протянула она с гримаской. — Теперь он ушел к Зарятину, а от него пойдет домой. Вам очень нужно его?

— Я могу отложить...

— Вот как мы это устроим, — вскричала она. — Пойдемте сидеть на крыльцо. Как он пойдет от Зарятина, мы увидим его и окликнем. Кстати: ведь брат и Зарятин опять ходят друг к другу. Вы краснеете за непостоянство человеческой природы — так? Я тоже покраснела бы... Но они очень холодны друг с другом и видятся только по делам. Особенно брат. Он очень самолюбив и никогда не забудет дерзостей Зарятина. Пойдемте же!

Мы вышли на большое крыльцо.

— Я желала бы, — сказала Маша, садясь на балюстраду, — чтобы пристань была здесь: а то за полторы версты никого не видишь, ничего не слышишь, кроме свистков. Как вы думаете, пришел пароход или ушел?.. А вот и брат! Видите, он направляется домой. Joseph! Joseph!

Joseph обернулся; лицо его было слегка озабочено. Впрочем, при первом слове сестры он подошел к нам.

— Наташе нужно говорить с тобой.

Он учтиво поклонился мне.

— Я получила сегодня векселя, — сказала я немедленно, показывая бумаги, — и желаю от вас знать, когда и как я могу получать проценты?

— Это будет зависеть от вас. Мы уже говорили об этом с Зарятиным. Я предлагал ему взять проценты даже за год вперед; но он отклонил от себя мое предложение и предоставил это вашему усмотрению.

— В первый год мне хотелось бы получать ежемесячно.

Он чуть заметно улыбнулся и, опустив глаза, долго думал.

— Хорошо, — сказал он наконец, — вы оставите мне ваш адрес, и я поручу управляющему высылать вам проценты каждый месяц.

Я поблагодарила его, он еще раз поклонился мне и, взглянув на часы, сказал равнодушно:

— Кстати, Зарятин уезжает сию минуту на пароходе.

— Как? — прошептала Маша, и губы ее побелели.

— Что ж тебя так это удивило? — спросил Белоградский.

— Так, — отвечала та поспешно, — я хотела только спросить тебя, пойдешь ты провожать его?

О, этот леденящий душу взгляд, брошенный Белоградским на сестру, очень знаком мне!

— У меня нынче очень много работы! — отвечал он и отнесся ко мне: — Могу ли я еще чем-нибудь служить вам?

Я поблагодарила его и молча поклонилась. Он поднял фуражку и, не взглянув ни разу на сестру, удалился от нас.

Неожиданную новость об отъезде Александра Сергеевича я, к своему удивлению, выслушала спокойнее, чем можно было ожидать. Правда, я почувствовала страшную боль в сердце, но это было одно мгновение, а потом я уже спокойно смотрела на Машу и Белоградского. Все кончено; сделанного не воротишь; надо покориться царю царей и надо благословить его святую волю!

Маша быстро ушла с крыльца, но я осталась. Проходить ему на пароход доводилось мимо меня. Увидеть его и сказать ему: «Счастливый путь!» — я чувствовала настоятельную нравственную необходимость! Скоро синяя фуражка мелькнула на мосту. Он шел большими шагами, опустив голову. Василий нес за ним маленький чемодан. Эти два человека, соединившись десять лет назад, странствуют с тех пор неразлучно по белому свету — с севера на юг и с юга на север. Куда они теперь направляются, один Бог ведает... Я уверена, что, подходя к большому дому, Александр Сергеевич видел меня. Это я заметила по легкому румянцу, который выступил на его щеках. Я наклонилась на балюстраду, поджидая, вот он остановится и скажет: «Прощайте, Наталья Алексеевна!» Но нет, он не поднял глаз и — шаг, два, был уже на другой стороне крыльца. Я надеялась, что он, по крайней мере, оглянется; но нет, он тем же твердым, решительным шагом, которым проходил мимо меня, завернул за угол... Все кончено, я ошиблась. Встретимся ли мы когда-нибудь с ним в жизни? И как встретимся, узнаем ли друг друга, или пройдем равнодушно, как незнакомые!.. Но, как бы то ни было, воспоминание о нем останется вечно во мне. Это не тревога, не горячка, которые я испытывала несколько лет тому назад. Те чувства, блестящие и мимолетные, как метеор, пролетели безвозвратно. Нет, это другое чувство, ясное и

спокойное, как синее небо над моей головой; но такое же глубокое и бесконечное... Пусть он встретит меня как незнакомую, пусть я заговорю с ним с видимым равнодушием и не узнаю даже его, если он этого захочет; но сердце мое отыщет его через десятки лет между миллионами людей и остановится на нем с горячей молитвой об нем к Всевышнему и желанием моему бывшему другу всевозможных благ и счастья.

Возвратившись к себе наверх, я застала Лизу в слезах. Я вздохнула и отвернулась от нее. Бедная Лиза! Она прельстилась ласковыми словами и подарками Василия Петровича и так же осталась с обманутыми ожиданиями, как и я.

— Уехали? — спросила я ее.

— Уехали, дерюги экие! — отвечала она со свойственной ей откровенностью.

Прошла неделя. Я написала невестке моей письмо и изъявила ей желание жить с ней. Она сейчас же ответила мне, что ждет меня. Я немедленно стала собираться. В день отъезда мы последний раз с Машей стояли на балконе и в последний раз глядели с ней на закат солнца. Она сжимала мне руку.

— Вы дурно делаете, Наташа. Я всегда вас любила. Мы поехали бы с вами сначала в Петербург, потом за границу. А что вы станете жить в глуши, губить свою молодость, лучшие лета, лучшие силы? И для чего, для какой цели эта страшная трата?

— У всякого своя цель в жизни, Маша. И всякий по-своему понимает эту трагу. Прощайте.

Она взглянула мне в глаза и улыбнулась сквозь слезы.

— *Ecrivez, moi, ne m'oubliez pas!* *

И мы крепко обнялись... В зале я встретила старуху Горскую. Она протянула мне свою восковую руку и

* Пишите мне, не забывайте меня! (фр.).

перекрестила меня. Далее, в коридоре, я встретила Белоградским. При виде меня он, приподняв брови, очень почтительно поклонился мне и тихо, с улыбкой спросил:

— Вы уже едете?

— Да.

Он склонил голову и безмолвно вышел проводить меня на крыльцо. Маша выскочила вслед за ним.

— Я буду писать вам! — кричала она. — Отвечайте же!

Я улыбнулась.

— Непременно!

Колокольчик звякнул, и тройка подъехала к крыльцу. Лиза, недовольная и пунцовая, как мак, выглядывала из экипажа. Белоградский спустился со ступеней крыльца вслед за мной и протянул мне руку. Я оперлась на эту руку в последний раз и, встретив его задумчивый взгляд, покраснела и улыбнулась.

— Ne m'oubliez... ne m'oubliez pas! * — кричала Маша, но скоро голос ее замер под грохотом колес и звуком колокольчика...

Ровно через шесть лет я снова возвращалась в свой родной городок. За мной тянулись вереницей воспоминания, оставалось позади меня прошедшее с прожитыми чувствами, мыслями.

Обмакиваю последний раз перо в чернила и спрашиваю себя: неужели прошло два месяца с той минуты, как я рассталась с дорогими мне людьми? Нет, я еще не рассталась с ними, а только расстаюсь. В эти два месяца, за письменным столиком, между тем как Варя, моя маленькая племянница, моя ученица, играла в куклы на ковре, я переживала свое прошедшее. Все, что мучило меня неразрешенной загадкой, разрешилось, объяснилось и кануло в вечность. Передо мной раз-

* Не забывают... не забывают меня (фр.).

вертывается новая жизнь с новыми требованиями, с новыми загадками; но я уже спокойно поджидаю их. Ничто меня не тревожит, не мучит: все волшебство жизни миновало для меня, и впереди стоит один только долг, долг, долг. Я хочу жить, хочу быть полезна!..

День был сумрачный, сентябрьский. Я шла домой от городского головы, с которым уговаривалась насчет устройства ремесленного заведения для бедных девочек. Участь сирот-девочек всегда глубоко тревожила меня, и мысль стараться всеми силами о спасении хоть некоторых от страшного пути давно овладела мной. От себя я пожертвовала тысячу рублей. Общество отзывалось сочувствием на мою мысль, и голова обещал послать приглашение к пожертвованиям уездным городам. Я возвращалась домой с довольно успешным начинанием дела. Лиза выбежала ко мне навстречу, вся пунцовая, с ярко блиставшими глазами. Запыхавшись, радостным голосом, она объяснила мне, что какой-то мужчина проходил мимо нашей квартиры и спрашивал обо мне у дворника.

По ее радостному виду нетрудно было догадаться, кого она разумеет под этим мужчиной. В первые месяцы я еще поддавалась этой безумной надежде; но теперь, слушая Лизу, я только нахмурилась: слова ее мучили, тревожили меня и опять ставили почти в неприятное положение.

— Я озябла, Лизанька: поди лучше поставь самовар. А где Авдотья Ивановна?

— Ушла в лавку, — ответила она, исподлобья смотря на меня: — Я говорю же вам — это ваш барин!..

— Пожалуйста, замолчи, Лизавета Ивановна!

Почувствовав, что начинаю бледнеть, я отвернулась от нее и прошла в угловую комнату. Здесь печка ярко топилась, и дрова щелкали в ней. Варя сидела, под-

жав под себя ноги, на окне. Дождь, ветер и серое небо имеют свое очарование для впечатлительных натур. Моя племянница любила сумрачные осенние дни. Увидев меня, она не встала, не бросилась ко мне с ласками на шею, а молча следила за моими движениями своими задумчивыми глазами и не спускала с меня их, пока я не взяла со стола шитья и не уселась за работу. Тогда она опять так же тихо и молча повернулась к окну.

— Тетя, — начала она после долгого молчания, — вчера было тепло, а сегодня холодно; отчего это?

— Оттого, что вчера не было ветра, а сегодня подул холодный ветер.

— Тетя, вон какой-то мужчина идет, — продолжала малютка.

— Мало ли сколько мужчин ходит!

— Тетя, — говорит она после минутного молчания, — он нехороший; я покажу ему язык.

— Зачем?

— Он в третий раз идет и все смотрит на меня.

— Уйди оттуда, если он тебе не нравится.

— Он сам не будет ходить, если я покажу ему язык?

— Он подумает: какой скверный, гадкий язык у этой девчонки, и тебе же будет стыдно! Поди оттуда!

Ребенок нехотя спустился с окна. А у меня сердце опять забилося. И отчего? Не все ли кончено между нами? Маша, отправляясь в Грецию помечтать на тех местах, «где ратовал Ахилл», писала мне из Одессы, что она встретила там с Александром Сергеевичем (это было написано мельком и с полным равнодушием к моему бывшему жениху). Белогородский, проезжая из завода в Петербург, с тем чтобы отправиться в какое-то германское государство секретарем посольства, за-

ходил ко мне и подтвердил слова сестры. Александр Сергеевич действительно в Одессе, чего же больше? На что же я еще надеюсь? На другой день я одумалась и успокоилась. Занятия пошли обычным чередом. До обеда несколько часов чтения с Варей, потом работа, и, наконец, после обеда я с Варей пошла гулять в городской сад.

День был ясный, холодный. Выйдя на крыльцо в бурнусах, мы принуждены были воротиться домой и переодеться в шубки и меховые шапочки. Земля замерзла. Березы, все золотые и словно вырезанные на синеве небес, стояли не шелохнувшись; кое-где проглядывали алые пучки рябины, рдея на солнце; желтые листья хрустели под ногами; морозный воздух румянил щеки; галки черной тучей поднимались с берез, с криком рассыпались, собирались и опять опускались на деревья. Направляясь около решетки сада, мы подходили к скамейке, которая была любимым нашим местом. Отсюда с одной стороны виднелась церковь на горе, перед нами расстилалась река, за ней пожелтевшие нивы, синели леса.

— Тетя, ты говоришь: листья красит свет солнца в зеленую краску, а кто красит их в желтую краску? А вон, тетя, — прибавила она, смотря на решетку, — опять тот нехороший мужчина идет и смотрит сюда.

Я вспыхнула.

Большие глаза девочки следили пристально за «нехорошим» мужчиной, и ноздри ее носика все больше и больше раздувались.

— Тетя, — вскричала она, вдруг обидевшись, — он снова идет, вон входит в калитку!

И, прижимаясь ко мне боком, девочка не спускала своих больших смелых глаз с нехорошего мужчины, но я не смела поглядеть в ту сторону, только слух мой

напрягался, и когда листья захрустели под твердыми шагами, я уже знала, кто этот мужчина.

Я взглянула на него: он стоял, прислонившись головой к дереву, и как будто спокойно смотрел на меня. Я хотела что-то сказать, но в первый раз в жизни лишилась власти над своим языком.

Прошли секунды, минуты, часы. Ребенок давно ходил по тропинкам, рассматривая пурпуровые лучи солнца, а мы все еще сидели молча на скамейке, не сказав друг другу ни слова. Моя рука была в его руке, и мне слышалось только его порывистое дыхание да виднелся мужественный профиль его бледного лица. Солнце бросало багряные лучи на белую церковь с одной стороны, а с другой скользил уже месяц серебряным сиянием по темным стеклам ее верхних окон. На багрянце небес засинел длинным поясом заречный лес; туман начинал подниматься с реки; тучи галок удвоили свой крик и шум, как будто прощаясь с последними лучами солнца. Темнело. Голова его склонялась все ниже и ниже к моей руке, лежавшей у меня на коленях; наконец горячее дыхание его пробежало по моим жилам.

— Моя Наташа, моя Наташа, — слышались отрывистые слова. Я тронула пальцами его лицо: оно было мокро.

— Ты плачешь?

Он молчал, прильнув губами к моей руке, смоченной слезами. В этот год он каждую минуту, каждое мгновение был со мной. У меня не было ни матери, ни отца, ни брата, ни роду, ни племени, он всем был для меня, и я молча смотрела на его голову, склонившуюся ко мне на колени, прильнувшую к моим рукам, и молилась.

Варя подошла к нам, и я подняла его голову.

— Тетя, — говорила она, смотря все еще пугливо

на моего друга, — это тот самый хороший дядя, который нам с мамой дал денег?

— Тот самый.

— Это тот самый, говоришь, хороший мужчина, который увез тебя и твою маму, и вы жили у него?

— Он самый.

— Он будет меня любить? — спросила она после минутного молчания уже шепотом.

— А вот мы все пойдем домой, беги вперед и скажи маме, что я веду гостя.

Через два дня после этого мы вместе с ним пошли к обедне. Я надела белое платье, а он светлый галстук и белый жилет. О моем приданом, о подарках мне, о великолепии венчального наряда не было и помину между нами. Он сам назначил день для нашего венчания и спросил только: «есть ли у меня белое платье?» На мой утвердительный ответ он пожал мне руку и сказал: «Стало быть, нечего ждать». Он очень торопил свадьбой: но в продолжение всей церемонии бракосочетания был бледен, встревожен и судорожно сжимал мою руку. По выходе из церкви, когда мы шли рука об руку домой, он не открывал рта и, войдя уже в ворота нашей квартиры, прошептал:

— Мост за нами уничтожен, помни это, Наташа. Будь счастлива, в твоём счастье и моё счастье и спокойствие.

Я была на самом деле счастлива и спокойна. Беспредельно верила, что, какая бы буря ни пронеслась над нашими головами, с ним, подле него я встречу с благоговением все!.. Какие бы обязанности ни пали на мою голову, но мысль, что все его мое и мое его, заставит меня без всякого ропота взять крест свой и идти безропотно!

18-го сентября 1862 г.

ЖЕНЩИНА В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

Недовольство настоящим складом общества создало немало самых разноречивых общественных теорий, которые частью рухнули, как чуждые жизни, частью приняты жизнью к сведению. Полная перестройка общества невозможна без переделки основания его — семьи. Это сознавалось иногда смутно, иногда ясно всеми общественными новаторами. На этом сознании выросли идеи о так называемой эмансипации женщины, скоро нашедшие путь в общество, как слишком заинтересованное в этом вопросе.

Печальный разлад, замечаемый в наше время в семье, угнетение слабейшей половины, нередко грубый произвол, лицемерие, внедрившееся вследствие этого в семью, замечаемый на каждом шагу антагонизм между членами семьи — все эти мрачные явления объясняют противосемейственное направление, поднятое во Франции социальными философами. Не менее понятно и сочувствие, пробужденное в обществе их системами. Чувство свободно, — говорят они, — чувство не поддается никакому произвольному руководству; нет таких целей, которых явно или тайно оно бы не сломило. Эти мысли, понятые вполнину, очень льстили неразвитости массы, называющей себя образованной частью общества. Ухватившись за них как за непогрешительный догмат, но не имея в то же время силы сокрушить в жизни несовместные с этими понятиями формы, общество ринулось в хаос необузданного разврата.

Между тем без семьи нет общества. Будь человек животное не общественное, соединению мужчины с женщиной не нужно было бы прочности; воспитание

животного, падающее исключительно на мать, было бы вполне достаточно для пользования благами жизни. Но человек кроме воспитания физического требует воспитания общественного, т. е. нравственного. Такое воспитание, чтобы не быть односторонним, должно совершаться под согласным влиянием мужчины и женщины: из этого следует необходимость более продолжительного сожития мужчины с женщиной для воспитания своих детей.

Заметное падение нравственности, произведенное сочинениями социальных философов, вызвало реакцию крайнюю и одностороннюю; принялись осуждать не злоупотребление свободой, а саму свободу, готовы были видеть идеал семейного общества у дикарей, обратить домашний быт в естественное состояние; но неужели при решительном сознании несостоятельности семейных отношений нужно обращаться к философии, выведенной из быта каких-нибудь австралийских дикарей?

Однако ж чуть не до этого и доходило дело. И кто же является партизаном такого взгляда? Историк Франции, знаменитый своими учеными трудами, Мишле, и философ, все силы которого были направлены до сих пор на разрушение настоящего порядка вещей, не удовлетворяющего ни требованиям разума, ни желаниям свободы, — Прудон. Сущность систем Мишле и Прудона одна и та же: тот и другой ограничивают сферу женской деятельности исключительно домашним бытом. Различие между их системами состоит только в том, что Мишле, назвав женщину больной, заговорил с ней отеческим тоном ментора, прикрыл свои деспотические начала, введенные в семью, пышными фразами петиметра — сентиментальным тоном; между тем как Прудон, более прямой и резкий, высказался голосом конского заводчика, назвав женщину самкой.

«Женщине, — говорит Прудон, — прирождена без-

нравственность; у нее нет рассудка, она не может воспитать в себе никаких обязанностей, долга для нее не существует, а особенно любовь отнимает у нее совершенно рассудок. Полюбив, она не затруднится увлечь и себя и любимого человека в какую бы то ни было бездну; женщина живет минутой увлечения, страстью, за которой не видит ничего, и потому должна быть исключена, как существо, не способное управлять собой, из всякого управления политического, административного, ученого и промышленного».

На сколько верности и здравого смысла в положениях Прудона, не трудно решить, потому что он вывел свои наблюдения над женщинами своего времени, характер которого отличался страшной разнузданностью всех страстей, как между мужчинами, так и между отражением общества — женщинами. Однако ж в каком бы хаосе нравственного падения не находилось общество, но, увидя в системах Мишле и Прудона рельефно ничем не прикрытый свой грязный образ, оно ужаснулось с отвращением, отступилось от них. Пусть мы вполне разделяем высказанное мнение, думало общество, но все же лучше было бы, чтобы не подозревали в нас подобных взглядов; если уж показываться в публику орангутангами, так хоть газом себя прикрыть, когда нельзя надеть черный фрак, лакированные башмаки и палевые перчатки.

Итак, всеобщее негодование, вызванное обеими системами, ясно доказывает несостоятельность их, ясно доказывает и то, что общество уже пережило эпоху патриархальной грубости, первобытного состояния, к которому не может возвратиться, и что если произойдут какие-нибудь реформы в жизни женщины, так они должны выработаться на других основаниях и началах.

Против Прудона, говорящего, что женщина живет

минутой увлечения, страстью и дальше ничего не видит, мы скажем, что весь характер истории женщины, начиная со времен патриархальных и кончая нашим просвещенным веком, один и тот же: это постоянное и упорное угнетение с одной стороны, со стороны сильнейшей, и постоянный, не менее упорный, протест другой стороны, протест, проявлявшийся и в домашнем быту, и в жизни общественной, протест, вынудивший немало уступок у противной партии, но все не смолкающий от этих уступок. Нам не позволяет теперь ни время, ни место проследить сколько-нибудь обстоятельно историю женщины, но мы бросим, по крайней мере, общий взгляд на прогрессивное развитие личности женщины и ее движение вперед в истории человечества, хотя медленное, но все-таки заметное.

Начнем с Востока. Восток — колыбель человечества и царство природы. Человек на Востоке — сын природы; он младенцем лежит на ее груди и старцем умирает на ее же груди. Здесь он не находит в себе сил для борьбы с физической природой, которая совершенно подчиняет его себе. Восток и теперь остался верен основному закону своей жизни — естественности, близкой к животности. Любовь на Востоке навсегда осталась в первом моменте своего проявления; там она всегда выражала и теперь выражает не более как чувственное, на природе основанное, стремление одного пола к другому. Но если бы в любви людей все ограничивалось только этим расчетом, то и люди не были бы выше животных. Однако же Востоку суждено было остаться на первом моменте любви и в нем найти полное осуществление этого чувства. Отсюда вытекает и восточное многоженство. Обитатель Востока смотрит на женщину, как на рабыню, но не видит в ней человека, потому что сам, находясь в полной зависимости от физической природы, не мог выработать для себя

никаких нравственных понятий, свойственных свободной личности человека. Для восточного жителя женщина — вещь, предназначенная природой для его наслаждения; а кто же станет церемониться с вещью? Ее запирают в гаремы, зашивают в мешки, бросают в море. В мифах Востока мы не находим ни идеала красоты, ни идеала женщины.

Все мифы его по преимуществу выражают одно чувство — сладострастие, и одну идею — вечную производительность природы. Здесь не могла заявить себя и женщина никаким протестом, потому что чувство свободы было чуждо понятиям восточного человека. Разумеется, и на Востоке являлись женщины, становившиеся во главе общественной жизни, как, например, Семирамида, славная царица Вавилона, Тамара, победительница Кира, и другие; особенно в Иудее мы находим много женщин-пророкиц, перед которыми склонялись сильные мира; но все эти женщины действовали не как женщины — для приобретения себе какого-нибудь права, а скорее как проводительницы какой-нибудь идеи, полезной для общества — для мужчин. Личность женщины тогда уничтожалась, охватывалась идеей, и на вышедшую таким образом из среды женщину смотрели, как на исключение из общего правила.

Но человечество в своей эмиграции от востока к западу, из Азии в Европу, постепенно освобождалось от гнетущих его сил физической природы, а вместе с тем и жизнь человека приобретала большую самостоятельность. Наконец, в Греции — этой первой европейской стране — любовь является уже в высшем моменте своего развития. Чувственное стремление одухотворено уже здесь идеей красоты. Впрочем, и любовь грека — ни более ни менее, как минута страстного упоения; страсть насытилась, и сердце летит к новым предметам красоты; грек обожал красоту, и всякая пре-

красная женщина имела право на его обожание, а когда женщина лишалась блеска своей красоты, она вместе с тем теряла и сердце любившего ее. Личность женщины и здесь не была ничем гарантирована от произвола мужчины; она была несовершеннолетний ребенок перед законом, если, разумеется, не нужно было судить ее; в противном случае она подвергалась одинаковой ответственности с мужчиной, но мы говорим относительно ее прав. Она жила в вечной опеке, сперва у отца, потом у мужа; предназначена была рожать детей, смотреть за порядком дома; чтобы выйти замужней женщине из дому, для этого необходимо было находиться ей в таких летах, которые бы при взгляде на нее заставили спросить, чья она мать, а не чья жена; чтоб говорить в обществе мужчин, она должна была выяснить прежде всего важность причины, которая побудила ее на такую дерзость. Знаменитейший лирик Греции, Сафо, говорит об афинских замужних женщинах: «они не собирали роз с муз, и потому о них ничего не говорят, точно так же, как не станут ничего говорить и после смерти их. Из мрака своей жизни они перейдут в ничтожество могилы, подобно теням, блуждающим во мраке ночи и исчезающим при восхождении зари». Грек устроил свою жизнь для пользования всеми наслаждениями и удобствами жизни. Он говорил: для рождения детей — мы имеем жен, для обыденной жизни — хорошеньких невольниц, а для упоения жизнью — гетер. С первого взгляда кажется, что и здесь женщина осталась той же вещью, как и на Востоке, что с перенесением жизни из Азии в Европу ничто не изменилось в судьбе женщины. Да, в семействе она осталась рабой, погибла для истории. Но Европа — страна прогрессивного развития; с развитием личности человека не могла не заявить себя и женщина. Рядом с туманными, печальными образами матерей се-

мейств мы находим в Греции касту свободных женщин — гетер. Во всем блеске своей красоты и молодости, они собирают около себя граждан и блестят в среде их своим умом, своими талантами. Они являются везде непокрытые, гордые и блистательные, и на площади, и в мастерских художников, и на берегах моря в купальнях; Аспазия — королева Перикла, Лосфения присутствует при уроках Платона; Фрина делает вызов отстроить на свой счет Фивы, с условием, чтобы имя ее было вырезано на городских воротах. Если афинские матери семейств, осужденные жить в одиночестве гинекеев, презирались даже своими мужьями, то гетеры заставляли поклоняться себе: граждане свободной страны ищут их общества, философы делят свой досуг с ними, поэты воспевают их, художники передают бессмертию их образы. Итак, в Греции, в этой первой европейской стране, в лице гетер мы находим первый протест женщин, правда, протест бессознательный, жалкий, рабский; женщина пожертвовала своим нравственным достоинством для приобретения себе некоторых прав человека, утратила свою женственность, чистоту, но все же это был протест человеческой личности против гнета, женщина вырвалась из железных оков гинекея, и мы, к сожалению, не можем не признать в гетере личность гораздо высшую афинской матери семейства, потому что последняя была низведена на степень бессловесного животного.

Пойдем дальше. Вслед за Грецией является представителем прогрессивного развития мировой деятельности народ жесткий и воинственный, исключительно занятый войной и выработыванием гражданских прав, — римляне, вся социальная организация которых была основана на войне: у этого народа меча и цепей, войны и невольничества женщина по своему организму не могла иметь большого значения. Поэзия, ху-

дожества, красота — все эстетические наслаждения почти лишены смысла в глазах сурового римского гражданина. При первом взгляде на общественную жизнь Рима мы уже встречаем здесь другие времена, другие нравы. Свободная женщина «гетера» превратилась у воинственного народа в позорную «либертину» и утратила весь свой блеск, между тем как дочь, жена, мать приобрели некоторое нравственное значение, впрочем, столь малое, что оно заметно только при сравнении с греческой женщиной, которой, как мы видели, не существовало в семействе. Что бросается нам в глаза с первых же страниц римской истории — это Лукреция, жена гражданина Коллатина. Оскорбление, нанесенное ей Тарквинием Гордым, и вслед за этим ее трагическая смерть дают повод к возмущению, уничтожению царской власти и учреждению республиканского образа правления. Далее мы встречаем непорочный образ девушки Виргинии, кончившей свою жизнь так же трагически: ее убивает отец, не найдя других средств спасти от преследования М. Клавдия, пользовавшегося в то время сильной властью в республике. Из этого видно, что дух римлян уже другой. Матрона, мать граждан, также пользуется уже некоторым почетом, хотя и совершенно внешним. При виде ее белой тюники, окаймленной золотом и пурпуром, народ расступается, ликторы не смеют коснуться до нее, сами консулы дают ей место. Один оскорбительный взгляд, брошенный на нее, подвергает дерзкого наказанию. Да, римская мать семейства имеет уже в обществе некоторое значение, которое давало, по крайней мере, возможность остаться ей женщиной и не снизойти вместе с этим на степень бессловесного животного. Все это так, но если вникнем глубже в общее положение женщины, то найдем его и здесь крайне печальным. Перед законом женщина — тот же несовершеннолетний ребенок, как

и в Греции. Матрона, пользовавшаяся внешним почетом при появлении в общественных собраниях, была угнетаема донельзя в семье, где она была лишена даже материнской власти и нередко занималась образованием либертин в угоду своим мужьям и сыновьям. Бросить жену, жениться на другой и на третьей римлянину не стоило никакого труда: он заявлял только перед законом, что жена его беспокоит, — и следовал развод, что считалось прощительным, дозволенным для римлянина; зато римлянку по первому обвинению казнили, наказывали изгнанием и т. д. И все на том основании, что жена, раз оступившись, рискует быть матерью. Воинственный народ, вырабатывавший права, совершенно забывал то, что преемственность родов, фамилий идет от мужчины и что он точно так же, если не больше, может быть отцом, как женщина матерью. Однако ж чем больше стесняли свободу женщины, тем, разумеется, предоставляли себе больше прав, и вышло то, что нравственность, несмотря на все цепи и оковы, приходила в большой упадок. Брошенные своими мужьями, женщины, не имея никакой собственности, недопускаемые ни к какому честному труду, лишались всех средств к жизни. Что оставалось делать им? Нетрудно угадать. Нравственные понятия не вошли в сознание древнего мира. Личность женщины здесь более или менее уничтожена, ее человеческое значение подавлено; и она, не уставая, протестует всем, чем может. Стоит заглянуть только во внутренность римского семейства, чтоб увидеть этот неумолкаемый протест. Жена — это злая фурия, прикрывающая свою злобу лицемерием, обманом, вымещающая на своих невольницах несправедливость мужей, судьбы, за малейшую неловкость терзающая этих бедных девушек то втыканием им булавок в плечи, то обезображиванием их лиц. С падением нравов римской республики мы нередко

встречаем надменных матрон, переодетых по ночам в платья либертин, выходящих тайно из дому и предающихся чудовищным сатурналиям: обман, ложь, хитрость, зависть друг к другу — все эти родовые пороки женщин, вызванные их положением и идущие с незапамятных времен, достигли страшного развития в Риме.

Римские писатели, касаясь нравов женщины, представляют нам ее существом злым, лукавым, обманчивым, способным на всякое зло и лишенным почти совершенно инстинкта справедливости и чести; поэты расточают своим любезным, которые, впрочем, принадлежат большей частью к кастам либертин, расточают предметам своей любви такие оскорбления, что самая потерянная женщина нашего времени покраснела бы от них. Римляне не затруднялись оскорблять свои собственные чувства, потому что женщина входила в их общество не иначе, как в звании либертины. С другими женщинами им нечего было делать.

Разнузданность, доходящая до цинизма, оскверняла перо лучших писателей там, где они обращались к женщине. При таком воззрении общества на женщину несколько не удивительно появление таких личностей в истории, как Фульвия, Агриппина и Мессалина. Мы не можем отвергнуть показание истории; но скажем только то, что чем больше подавлена личность человека внешними условиями, тем она ниже стоит на ступенях нравственного развития, тем по естественному закону жизни должен быть темнее и извилистее путь ее. Впрочем, как ни низко стоит римская женщина, однако ж возможность появления в истории таких личностей, как, например, почтенная мать Гракхов — Корнелия, честолюбие которой состояло в том, чтобы сделать из своих сыновей первых граждан Рима и заслужить название матери Гракхов, чего она достигла сво-

ими стараниями, ибо после смерти ей была воздвигнута римлянами статуя со словами: «Матери Гракхов»; или появление таких личностей, как Октавия, добродетельная и строгая жена развратного Марка Антония, — дают нам право отдать преимущество римской женщине перед греческой.

В Греции — она гетера и больше ничего, так что, при разрушении греческого общества, женщина почти совершенно исчезает с лица исторической жизни, между тем как в Риме она, при тех же обстоятельствах, несколько раз становится во главе общества. Правда, в это время римская женщина передала нам свое имя большей частью мрачным и опозоренным, но дух времени был таков. Все начала древнего мира были выжиты, верования истощились; потерявши всякую моральную опору, народ, ничем не удерживаемый, отдался своим страстям и начал разрушать общество. Никто не женился, не выходил замуж, семейство уничтожилось, вместо законных детей имели вольноотпущенников, которых не считали за детей, нередко резали их и по их внутренностям гадали о своей судьбе. Жестокость, разврат и суеверие — вот что управляло умами. Наконец, само развращение женщин обратилось в законное дело, продажа детей также; яростное, бешеное воображение ухищрялось, умирая, на выдумки мрачных чудес; древний мир падал с Римом, и то была страстная оргия без различия полов, родства, человечности, которой он праздновал свою смерть и похороны. Да, древний мир разрушался...

Но вот двенадцать галилейских рыбаков, бедных и неизвестных, выходят из Иудеи и идут со словами любви, примирения в грешный падающий мир, бросают в него догмат равенства и всеобщего братства. «Мы все дети одного бога, — говорят они, — сотворены все от одного человека и да возлюбим друг дру-

га». Это — благая весть, обещанная миру и так долго поджидаемая им. Вера, любовь, свобода — эти добродетели, едва предчувствуемые древним миром, явились человеку для обновления его чувств, сердца и разума. Вслед за откровением нахлынули на Европу и новые народы с новыми понятиями и с чистым сердцем, чуждым пороков древнего мира и готовым к принятию божественного учения. Сын темного назаретского ремесленника, призвавший к иной жизни общество, призвал вместе с тем и женщину. Она находится в среде его учеников; встретивши ее у колодца, он открывает ей свою божественность и делает проводительницей своего учения.

Он говорит: «кто безгрешен из вас, тот пусть бросит первый камень в грешницу». Он же увещевал Марфу покинуть обыденные заботы о хозяйстве и слушать его учение; наконец, жены встретили его первые по воскресении; жизнь его назначалась равно как для мужчин, так и для женщин; его страдания, смерть крестная и воскресение из мертвых искупили и обновили весь род человеческий.

И в первых христианских обществах мы видим всех членов церкви равными: господин, невольник, римлянин, варвар, муж, жена, отец, дитя — все любят друг друга и делят свои достатки и недостатки вместе. Все без исключения ведут жизнь трудовую, непорочную, чистую; идею христианства проводят в грешный мир мужнины и женщины, те и другие с одинаковым бесстрашием и одинаковым геройством умирают на крестах или, сжигаемые на кострах, сгорают и иллюминируют своими зажженными телами сады римских императоров. В первые времена христианства женщина, бывши членом небольших обществ, преследуемых, угнетаемых и в то же время ревностных предводителей божественного учения, — женщина, почитаемая здесь рав-

ной, имела в это время возможность заявить себя как христианка, как мученица и как героиня.

Но Римская империя мало-помалу падала, на развалинах ее вырастали новые общества, христианская религия сделалась господствующей, организовались новые государства из пришедших народов, и равенство между христианами в массе, по естественному закону государственной жизни, должно было исчезнуть точно так же, как горячая вера в Христа, потому только, что масса бессознательно приняла новую религию. Но то, что раз брошено в жизнь, дает свои плоды, и христианство, освободив нравственно женщину, отразилось на ее жизни в средние века, несмотря на господствовавшие тогда произвол, грубость нравов и насилие: вместо расточаемых ей оскорблений, как это было в древнем мире, средние века обоготворили ее, но возвели в такой идеал и на такую высоту, что этот идеал, увы! никак не мог приложиться к жизни грубых феодалов. Понятия средних веков шли в разлад с действительностью, и потому в жизни женщины мы встречаем странную двойственность: идеальность и действительность, дух и материю. Любовь к женщине была воздухом, которым люди жили в то время. Женщина была царицей романтического мира: проехать десятки верст, чтобы только увидеть промелькнувшую в окне тень «дамы сердца», рыцарю казалось высочайшим блаженством. Он смотрел на свою даму, как на существо высшее; чувственное влечение к ней он почел бы профанацией, грехом; он призывал ее имя на битвах, он умирал с ее именем на устах. К сожалению, это страстно-духовное, это трепетно-благоговейное обожание избранной «дамы сердца» нисколько не мешало ему жениться на другой или быть в самой греховной связи с десятками других женщин — не мешало самому грубому циническому разврату. То идеал, а то

действительность, — их нельзя было мешать в средние века друг с другом. Брак всегда бывал гробом счастья для женщины. Бедная девушка, сделавшись женой, променивала свою корону и свой скипетр на оковы, из царицы становилась рабой и в своем муже, дотоль преданнейшем рабе ее прихотей, находила деспотического властелина и грозного судью. Безусловная покорность его грубой и дикой воле делалась ее долгом, безропотное рабство — ее добродетелью, а терпенье — единственной опорой в ее жизни: пьяный и бешеный, он мстил ей за дурное расположение духа, он мог бить ее, равно как и свою собаку, в досаде на дурную погоду. При малейшем подозрении в неверности он мог ее ударить, зарезать, и увы! такие истории не были исключительными событиями в средние века. Кто же является здесь защитником угнетаемой женщины? Ведь древний мир со своим правом меча и цепей кончился. Слабость, страдание, бедность имели, наконец, бога во Христе. Да и католическая церковь, возвысившись над грубым феодальным миром, во имя Христа, умершего на кресте, приняла женщину под свое покровительство. Буллы папы следуют одни за другими в защиту брака, они останавливают произвол царей, сокрушают право сильного. Одна из французских королев, привезенная из дальних стран во Францию и знавшая из всего французского языка только одно слово «Рим», увидев, что муж хочет бросить ее после первого дня брака, в отчаянии вскричала: «Рим! Рим!» Эти слова беззащитной откликнулись в священном городе, и король с раскаянием просит прощения у папы и оставляет у себя жену. Своим моральным, духовным влиянием католическая церковь совершила великое дело, принесла огромную услугу миру. Идея крестовых походов, также возникшая в уме пап, отразилась нравственным влиянием на народах и на жизни женщины.

Рыцари, отправлявшиеся в Палестину освобождать гроб Господен, отражать нашествие Азии на Европу, магометанства на христианство, оставляли управление своими имениями и вассалами женщине, которая через это получила законную возможность иметь свою собственность; за недостатком мужских наследников, она могла наследовать после отца, управляла самостоятельно своими имениями, землями, клялась в верности своему ленному владыке, точно так же получала от своих вассалов присягу в верности, заседала в трибуналах. Значение ее так возвысилось, что Элеонора Аквитанская потребовала даже развода с мужем, была уважена, вышла за другого; но после нескольких лет несчастного супружества она отправилась в свои имения и вела долгую и упорную борьбу со своим вторым мужем, Генрихом Плантагенетом. Из этого видно, что борьба женщины находила себе партизанов. Кроме того, как только жизнь женщины получила большую сферу деятельности, она начинает входить в науки, в искусства и в государственную жизнь. История средних веков передала нам множество женских имен во всех сферах деятельности. Разумеется, между женщинами не было ни Дантов, ни Рафаэлей — история человечества не обязана им никакими полезными открытиями; но до сих пор ведь и женщина, подобно юному народу, ищет пока гарантии своей личности, приобретения каких-нибудь прав. И то великая заслуга со стороны женщины, что идея равенства между мужчиной и женщиной прикладывается уже в настоящее время к жизни в некоторых местах земного шара, как, например, в Америке. Эта же идея равенства, понятая ложно, проводится также и во Франции. В настоящее время мы переживаем эпоху всеобщей эмансипации и вопрос об эмансипации женщин занимает более или менее все передовые умы нашего времени. Почва сред-

них веков, из которых развивалась жизнь женщины до настоящего времени, отжила свои начала. Это доказывается тем, что общества дошли до сознания необходимости радикальных перемен в женском воспитании, образовании и роде жизни. Но в чем должна состоять эмансипация женщины? На это отвечала нам Франция несколько раз, и увы! весьма неудачно. Французские софисты, не имеющие элементарных понятий о законах, которыми управляются общества, провозгласили свободу чувства и первый шаг к эмансипации женщины сделали тот, что уравнили ее с собой в нравственном растлении: что я позволяю себе, то позволяю и женщине, — вот пункты равенства. Софисты, говорящие таким образом, разумеется, не женятся до известного времени, перелетают, подобно мотылькам, от одной женщины к другой; ничем не связанные, они со спокойным сердцем и чистой совестью подрывают общественную нравственность. Наконец, переживши лучшее время своей жизни в обществе камелий и актрис, француз начинает утомляться, приходит к тому заключению, что бросает в сторону все идеи об эмансипации, женится на восемнадцатилетней или шестнадцатилетней девушке, и после женитьбы софиста характер его изменяется. Тщеславный до крайности, глубоко сознавая свою нравственную несостоятельность, распустивший себя в обществе камелий, лишенный мужественной твердости, он трепещет перед общественным мнением, страшится за роль смешного мужа. И выходит то, что он подчиняет неустановившегося ребенка своим развращенным вкусам, лишает его всякой доверенности, всякой самостоятельности, всех прав в семье. Она уже подчиненное существо перед ним, а не существо свободное, одаренное разумом и волей. Он ревнует ее, между тем как она не смеет выразить пред ним ни малейшего сомнения в авторитете его развращенной

особы. Он думает и за себя и за нее, он знает, чего нужно для нее и чего не нужно. Стало быть, личность женщины снова уничтожается во французском семействе, и гармония жизни нарушена. Свобода человеческой личности ищет себе исхода из-под этой деспотической власти, и француженка, вышедшая замуж незнанием и невинным ребенком, скоро научается лгать, обманывать и, наконец, извращается до того под влиянием своего мужа, что приводит в негодование таких мыслителей, как Прудон, и извращает на себя взгляд таких людей, как Мишле. Из этого видно, что идея равенства неудачно приложилась к жизни французов, видно, что не все то годится для женщины, что пригодно для мужчины; по закону жизни, сильный всегда возьмет перевес над слабым, если только у того не останется нравственной твердости и энергии для отпора его силы. Француз сказал: «Что я позволил себе, то должен позволить и женщине»; островитянин по другую сторону Ламанша ту же идею взял наоборот: «Чего я требую от женщины, того же она имеет право требовать от меня», и по мере того, как нравственность падает на континенте, в Англии святость семейства защищается всеми писателями, общественное мнение порицает как жену, так и мужа, нарушивших свои обязанности. Девушка в Англии свободна, она пользуется всеми удовольствиями, предоставленными ей ее полом и положением: личность ее как женщины гарантирована нравственным развитием общества, она не побоится ехать с мужчиной, с молодым человеком, хоть за двадцать верст, не побоится остаться с ним tête á tête в какое бы то ни было время и где бы то ни было; она остается в полной уверенности, что не услышит от него ни одного оскорбительного намека, ни одной цинической выходки, ни двусмысленности пошлой, так свойственной французу. Сердце англича-

нина справедливо, нравственно и твердо; стоит только проследить за той и за другой литературой последних лет, чтобы увидеть неизмеримое различие жизни обоих народов, чтобы увидеть, сколько таится под разными местными предрассудками и внешними угловатостями нравственного, здорового, созидającego в английском обществе, и наоборот — сколько сгнившего, разрушающего, цинического в разгуле страстей французского народа. На измене женщины, на разрушении святости семьи держится французский роман; между тем как английские писатели если и приводят подобные случаи, то как ненормальное явление в жизни. Вслед за изменой женщины идет развод, и англичанин, увлекший ее на этот путь, женится на ней. Таковую жизнь, по крайней мере, рисуют нам Диккенс и Теккерей, писатели по преимуществу реалисты. Тот же Теккерей представляет нам девушку из высшего сословия, которая показывает своему жениху письмо, где описывалась его прежняя жизнь в обществе француженок, и они расходятся. Девушка в Англии поздно выходит замуж, поэтому ей остается время для приобретения человеческих знаний. Лучшие романисты в Англии в настоящее время — девушки. Английская женщина заявила себя в обществе совсем иначе, чем французская; дорога, избранная англичанкой, безукоризненна; она явилась не разрушительницей общества, а созидательницей. И хотя права ее, права гражданские, более стеснены, чем во всякой другой стране, но она пользуется таким уважением и нравственным влиянием в обществе, что — мы готовы предположить — она приобретет себе права раньше, чем женщина какого-либо континента. То же явление мы замечаем и у одноплеменников англичан — североамериканцев. Женщина там пользуется еще большей свободой, чем в Англии. В сложности, девушка получает там большее образование, чем мужчина, ра-

зумеется, если последний не готовится к какой-нибудь специальности; вход в женские пансионы не запрещен никому; бестолковая влюбчивость, происходящая большей частью от отчуждения женщины, исчезает сама собой; девушка здесь образуется и для преподавания в средних учебных заведениях. Одна американка читала физиологию в Оксфордском университете. В последнее время из писем Циммерана и Леомиля видно, что развод в Америке допущен, но только с тем, чтоб материальное обеспечение женщины было упрочено мужем. Американка выросла до того, что оскорбляется при малейшем подозрении мужа; в семье она полная госпожа на том основании, что у нее одна жизнь, семейная, между тем как у мужчины есть другая, общественная. За оскорбление, нанесенное американке изменой мужа, мстит народ, если только это дойдет до его слуха. Тот же Леомиль пишет, что в последнее время общество, состоявшее из тысячи женщин, устроило митинг, на котором положено было требовать от мужчины, чтобы он дал права женщине такие, которые позволяли бы ей находиться в совершенно независимом положении от него и управляться самой собой. Насколько было зрелости и обдуманности в этом требовании, мы не решаемся судить, несмотря на то, что многие мужчины увлеклись этим делом и приняли в нем участие. Мы привели этот факт только для того, чтобы указать на движение женщин, которое идет то прямо, то спотыкается, но все вперед. Впрочем, никто не может угадать конца этого движения. Из борьбы мнений, из борьбы жизни выходит дело; в какой форме оно выйдет, какие права дадут женщине, в чем должна состоять ее свобода и какое моральное значение займет она в жизни, — все это должно показать нам время. Теперь мы знаем только одно, что на нравственном падении женщины не может быть произведена

эмансипация. Надо научиться обществу прежде всего любить женщину как человека, желать ей прежде всего добра — на этой общечеловеческой любви основан и прогресс народной жизни. Кто не любит женщину как человека, сказал один гениальный германский мыслитель, тот не любит и людей.

Теперь нам остается сказать несколько слов о русском обществе. Матерей семейства нет, воспитательниц граждан также — вот фразы, которые повторяются всеми от мала до велика. Мы встречаем эти пустые, по своей сущности, слова и в статьях критических, даже исторических, не говоря уже о романах, повестях и фельетонных заметках. В самом деле, что такое воспитательница граждан, мать семейства? Как будто она пользуется у нас каким-нибудь авторитетом в семействе, как будто она, выходя замуж, не делается беззащитной, не вручает свою судьбу на произвол мужчины и дурной муж не всегда может лишить женщину средств быть хорошей женой и матерью. Действительно, у нас женщина не имеет почти никакого социального значения, не имеет также значения ни как жена, ни как мать, потому что до сих пор мужчина полный властелин ее, и если только жена захочет поставить себя в семье на ногу жены, как англичанка, т. е. будет принимать у себя кого ей угодно, лишаться удовольствия видеть тех личностей, которых она не желает, позволит себе воздерживать мужа от распущенности, т. е. вступится за свои права как жена, — тогда можно наверное предположить, что из десяти девять осудят ее. Одним словом, на фразы — нет матерей семейств следует прямой ответ — есть ли у нас личность отца семейства? Разумеется, везде есть исключения, в каждом уголке, как бы он ни был мал, найдутся хорошие мужья и жены, отцы и матери, но мы говорим о господствующем мнении, о типичных личностях, кото-

рые бы составлялись по большинству и выражались в литературе, этом зеркале народной жизни. Впрочем, русские — еще юный народ, поздние гости на пиру европейской жизни. Только с реформы Петра Великого женщина освободилась из неволи терема. Вслед за этим она явилась на престоле, приобрела собственность, отдельную от мужа, в конце восемнадцатого века мы уже встречаем прекрасный энергический образ княгини Дашковой. К несчастью, она явилась личностью до того исключительной, выдалась так резко как политический деятель, что не дала никакого движения русской женщине. Но если мы спустимся к личностям менее блистательным, войдем в сферу литературы, в единственную сферу, доступную деятельности женщин, то найдем и протест против гнета и прогрессивное развитие женщины. Если наша писательница берется за перо и не совершенно лишена человеческих инстинктов, то можно ручаться, что она, по мере своих умственных и нравственных сил, явится пред обществом адвокатом всех женщин. Нравственно развитая женщина нашего времени страдает за всякую несправедливость, нанесенную другой женщине. Чувство зависти, тщеславия, кокетства, рабское желание понравиться мужчине в ущерб своим сестрам должно быть чуждо ей. Она глубоко сознает, что прежде всего она человек-женщина, представительница того пола, несправедливость и гнет над которым идут с незапамятных времен. Всякое добро, которое делает женщина для своей сестры, делает для самой себя. Общечеловеческая любовь, завещанная нам Спасителем, должна идти впереди всех порочных страстей и других наклонностей, которые суть самые дурные проводники в жизни. Точно так же, как и развитой человек — мужчина нашего времени, принявши на себя раз обязанности в отношении к женщине, остается верен им во всю жизнь. Личность развитая любит

только один раз в жизни, хотя и много раз увлекается, но каждое свое увлечение не называет чувством и не требует для него свободы; раз полюбивши и женившись, он удовлетворяется и воздерживается от увлечений, которые наносят вред семейству и часто разрушают все счастье женщины. В нашей литературе не явилось пока таких личностей мужских, — в этом отношении женщина ушла вперед. В последнее время мы встретили двух передовых женщин в романах Гончарова и Тургенева — Ольгу и Елену. Впрочем, Елена Стахова только предвестница будущей русской женщины, что и выразил Тургенев своим заглавием романа «Накануне». Все шаги этой девушки порывисты, неровны и нетверды; при первой любви она отдается без всякой борьбы своему чувству, громко признается, что страсть ее единственный закон с той минуты, как она полюбила Инсарова; она жаждет деятельности, добра, но ничего не делает для женщины. Не таковой является Ольга: полюбив человека, она требует от него полезной деятельности и говорит с негодованием, что неспособна, как женщина, приносить свою личность в жертву любви. Впоследствии, увидев свою ошибку в любви к Обломову, она со слезами, но расстаётся с ним. Свою личность, как человека и женщины, она поставила выше страсти и увлечений. Так выразились наши передовые женщины; но что мы скажем о массе, что скажем, заглянув в темную низменную жизнь нашей сестры-крестьянки, на какой степени развития стоит она, какими правами пользуется в жизни, чем она заявила себя? Некоторые утверждают, что в народе более равенства между мужем и женой, более равенства в их жизни. Действительно, в народе ее не удаляют от труда тяжелого, физического, не боятся за ее слабость. Если она не платит податей, то все же трудится почти наравне с мужчиной. Несмотря на все это равенство,

в народе образовались пословицы: «Пред мужем жена всегда виновата»; «Худое житье девичье лучше самого хорошего замужества»; или спустимся еще на низшую ступень: «Чем больше муж бьет жену, тем больше любит». В каком глубоком нравственном падении надо находиться личности, чтобы усвоить себе подобное понятие? Признаемся, мы не можем даже вообразить себе в человеческом образе личность, выражающуюся таким образом, и только при воспоминании о том, что это говорит не человек, а женщина-крестьянка, нам становится понятной последняя пословица. Жена крестьянина или бессмысленное, оупевшее от побоев и разных житейских невзгод существо, или злая ворчливая баба, постоянно раздраженная Бог знает чем; она учит своих детей с маломальства произволу и насилию, она подучает и сыновей женатых колотить невесток, приговаривая: когда мы были молоды, нас еще не так учили. Жизнь, исполненная безвозмездного труда и неволи, жизнь, лишенная всех человеческих радостей и счастья, выработала такую личность. Но лучше для характеристики жизни нашей женщины-крестьянки приведем слова Некрасова:

Да не то тебе пало на долю,
За неряху пойдешь мужика;
Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж привередник,
А свекровь в три погибели гнуть.
От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвести;
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.
И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни, появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный вечный испуг.
И зароят в сырую могилу,

Как пройдешь ты тяжелый свой путь —
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Страшная судьба, горькая действительность! Где искать исцеления всем этим язвам? Где, как не в нравственном развитии общества? Мы утешаем себя тем, что прогрессивное движение в своем жизненном течении не останавливается. И в нравственном развитии общества, развитии, основанном на христианской религии, которая уже раз навсегда показала нам между простым народом женщину, пользующуюся одинаковыми правами с мужчиной, — в этом развитии заключаются пока все надежды женщины на приобретение себе справедливости и свободы.

Воспитание, образование — вот первые двигатели всяких реформ в общественной жизни. Участие, которое принимает общество в открытии учебных заведений для образования детей женского пола, достаточно показывает, что, заботясь о развитии женщины, общество заботится о своих собственных интересах и сознало уже, что только от обеспечения прав и развития личности каждого зависит благосостояние общее. И вероятно, каждая развитая женщина пожелает от глубины души успеха начатому делу, и если найдет возможность, то примет участие в этом деле, касающемся столько же ее самой, сколько и младших ее сестер.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ Е. А. СЛОВЦОВОЙ-КАМСКОЙ В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 1860-х ГОДОВ

¹ Она родилась в Перми в ноябре 1838 года в семье чиновника, прожила в этом городе до 1865 года; после кратковременного пребывания в Петербурге уехала лечиться в Ревель, где и умерла в августе 1866 года.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — Т. 9. — С. 310. У критика было свое понимание «беллетристики»: он располагал ее между ремеслом и искусством, отказывал ей в гениальности, но не отрицал возможной талантливости.

³ Отечественные записки. — 1885. — № 1. — Отд. 4. — С. 58.

⁴ Современник. — 1864. — № 4. — С. 259.

⁵ Словцова-Камская Е. А. Женщина в семье и обществе // Исторический вестник. — 1881. — Т. 5. — № 8.

⁶ Голицын Н. Н. Библиографический словарь русских писательниц. — СПб., 1889.

⁷ Голос. — 1866. — 28 окт. — № 298.

⁸ В статье-некрологе Ф. Ливанова упомянуты еще две ее рукописные повести: «Наташа Ринева», «Любовь и право».

⁹ Красноперов Д. А. Она шокировала обывателей // Веч. Пермь. — 1988. — 22 нояб.

¹⁰ Михайлов М. Л. Соч.: В 3-х т. Т. 3. — М.: Худож. лит. 1958. — С. 369.

¹¹ Исторический вестник. — 1881. — Т. 5. — № 8. — С. 767.

¹² Михайлов М. Л. Соч. — Т. 3. — С. 415.

¹³ Исторический вестник. — 1881. — Т. 5. — № 8. — С. 781, 782.

¹⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — Т. 10. — С. 347.

¹⁵ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 3. — М.: Худож. лит., 1979. — С. 146.

¹⁶ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 405.

¹⁷ Русский вестник. — 1859. — Т. 22. — Кн. 1. — С. 457.

¹⁸ Там же. — С. 418.

¹⁹ Там же. — С. 422, 427.

²⁰ Там же. — С. 422.

²¹ Там же. — С. 436.

²² Там же. — С. 424.

²³ Там же. — С. 435.

²⁴ Там же. — С. 434.

²⁵ Чернышевский Н. Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. — М., 1974. — С. 436.

²⁶ Тур Евг. Три поры жизни. — М., 1854. — Ч. 3. — С. 137, 161.

²⁷ Там же. — Ч. 2. — С. 244.

²⁸ Русский вестник. — 1859. — Т. 22. — Кн. 1. — С. 455.

²⁹ Там же. — С. 425.

ПИСАТЕЛЬНИЦА г-жа КАМСКАЯ

¹ Некролог, опубликованный в газете «Голос» (СПб.), 1866, № 298, 28 окт.

² Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — сподвижник Петра I, увлекался астрономией, из окна Сухаревой башни озирали в «телескоп» звездное небо... Невежественные старожилы распустили слух, будто он «чернокнижник», составляет в башне волшебные смеси живой и мертвой воды, знается с «нечистой силой» и т. п.

³ Ливанов Федор Васильевич, писатель, автор романов о раскольниках. В 60-х годах жил в Перми в ссылке и работал надзирателем Пермского питейно-акцизного управления.

ЛЮБОВЬ ИЛИ ДРУЖБА?

Впервые — «Русский вестник» (издатель М. Катков). — 1859. — № 8.

с. 41. *Пуританин* — сторонник строгого образа жизни, строгих нравов.

с. 43. *«Норма»* — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835).

- с. 44. Пересказ стихотворения «Вопросы» немецкого поэта Генриха Гейне (1797—1856) из заключительного цикла «Книги песен» «Северное море»: Скажите мне, волны, что есть человек? Откуда пришел он? Куда пойдет? И кто там над нами на звездах живет?
Перевод М. Михайлова.
- с. 49 «Завоевание Англии норманнами» — одна из работ Тьерри, Огюстена (1797—1856) — французского историка, автора работ по истории третьего сословия, получивших высокую оценку К. Маркса.
- с. 49 «Илиада» — древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру. Гектор и Андромаха — супруги, герои этой поэмы.
- с. 58. Имеется в виду освободительная война кавказских горцев, возглавляемая в 1834—1859 гг. Шамилем (1799—1871) против войск царской России.
- с. 58. *Сатурналии* — пиршества, полные безудержного разгула (по названию празднеств в честь бога плодородия Сатурна в Древнем Риме).
- с. 59. *Катонизм* — от имени Катона Старшего (234—149 до н. э.) — римского писателя, поборника староримских нравов.
- с. 59. Навеяно евангельской легендой о грешнице, которую фарисеи привели к Христу, требуя наказать ее камнями за грехопадение; на это Христос ответил: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И грешница была прощена.
- с. 73. *Сомнамбула* — то же, что лунатик.
- с. 76. «Горные вершины» — романс А. Е. Варламова (1801—1848) на слова М. Ю. Лермонтова.
- с. 80. *Мантилья* — женская безрукавая накидка.
- с. 82. *Бурнус* — верхняя одежда, мужская или женская.
- с. 93. *Капот* — женское открытое платье с рукавами и разрезом впереди.
- с. 94. «Песня Селима» из поэмы М. Ю. Лермонтова «Измаил-Бей».
- с. 97. Имеется в виду образ, созданный поэтом в его

статье «Девушки и женщины Шекспира», в разделе «Комедии» (Г. Гейне. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. — Л.: ГИХЛ, 1958. — С. 418).

- с. 98. Из романса А. Варламова «Река шумит» на слова поэта А. В. Тимофеева (1812—1883).

МОЯ СУДЬБА

Повесть печатается по журнальному варианту, опубликованному в «Русском вестнике», 1863, № 10.

- с. 113. *Отморок* — омрачение ума (диал.).
- с. 123. *Просфира* — (просвира) — в переводе с греческого «приношение». Особое печенье из пшеничной муки, употребляемое в обрядах русской православной церкви (как пережиток хлебных жертвоприношений духам и божествам).
- с. 126. *Вешники* (вешняки) — ворота с подъемным заслоном в плотинах и запрудах для спуска вешней воды.
- с. 144. *Сильфида* — по представлениям средневековья, женский дух стихии воздуха.
- с. 144. *Пахитоска* — сигарета или папироска в листке из кукурузы.
- с. 152. *Геральдические знаки* — гербовые знаки, указывающие на принадлежность к дворянам.
- с. 161. Речь идет о царском манифесте 19 февраля 1861 года, отменяющем крепостное право.
- с. 162. *Еруслан Лазаревич* — герой популярной русской сказки, образ его приобрел черты русского богатыря.
- с. 163. *Мировой* (судья) — судья для разбора мелких гражданских и уголовных дел.
- с. 177. *Готтентотский тон* — резкий, грубый. От слова «готтентоты». Так называется южноафриканское племя, язык которого кажется грубым — со странными щелкающими звуками.
- с. 182. Строки из эпической поэмы Гомера «Одиссея».
- с. 183. *Лаэртид* — сын Лаërта, Одиссей — герой поэмы.
- с. 183. *Навсикая* — дочь Алкиноя, царя феаков. Она спасла потерпевшего кораблекрушение Одиссея.

- с. 183. *Тацит* (ок. 58—117 г.) — римский историк.
- с. 183. *Юпитер* — мифологический бог неба, света у римлян. Различали разные качества этого божества: Юпитер Статор (Сохранитель) — сохраняющий войско, Юпитер Версор (Отвратитель) — обращающий вражеское войско в бегство, Юпитер Виктор — дарующий победу, Юпитер Либератор — ниспосылающий обилie.
- с. 195. *Баржевый* — от слова «бареж» — шерстяная, шелковая или бумажная рединка для женских нарядов.
- с. 211. *Сивилла Кумейская* — легендарная прорицательница, ей приписываются «Сивиллины книги» — сборник изречений и предсказаний, служивший для официальных гаданий в Древнем Риме.
- с. 211. *Тарквиний Гордый* (533—509 гг. до н. э.) — по преданию, последний царь Древнего Рима, изгнанный римлянами.
- с. 214. *Бедуины* — обитатели пустынь. Здесь: одежда для прогулок.
- с. 214. *Амазонка* — женское платье для верховой езды.
- с. 242. *Спич* — речь (англ.).
- с. 247. *Облатка* — мучной, клеевой или бумажный на клею кружок для запечатки писем.
- с. 252. Имеются в виду заключительные строки басни И. А. Крылова «Мартышка и очки»:
«К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит».
- с. 257. *Салоп* — теплая верхняя женская одежда, род круглого плаща.
- с. 269. *Ирмосы канона* — вступительные стихи, показывающие содержание прочих стихов канона, т. е. церковной песни в похвалу праздника церкви.

ЖЕНЩИНА В СЕМЬЕ И В ОБЩЕСТВЕ

Впервые в «Историческом вестнике» (издатель А. С. Суворин). — Спб., 1881. — № 8. Не переиздавалось.

- с. 288. *Эмансипация* — освобождение от зависимости.

- с. 288. *Догмат* — основное положение в религиозном учении, принимаемое слепо на веру и не подлежащее критике.
- с. 289. *Партизан* — здесь: защитник.
- с. 289. *Мишле Жюль* (1798—1877) — французский историк.
- с. 289. *Прудон Пьер Жозеф* (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма, выступал против революционного преобразования общества.
- с. 289. *Петиметр* — в литературе XVIII века — сатирический образ молодого щёголя, франта.
- с. 292. *Семирамида* — царица Ассирии в конце IX в. до н. э.
- с. 292. *Тамара* — (1184—1213) — грузинская царица.
- с. 292. По свидетельству Геродота, Томирис, царица массагетов (народности, жившей на северном побережье Каспийского моря). Она победила Кира в 530 г. до н. э.
Кир — древнеперсидский царь (ок. 558—530 до н. э.).
- с. 292. *Иудея* — римская провинция в Южной Палестине.
- с. 293. *Сафо* — древнегреческая поэтесса 7—6 вв. до н. э.
- с. 293. *Гетеры* — в Древней Греции образованные незамужние женщины, ведущие свободный, независимый образ жизни. Позднее гетерами назывались также проститутки.
- с. 294. *Аспазия* — гетера, ставшая женой Перикла. В ее доме собирались художники — поэты.
- с. 294. *Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — афинский главнокомандующий, вождь демократической группировки.
- с. 294. *Платон* — древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа, организатор Академии в Афинах (387 до н. э.).
- с. 294. *Фрина* — знаменитая греческая гетера; прославилась своей идеальной красотой, была натурщицей художников и скульпторов.
- с. 294. *Гинекей* — в Древней Греции женская половина в задней части дома.

- с. 295. *Либертины* — отпущенные на свободу или выкупленные рабы, здесь: проститутки.
- с. 295. *Лукреция* — знаменитая римлянка, обесчещенная Секстом, сыном римского царя Тарквиния Гордого, из-за чего лишила себя жизни.
- с. 295. *Коллатин* — муж Лукреции; после самоубийства жены и изгнания Тарквиния Гордого был избран консулом.
- с. 295. *Виргиния* — героиня римской легенды, согласно которой Клавдий Аппио, римский консул, влюбился в девушку и решил завладеть ею силой. Но, получив отпор, прибегнул к хитрости и фальсификации: он подговорил своего клиента Марка Клавдия сделать в суде донос, будто Виргиния — дочь рабыни Аппио, и подброшена к бездетному Люцию Виргинию. Поэтому она должна вернуться к своему господину, т. е. к Аппио. Отец, спасая дочь от позора, зарезал ее в зале суда.
- с. 295. *Клавдий Марк* — клиент Клавдия Аппио, оклеветавший Виргинию.
- с. 295. *Ликторы* — в Древнем Риме высшее должностное лицо, избираемое на один год, обладающее высшей военной и гражданской властью.
- с. 297. *Фульвия* — жена римского народного трибуна Клодия (ок. 93—52 гг. до н. э.), властолюбивая женщина, часто опоясывалась мечом и выступала перед солдатами. Ее дочь Клавдия стала женой Юлия Цезаря (100—44 гг. до н. э.).
- с. 297. *Агриппина* — жена римского императора Клавдия (10 г. до н. э. — 54 г. н. э.), которого она отравила, стремясь доставить императорскую власть своему сыну от первого брака — Нерону, убитая потом им из-за постоянного вмешательства в его дела.
- с. 297. *Мессалина* — третья жена римского императора Клавдия (23—48 гг. н. э.). Славилась своим распутством, властолюбием и жестокостью. Приговорена к смерти своим мужем.
- с. 297. *Гракхи* — братья! Тиберий (163—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.), римские народные трибуны, защитники крестьян.

- с. 298. *Октавия* — жена Марка Антония, покинутая им ради египетской царицы Клеопатры.
- с. 298. *Антоний Марк* (83—30 до н. э. — римский полководец; после поражения египетского флота покончил жизнь самоубийством.
- с. 299. *Иисус Христос*.
Марфа — сестра Лазаря, которого после смерти воскресил Христос. В доме Марфы любил отдыхать Христос.
- с. 301. *Буллы* — королевские или папские акты (законы).
- с. 302. *Вассалы* — здесь: слуги.
- с. 302. *Элеонора Аквитанская* — наследница Аквитании (части Галлии), с 1137 г. — жена Людовика VII (1121—1180), с 1152 — жена Генриха Плантагенета.
- с. 302. *Плантагенет Генрих* (1133—1189) — английский король с 1154 г.
- с. 303. *Камелии* — дамы полусвета. Название произошло от заглавия романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями».
- с. 306. *Циммерман Эдуард Романович* — русский писатель-путешественник, совершивший в 1857 г. путешествие по США.
- с. 308. *Дашкова Екатерина Романовна* (1744—1810) — княгиня, деятельница русской культуры.
- с. 309. *Ольга* — героиня романа И. А. Гончарова «Обломов».
Елена — героиня романа И. С. Тургенева «Накануне».

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. М. Проскурина. Повести Е. А. Словцовой-Камской в историко-литературном контексте 1860-х годов	5
Ф. Л. — нов. Писательница г-жа Камская: Некролог газеты «Голос»	25
ЛЮБОВЬ ИЛИ ДРУЖБА?: Отрывок из воспоминаний моей знакомой	3
МОЯ СУДЬБА	10
ЖЕНЩИНА В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ	28
Примечания	31

Литературно-художественное издание

Литературные памятники Прикамья

Екатерина Александровна
Словцова-Камская

ЛЮБОВЬ ИЛИ ДРУЖБА?

Составитель *Д. А. Красноперов*

Редактор *А. Лукашин*

Младший редактор *Л. Рубцова*

Художественный редактор *С. Можалева*

Технические редакторы *В. Чувашов, Г. Пантелева*

Корректоры *Л. Крамаренко, Г. Борсук*

ИБ № 2049.

Сдано в набор 31.01.90. Подписано в печать 09.07.90. Формат 70×90^{1/32}. Бум. офс. кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,7. Усл. кр.-отт. 11,99. Уч.-изд. л. 14,118. Тираж 15 000 экз. Заказ № 137. Цена 1 р. 40 к. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

